

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Учреждение Российской академии наук
Институт Дальнего Востока РАН

П.М. Кожин

КИТАЙ
И
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ ДО ЭПОХИ
ЧИНГИСХАНА

Проблемы палеокультурологии

Москва
ИД «ФОРУМ»
2011

УДК 94(510+5-015)"/.../12"
ББК 63.3(5Кит)+62.3(5)
К58

*Рекомендовано к публикации
Ученым советом ИДВ РАН*

Рецензенты:

д.полит.н. А. В. Виноградов, д.и.н. Н. Л. Мамаева

Кожин П. М.
К58 Китай и Центральная Азия до эпохи Чингисхана : проблемы па-
леокультурологии / П. М. Кожин. — М. : ИД «ФОРУМ», 2011. —
368 с.

ISBN 978-5-8199-0453-4

Монография «Китай и Центральная Азия до эпохи Чингисхана» посвящена проблемам истории, культурологии и этнологии этого огромного региона в период сложения и ранних этапов (вплоть до Средневековья) развития китайской государственности и формирования отношений Китая с неоднократно сменявшимися друг друга кочевыми и оседлыми народами Центральной Азии. Характеристика и оценка многолинейных исторических и этнокультурных процессов, вводящих жизнь региона в актуальную современность, потребовали разработки различных методологических и методических положений, составивших, в конечном итоге, основное содержание работы. Автор приходит к выводу о необходимости резкого повышения профессионализма исследований, без чего становится уже ненадежным выявление исторических, этнокультурных и социо-антропологических реалий, организующих объективные генетические линии социокультурного и политико-экономического прогресса местных популяций.

Для студентов-историков, востоковедов, синологов, а также для всех, кто интересуется проблемами, связанными с формированием культуры Востока.

УДК 94(510+5-015)"/.../12"
ББК 63.3(5Кит)+62.3(5)

ISBN 978-5-8199-0453-4

© Кожин П. М., 2011
© ИДВ РАН, 2011
© ИД «ФОРУМ», 2011

*Дорогим моим учителям и многим ученым,
с которыми довелось встретиться за мою долгую жизнь
в науке, научившим меня мыслить, восхищаться деяниями
прошлого и стремиться постигать это прошлое
во всем разнообразии его материальной культуры
и в языковом многоцветье его яркого духовного
мира, — посвящается эта работа*

SCIRE TUUM NIHIL EST,
NISI HOC SCIRE TE SCIAT ALTER —

Твое знание ничто, если того, что ты
это знаешь, не знает другой.

Pers. Sat., I, verso 27

Этот стих из Первой «Сатиры» языческого римского поэта А. Персия Флакка (34—62 н.э.) привел в своей проповеди о значении научных знаний и роли их в жизни и судьбах отдельных лиц и разных поколений суровый христианский вероучитель Св. Бернард Клервоский (1091—1153).

(См.: Герье В.И. Западное монашество и папство // Зодчие и подвижники божьего царства. Ч. 2. М., 1913. С. 67 и прим. 1.)

Предисловие

Эта монография не является подведением итогов в каком-то определенном направлении работы по исторической культурологии и палеокультурологии Китая. Я хотел рассмотреть направления исследований, степень их содержательного и структурного оформления, а также динамику достижения «взаимопонимания», которое устанавливается между представителями определенной культуры и исследователями вне зависимости от временных и территориальных параметров, существующих между этими субъектами отношений. В связи с этим не все разделы имеют исследовательский характер, чаще всего их специфичность отражается на особенностях и объеме примечаний. Работа над некоторыми темами начата была более 50 лет назад и, конечно, с ними связано большее разнообразие оценок, подходов и историографических экскурсов. В ряде случаев для большего взаимопонимания необходимо было разобраться не в существе проблемы, а во мнениях, формировавших, деформировавших и сопровождавших ее. В изучении межцивилизационных контактов все эти моменты приобретают совершенно особую значимость. Ее нельзя не учи-

тывать, даже руководствуясь всеми соображениями о политкорректности, равноправии, ограничениях, накладываемых этикой и т. п.

Безусловно, неравноценно и неравномерно отражены различные временные отрезки истории сложения китайского этноса, национального характера китайцев, бытовой жизни, формирования политической культуры и административно-политических учреждений и институтов в Китае, процессы становления производства и научного творчества, различные особенности выработки внешних форм духовной культуры — от чисто поведенческих до отвлеченных философских понятий и их письменного оформления.

В тексте работы мало переводов: перевод древнего текста всегда является его интерпретацией, а моей целью было не утверждение той или иной интерпретационной модели, но выработка оснований для выполнения переводов возможно более близких к адекватному пониманию сущности проблем, отраженных в текстах. Даже наиболее глубоко проработанные мной тексты «Шуцзина» и отдельные главы «Шицзи» Сыма Цяня я стараюсь передавать в объяснении, а не дословном переводе.

Затруднительно определить степень многоплановости предлагаемой работы. Она обусловлена вовсе не желанием автора усложнить восприятие самого текста и проблем, которые он выражает, а необычайной сложностью самих этих проблем. Межцивилизационные контакты всегда имеют в своей основе противопоставление своих и чужих форм поведения, образа жизни, деятельности, рабочих и производственных правил, способов взаимного общения между людьми, коллективами и организациями, особенностей оценки и самооценки всех без исключения жизненных позиций, человеческих свойств, гуманистических устремлений и т. п. Все это заставляет автора постоянно контролировать многогранные обобщения, предлагаемые историографической традицией Нового времени и особенно последних десятилетий, связанных с активизацией процессов экономической глобализации. Их с легкой руки руководства транснациональных компаний и различного рода международных общественно-политических институтов пытаются перевести в сферу духовной жизни, не задумываясь над тем, насколько эта последняя определяется не общегуманитарными соображениями, идеями и устремлениями, а национальными и этническими особенностями представителей той или иной цивилизации.

В монографии сведены периоды, которые освещаются совершенно различными средствами. Так, первый период древности характеризуется, по преимуществу, археологическими материалами, заставляющими «говорить» данные письменных памятников, созданных в значительно более поздние времена, чем те, к коим непосредственно относятся и принадлежат рассматриваемые древние археологические находки и объекты. По мере приближения к нашему времени все большее значение приобретает опора именно на письменный документ, и даже археологическому материалу письменные сведения придают те или иные акценты, которые из самого этого материала выведены быть не могут. Более того, такого же рода акценты проявляются в аналогичных материалах с помощью этнографических сведений и наблюдений, с помощью наблюдений над народной культурой и ее проявлениями среди живой человеческой массы в местах компактного проживания тех или иных этнических групп.

В наше время, вопреки различным духовным установкам, призванным будто бы стабилизировать, уравнивать, оптимизировать межрасовые и межэтнические и тем более межцивилизационные отношения, проявления сущностных черт, выражающих этнические характеристики, этническую специфику на поведенческом уровне и на уровне взаимоотношений, становятся более открытыми и резко очерченными. Ни о каком исчезновении этнических групп и тем более произнесении над ними чего-то вроде надгробных слов (иначе трудно обосновать понятие «реквиема» по отношению к проблеме этноса) речи быть не может. Мы говорим о глобализации, пытаемся вывести ее из рамок экономики, но в то же время используем такое понятие, как «многополярный мир». Чем же определяются тогда эти многие полюсы такого мира, как не цивилизационными, государственными, этническими, этнокультурными особенностями различных человеческих популяций. Это противоречие почему-то замалчивается, остается как бы не замеченным. Но его существование не удастся поставить под сомнение, а считаться с реальностью — это обязанность каждого специалиста — профессионала в области гуманитарных наук. Именно в этом отношении гуманитарные науки и расходятся с точными, где реальность сама подсказывает направленность решений. Можно, конечно, сделать на основании этой несообразности, логического противоречия вывод о том, что в современном обществоведении научный анализ просто оказывается полностью подменен политическими оценками. К чему, в частности, подводила установка Ф. Фукуямы о «конце истории», когда само

«наличие» истории определялось исчезновением крупных и неразрешимых всемирных политических противоречий. К счастью, кажется, эта идея оказалась в прошлом и, по сути, недостойна серьезного анализа. Хотя всегда можно ожидать очередного эвристического выкрика неспециалиста, ищущего приложения своей «жажды творчества» к какому-нибудь доходному «политическому делу».

Думаю, что значительно расширять круг общих соображений относительно содержания монографии не имеет смысла без приведения конкретных примеров, а они включены в текст.

Помимо этнического момента в разборе каждой из исторических ситуаций обязательно присутствует и момент временной. Причем расхождение между установками времени события и времени той или иной его фиксации и описания чаще всего связывается с различиями в этической оценке действий субъектов события. Эта оценка особенно разнится в тех случаях, когда событию придается политическая окраска в условиях современной жизни. Пожалуй, из числа научных трудностей, возникших на этой почве в нашей историографии, следует привести примеры того, как производилась односторонняя трактовка исторических и историко-географических, политических данных, скажем, при описании исторической географии СССР, Китая и многих других регионов мира. Достаточно напомнить, что огромный пласт историко-географических сочинений, содержащих сведения о различных южных регионах нашей страны, созданных в эпоху средневековья, вообще не был переведен на русский язык! И до сих пор арабская и персидская историческая и географическая литература, касающаяся этих территорий, теперь уже вновь самостоятельных государств, так и осталась не известной исследователям, не знакомым с языками первоисточника.

Можно обратить внимание на другую сторону той же самой проблемы. Начиная с XVI в. в европейской литературе постоянно говорилось о «жестокости московитов», о «зверствах», производимых русскими царями, в частности, на западных окраинах страны. Европа узнавала об этом преимущественно от жертв этих «зверств» (часто мнимых или не заслуживающих доверия), причем «европейское гуманитарное сообщество» было настроено воспринимать действия русских политиков как действия варваров, которых надо всеми возможными способами унижить. Суровой оценке были подвергнуты русские цари Иван III и особенно Иван IV — при жизни, и, тем более, после смерти, когда Европа уже вела борьбу не с представителями русской царской династии,

а с Россией как определенной силой, которую, вопреки желанию, приходилось принимать во внимание в ведении своей международной политики. (Углубляться в эту проблематику не имеет смысла. Она безбрежна и, главное, вся проникнута националистической злобой и ложью. Но, сравнивая события царствования Ивана Грозного, скажем, с событиями, характеризующими период агонии династии Валуа во Франции, вряд ли, даже памятуя лишь историю Варфоломеевской ночи, возможно говорить о неистовой жестокости русских и каком-то там гуманизме «цивилизованных» французов.) К сожалению, русская история в Европе оказалась необычайно политизированной, и все, что происходило в России, пытались преподнести, как нечто несурзное, возмутительное, недостойное, противостоящее гуманизму. При этом гуманистические трактовки западной жизни подкреплялись еще и различного рода сочинениями европейских ученых, теологов, юристов, политиков. В конце концов, в них находили все лучшее, что может быть в характере человека, тогда как для русской стороны постоянно оставляли одно только самое худшее. Эти частные напоминания даны здесь не для того, чтобы в очередной раз противопоставить два популяционных единства и начать рассуждать о преимуществах одного и мерзости другого, а всего лишь затем, чтобы указать, что такие суждения должны быть заменены строгим научным подходом, учитывающим в равной степени достоинства и недостатки обеих противоборствующих, или соседящих, или вступающих в контакты популяций.

Однако сосредоточиться на освещении вопросов общего социокультурологического плана в работе, в значительной мере основанной на данных материальной культуры и именно от нее восходящей к проблематике духовной жизни, было бы далеко не рациональным исследовательским приемом. Данная монография представляет собой интердисциплинарное исследование, посвященное поздней протоисторической ситуации на территории современного Китая и тем же вопросам, связанным с раннеисторическими и традиционными периодами китайского прошлого. Это время выбрано для исследования в силу того, что основным фактическим обоснованием исследований является археологический материал. Китайская научная археология по существу начинается лишь в 20-х годах XX в. Объем данных, известных к моменту образования КНР, был невелик, археологические материалы происходили из очень небольшого количества памятников, сосредоточенных в основном в Северной Хэнани, преимущественно в местностях в окрестностях современного г. Аньян

и так называемого Иньсюя — иньского городища. Кроме этого, сравнительно значительные археологические находки соответствующего времени были сделаны в пров. Ганьсу, где Ю. Андерсен с начала 20-х годов раскопал большое число могильных памятников, отнесенных им к неолитической эпохе.

После образования КНР рост археологического материала стал стремительным. Как ни странно, в период «культурной революции» эта стремительность нарастания археологических объектов и материалов из них только возросла. К началу 60-х годов Чжэнь Де-куню удалось представить достаточно связную картину китайского археологического прошлого от глубочайшей бесписьменной древности до эпохи Хань в трех очень содержательных томах, где археологическим материалом были уже охвачены большинство территорий собственно Китая и Маньчжурии. Дальнейшие исследования этого времени, т. е. в современной терминологии периодов от неолита до первой реальной исторической династии Древнего Китая эпохи Инь, развернулись в Аньяне, Чжэнчжоу, Фэнси и в других местах. К сожалению, публикация полных данных о проведенных грандиозных раскопках очень резко отстает от процесса накопления материала, к тому же многие издания остаются нам недоступными. Значительно слабее разработана археология Синьцзяна, Сычуани, Цинхая и Ганьсу. Очень неравномерно изучена Внутренняя Монголия в ее современных границах. Но в целом материал, происходящий с территории КНР, достаточно представителен, поддается систематизации и позволяет делать достаточно перспективные заключения.

С самого начала своих исследований я пришел к пониманию, что крайне затруднительно и ненадежно опираться на обобщения, сделанные в предшествующие периоды, когда остро ощущался недостаток материала, позволяющего фактически обосновать определенные положения. Концептуальные выводы опирались на архаичную либо попросту иную по сравнению с современной систему гипотез, предположений и доказательств. Поэтому всю процедуру исследования приходится проводить, начиная от археологического факта до обобщений любых уровней, как в пределах возможностей археологии, так и в сфере сопутствующих и сопредельных с ней гуманитарных, биологических и точных наук.

Собственно процедура такого исследования начинается с регионализации материала, его периодизации и хронологических определений. Особая важность определения объема и границ региона связана с тем, что в период поздней доистории Северный

Китай предстает уже достаточно плотно заселенной человеческими коллективами территорией, на которой проживают сравнительно крупные локальные группировки людей, хорошо адаптированных к местным природным условиям. Надо сказать, что территории бассейна Хуанхэ не испытали особенно значительных климатических перемен в этот период. Территориальные изменения произошли лишь в самых низовьях, где наносы постепенно образовали новый значительный участок суши, поэтому здесь, раз утвердившись, система земледельческого хозяйства могла развиваться достаточно равномерно и неизменно в течение многих тысячелетий. Подтверждением этому становятся поселения, относящиеся к периоду неолита, энеолита и бронзового века, неизменно занимающие одни и те же территориальные пространства, благодаря чему их культурные слои достигают значительной протяженности и толщины. Нередки поселения с культурным слоем в несколько метров. Отсюда проистекает важность проблемы периодизации, которая может осуществляться пока весьма условно в силу недостаточной ясности при выделении переходных горизонтов от одного периода к другому.

При этом нельзя сказать, что попыток создания абстрактных периодизаций не предпринимается. Абстрактны они уже потому, что не обоснованы признаками фактического материала и ясно обозначенными стратиграфическими наблюдениями. К сожалению, китайская археология очень активно подстраивалась под использование радиоуглеродных датировок. Эти датировки в ряде случаев подменяли и стратиграфические наблюдения, и наблюдения над развитием материальной культуры. Впрочем, такая ситуация с использованием радиоуглеродного метода далеко не уникальна. Этот метод за последние полстолетия практически подавил все археологические способы периодизации и хронологии, что отнюдь не положительно сказалось на развитии научной археологии, а самое главное, на реальных возможностях сближения археологического материала с материалом историческим, с возможностями поиска твердых астрономических обоснований древних датировок. Пока можно констатировать практически тупиковую ситуацию в этом направлении и рассматривать огромную свиту культур, размещавшихся на территории Северного и Центрального Китая, как монолитное в периодизационном плане поле, где отдельные ареалы лишь дают специфические комплексы материальной культуры, но не представляется возможным их стратифицировать на основе самих археологиче-

ских фактов. Естественно-историческую стратификацию заменяют радиоуглеродные даты.

Говоря об археологических культурах, следует иметь в виду, что этот термин подразумевает совершенно определенный набор конкретных показателей, позволяющих различать локальные проявления материальной культуры из разных регионов страны по особенностям производственной техники и набору бытовых, хозяйственных и ритуальных предметов и орудий, а также по типам хозяйственных, жилых и ритуальных построек и сооружений, но прежде всего — по образу жизни, хозяйственно-экономической, производственной и бытовой сферам жизнедеятельности населения. Фактически весь археологический материал, происходящий из систематических раскопок археологических памятников, представляет собой комплексы материальных остатков, следов жизни первобытных коллективов, проживавших на соответствующих территориях в ранний период. Эти материалы могут быть структурированы по их назначению, функциям и по формальным признакам, отражающим региональную специфику, определяющуюся традиционными приемами труда, быта и особенностями коллективной жизни.

Для протоисторических периодов, в условиях земледельческого хозяйства и его быстрого совершенствования, типичен достаточно мощный рост популяции, что вызывало, с одной стороны, возрастание первичных коллективов, а с другой — постоянную тенденцию к расширению территории обживания и к сегментации первоначальных коллективов, выделению из них каких-то дочерних групп, образывавших в конце концов самостоятельные «родоплеменные» группировки. Естественно, что выделяющиеся коллективы пользовались первоначально тем же хозяйственным опытом, проживали в тех же условиях, что и их предковые группы.

Но по мере обретения самостоятельности в материальном оформлении культур нарастали отличия, порой достаточно значительные, которые выделяли обособившиеся коллективы как полностью самостоятельные культурные образования. Не без оснований можно говорить о том, что соответствующие процессы протекали и в духовной культуре, в частности в языке. Сейчас общепринятым стало положение о развитии языка и изменениях его с определенными скоростями, которые задаются статистическими данными об изменениях лексического фонда за определенные отрезки времени. Можно принять это положение в самом общем смысле, но вряд ли его допустимо и возможно абсолют-

зирать, ибо, с одной стороны, далеко не всегда расширение коллективов и их обособление протекало равномерно, с другой — далеко не всегда коллектив, выделившийся из одного этнического массива, попадал в новых условиях расселения, переселения или миграции в соответствующую же родственную среду. Она могла оказаться абсолютно чужеродной для данного коллектива. Вследствие этого достаточно быстро и целенаправленно деформировался быт населения, его хозяйственная деятельность, многие области духовной культуры, культов и т. п. Все это также нарушало равномерную скорость глотохронологических изменений. Я бы даже сказал, что этот способ хронологических наблюдений должен быть подчинен сугубо археологической хронологии. А для истории Европы он должен быть скрупулезно и добросовестно проверен на материалах письменных памятников последних тысячелетий. Археологическая хронология, благодаря указанным выше причинам и целому ряду иных, в том числе принципиальных, для данных целей наименее надежна.

В качестве основы для построения археологической хронологии следует выбирать, прежде всего, погребальные комплексы соответствующих культур и культурных группировок. Начиная с 20-х годов XX в. в советских археологических исследованиях именно погребальные комплексы занимали как бы подчиненное, второстепенное положение: считалось, что они недостаточно выразительно и правомочно отражают действительную жизнь древних коллективов, которая, особенно в своих хозяйственных проявлениях, может быть полноценно изучена лишь по поселенческим материалам. Наиболее сильным аргументом здесь выступало положение о том, что погребальный обряд подчинялся определенным ритуальным правилам, далеко не всегда соответствовавшим синхронной захоронениям бытовой практике. Однако именно это положение может быть очень легко и просто опровергнуто тем, что в захоронения помещалась постоянно та же утварь, бывшая в повседневном употреблении у местного населения. Эта утварь размещалась в могилах по определенным обрядовым правилам, но изготовлялась она для живых людей, теми же обыденными способами, принятыми в данной местности в соответствующее время. Именно эти предметы повседневного употребления несут в себе огромный объем информации об уровне производства, способах производственной деятельности, всех тонкостях ремесла, свойственных живому коллективу. При этом преимуществом изделий, обнаруживаемых в могилах, является то, что это — не разбитые вещи и предметы, обычно фрагментарно сохраняющиеся в куль-

турном слое поселений, а целые изделия, легче поддающиеся полноценным комплексным исследованиям. Фактически, именно находки из ритуальных комплексов с наибольшей надежностью позволяют выявлять все специфические детали традиционных способов производства, все приемы, которыми пользовались мастера-«ремесленники» определенных этнических образований.

В археологии существует сравнительно немного надежных способов определения конкретной хронологии вещей. Наиболее представительно в качестве хронологических обоснований стратиграфическое соотношение функционально и формально сходных изделий. Надежно также и сопоставление изделий, в тех же смыслах аналогичных друг другу. Но в последнем случае вопрос о размахе хронологических колебаний должен определяться стойкостью этнических производственных традиций, могущих оставаться относительно неизменными в течение столетий, что создает очень значительный размах колебаний в пределах либо целых археологических культур, либо их определенных этапов, а тем самым трудности для определения хронологии конкретных вещевых находок.

Для уточнения дат возможны два достаточно перспективных пути, связанные с тем, что после исследований О. Монтелиуса получило название «типологического метода». В основе типологического метода лежит выделение групп синхронных вещей, обнаруживаемых в постоянно повторяющихся взаимосвязях. Такие синхронные группы я предлагаю именовать «функциональными комплексами». Сравнительный анализ функциональных комплексов в пределах одной культуры дает представление о динамике изменений самого ремесленного производства, мелких перемен в производственной технике. В свое время Монтелиус крайне неудачно сравнил эти изменения с эволюционными изменениями биологических организмов, что создало достаточно сложную ситуацию, вызвавшую очень большие полемические противоречия в научной среде и помешало нормальному развитию теории и практики типологического метода. В действительности, изменение вещей, их типология полностью подчинены особенностям развития технической культуры коллектива, проявляющимся в организованной ремесленной производственной практике. Это положение выдвинул и развивал в течение значительного периода XIX в. старший современник О. Монтелиуса — Готфрид Земпер (1803—1879), архитектор, предтеча ряда направлений культурологии, промышленной и «социальной» эстетики. (Далеко не случайно выбран этот последний, непривычный, тер-

мин. Приходится учитывать насколько сильно отразилось на исторических исследованиях время жизни самих ученых, их творческие судьбы и отстаиваемые ими установки. Никогда со времен Ренессанса наука и искусство не попадали в столь сложные ситуации, связанные с политическими воззрениями специалистов, их ориентацией в различных сферах современной им науки, степени их образованности, пристрастиями, а еще важнее — с кипением массовых страстей во всех странах тогдашнего культурного мира, далеко не всегда даже объяснимым рационально.) То есть все изменения, которые происходят с вещами, с их формальными и функциональными особенностями, полностью зависят от творческих замыслов человека и от используемых им в процессе организованной трудовой деятельности приемов. Если смотреть на развитие определенных серий бытовых изделий, орудий труда и даже ритуальных предметов с позиций их изготовления, то при наличии массовых материалов, включающих достаточно обширные функциональные комплексы, удается проследить реальные хронологические перемены, происходящие с вещами в зависимости от того, в какую эпоху данной культуры эти вещи произведены.

При составлении этой работы неизбежно проявлялись определенные личностные черты исследователя. За более чем пять десятилетий занятий исторической наукой производственный диапазон автора постепенно расширялся от интереса к истории Древнего мира, Античности, средневековой Руси и Востока до исследований исторических процессов в Евразии от времени становления человечества до многих проблем современной политической жизни. Но помимо самого процесса расширения исторических интересов, естественно, приходилось осваивать и многие другие отрасли гуманитарных наук, которые в отношении к истории могут рассматриваться как прикладные. Естественно, речь не шла о самостоятельных научных работах в области геологии, географии, палеозоологии и многих других научных дисциплин, непосредственно связанных с историческим знанием. Эти науки участвовали в основном в процессе работы как прикладные по отношению к изучению исторических явлений и процессов. Естественно также, что достаточно углубленно по мере расширения исторического диапазона мне приходилось работать с лингвистическим, антропологическим, социопсихологическим и социологическим материалом. Все это в конце концов привело к определенному, уже индивидуальному, личностному синтезу научных знаний, которые объединились в широкую сферу гуманитарных

наук с некоторым уклоном в культурологические обобщения. Таким образом, сейчас я могу представить синтетическую картину многих областей исторической жизни значительных евразийских территорий в свете той программы, которая была задана сферой интересов и прямых направлений исследований.

Естественно, такую картину можно давать только в очень обобщенном виде, делая акценты на определенных направлениях поступательного развития человечества и локальных проявлениях этого развития. Ограничениями в этой обширной программе может служить проблематика, связанная с переходным от обезьяны к человеку периодом, вплоть до момента начала использования орудий и орудийного производства в целом как одного из факторов становления человеческих коллективов и организации гуманитарных социальных отношений. Именно от этого раннего рубежа я представляю себе возможным начать достаточно связный, хотя и избыточный массой лакун, обзор — вначале доисторического, а потом и исторического прошлого отдельных регионов Евразии.

Для древнейшего периода, связанного с осуществлением этой программы, наиболее полную картину, пусть и в обобщенном виде, можно представить по проблемам становления древних человеческих коллективов, прежде всего, в свете осуществлявшегося в них раннего этапа орудийного производства и производственных отношений. Однако этот подход выводит на две стороны проблематики. С одной стороны, как формируются уже не чисто биологические, а социально-территориальные коллективы, а с другой — как соотносятся эти новые коллективы с весьма устойчивыми видами производства, превращающегося в традиционную для данной человеческой популяции форму постоянной и темпорально непрерывной деятельности. Сам по себе процесс выработки устойчивого производственного инвентаря, систематизация способов его применения в целях производства жизненно необходимых для коллектива продуктов и различного рода сооружений требовал определенных коллективных же усилий по созданию пусть примитивного, но достаточно всеобъемлющего информационного поля, которое определялось соответствующим уровнем мышления, памяти и способов общения. Оно обеспечивало уже в доисторические периоды сравнительно обширные пространства для обмена жизненно важной информацией, увеличивающиеся со временем за счет расширения однородной (или хотя бы пригодной к контактированию) языковой среды и различного рода организованных передвижений человеческих масс

по континентам. Когда создавалась небезызвестная теория «осевого времени», как представляется, остался достаточно слабо учтенным один из мощнейших материальных факторов, связанных с распространением вида *Homo sapiens* по территории суши, пригодной для освоения человеком, а именно демография человеческих коллективов, возросшая, укрепившаяся за счет расширения экологической базы, повышения адаптационных способностей человека, который с помощью огромных умственных усилий расширил свои адаптационные возможности, создав многие защитные и энергичные отрасли материальной культуры, позволяющие ему выживать в большинстве регионов Земли и даже в условиях близких к экстремальным. Без учета этих обстоятельств ойкумены огромные сплошные широтные пояса суши, к концу II тысячелетия до н.э. организованные во взаимосвязанные информационные поля, сама теория «осевого времени» выглядела, скорее, как необъяснимый мистический символ духовного единения, как форма господства космических духовных сил над жалким, полностью зависимым от них «человеческим родом». Такой подход представляется мне жестоким заблуждением.

В связи с выработкой способов общения естественно уделить значительное внимание проблеме становления языковых форм общения, прежде всего различных его аудиоформ, т. е. так или иначе рассмотреть процесс становления древнейших языков. Впрочем, сама по себе особенность информатики подразумевает подключение в эту сферу одновременно со слуховым аппаратом также и средств визуального наблюдения. Эти две сферы, формирующие первоначальные первобытные языки, еще в доистории активно сливаются и, благодаря им, создаются два вида долговременных человеческих знаний, которые в самом общем плане могут быть связаны с древним изобразительным творчеством и первоначальными формами письменной речи. Этот раздел первобытной истории или доистории тесно связан с конкретными процессами перехода от чисто биологических структур коллективов к созданию человеческого общества. Пожалуй, это наиболее сложная проблема из существующих ныне в гуманитарных науках, к тому же проблема, подвергшаяся значительным алогичным деформациям благодаря вечному присутствию в исследовательской мысли и в самой процедуре исследований определенных форм современных духовно-политических умозаключений. Именно отсюда берет свое начало вопрос о расовом неравенстве, вопрос об этнической идентификации, о взаимоотношениях

внутри смешанных популяций и особенно взаимоотношениях различных популяций друг с другом. Особенно тех, которые обретают в связи с перемещениями человеческих масс новые соседства и пограничья.

В гуманитарных науках не стихают изощренные методологические, да и практические споры, касающиеся вопросов стабильного или подвижного образов жизни в связи с заселением современной ойкумены. Очень многое в этих спорах имеет догматический характер, а многое также обусловлено специфическим подходом определенных научных школ и групп к вопросам заселения, прежде всего, Евразийского материка. Думаю, что здесь не следует делать упор на представления о стабильности или миграционной подвижности человеческих масс: на сегодняшний день уже в материальном виде представлены многие вариации ответов на реальные ситуации, которые испытывало человечество в процессе освоения своего видового пространства.

Пожалуй, одной из особенностей человека как биологического вида оказалась именно его способность преодолевать естественные природные пределы, которые обычно поставлены в отношении всех животных биологических видов. Вид в естественной среде ограничен климатическими условиями, а шире — условиями среды, дающей прежде всего возможность прокорма и воспроизводства в естественных условиях. Человек, благодаря созданию своей культуры, сумел преодолеть рубежи, обозначенные для него, с одной стороны, его биологическими свойствами, а, с другой стороны, теми природными рамками, в которых эти биологические свойства могут в неугнетенном виде развиваться. Тем самым уже в глубочайшей древности человеку удалось преодолеть один из тяжелых барьеров, стоящих перед распространяющимися и, в конце концов, исчерпавшими свою экологическую нишу биологическими видами (что связано с нарастанием демографических объемов и созданием стесненных условий обитания). Именно культура вывела человечество из этой тупиковой ситуации и пока позволяет балансировать на краю пропасти, имя которой «перенаселенность».

Понятие человеческой культуры практически оказывается чрезвычайно многозначным. Определенные ограничения в это понятие можно вводить, исходя из тех целей и потребностей, в связи с которыми или в пределах которых мы обсуждаем этот гигантский гуманитарный феномен. Говоря о началах человеческой культуры, под ней мы понимаем действия, восприятия и оценки первобытного человека, которые он давал окружающей

его действительности, исходя уже не из биологического инстинктивного опыта, а из опыта, приобретаемого в процессе рационального познания окружающего мира, в минимальной степени зависящего от чисто биологических, инстинктивных представлений (если только это можно назвать представлениями). Человек перестраивал свой внутриколлективный мир в соответствии с потребностями, возникавшими в его сознании в связи с образованием новых коллективов, основанных уже не на чисто биологическом родстве; в связи с новыми формами занятий, что подсказывались потребностями в организации жизненных условий, пищевого обеспечения, безопасности коллективного проживания, комфорта в воспроизводстве и воспитании подрастающих поколений. Их, в свою очередь, в целях самосохранения коллектива необходимо было обучать новым для вида действиям и представлениям, обеспечивающим выживание вновь складывающегося человеческого общества не только в пространстве, но и во времени. Все эти действия, связанные с передачей опыта, получали отражение в коллективной памяти данного общества, в конце концов, при определенной стабильной обстановке и устойчивости коллектива, превращавшейся в бытовую, общественную и производственную традиции. Практически традиция заменяла собою инстинкт во всех действиях человека, производившихся в сферах сугубо гуманитарной деятельности. Именно традиция формировала духовную составляющую культуры. Однако рационализация человеческой умственной деятельности и постоянный поиск соотношений и соответствий между этой деятельностью и полезными результатами труда приобретали системный характер, превращаясь в очень важный раздел человеческой культуры, а именно в ее духовную составляющую, которая достаточно рано начинает обретать сложные и самостоятельные формы, диктуя обществу, а через него и его отдельным членам, различного рода замыслы и предложения для реализации в материальных формах, способных так или иначе повлиять на различные проявления материальной культуры и ее разновидностей, ценных и полезных для общественной и индивидуальной жизни. В духовной составляющей человеческой культуры складывается представление об архетипах, характеризующих духовные запросы и потребности в возникновении новых материальных форм жизни, облегчающих, корректирующих или изменяющих в сторону большей простоты, комфортности или эффективности осуществление определенных бытовых, производственных и социальных процессов.

Проиллюстрировать это достаточно сложное построение проще всего такими уже ставшими банальностями примерами, как, скажем, исконное желание человека летать. Наблюдая полет птиц, человек, естественно, не мог не задумываться над тем, что определенный инструментарий, исправления, вносимые в собственный облик, позволили бы и ему самому осуществлять передвижение по воздуху. Очень часто проявления таких архетипических желаний иллюстрируются фрагментами многообразной графики Леонардо да Винчи: построение летательного аппарата, построение аппарата для подводного передвижения и тому подобных вещей. В исполнении Леонардо это была всего лишь визуализация архетипа, не подразумевавшая каких-то инженерных находок, позволяющих осуществить многотысячелетнюю человеческую мечту. Воспринимать эти блестящие графические наброски как некие открытия и изобретения, сделанные гением Возрождения, в общем-то, достаточно пошлое заблуждение. Но сам по себе факт визуализации архетипических представлений несомненно воздействовал на творческую мысль человека и влек его в определенных направлениях поиска, благодаря которому, наконец, осуществились полет по воздуху, погружение в глубины морей, были созданы сложнейшие механизмы, обеспечивающие оборону, нападение, организацию коллективных работ и т. п.

Первобытная культура была очень ограничена в своих энергетических возможностях. Человек не мог и не умел использовать, как выясняется, достаточно многочисленные виды энергии, присутствующие в окружающей его природе. Для использования их требовались определенные разработки, и прежде всего они касались создания технического инструментария, обеспечивающего то самое подключение энергетических источников, в большом количестве окружавших человека в местах его обитания. Первоначально человеческий инструментарий сводился лишь к сравнительно небольшому набору ручных инструментов, которыми человек пользовался при обработке, извлечении или переработке тех или иных природных запасов, полезных для жизни. Единственный вид усиления энергии первоначально был связан с согласованными коллективными действиями. Собственно, достижение этого уровня умножения энергии заставило человека обратить внимание в своей производственной деятельности и на другие силы природы, кроме человеческих мускулов, с помощью которых этот эффект умножения мог быть достигнут. Именно следствием коллективной деятельности стало использование энергии воды, ветра, огня, а также крупного рогатого скота.

Однако развитие энергетических ресурсов и выработка форм их использования не являлись самоцелью процессов, происходивших в человеческом обществе. Основными оставались проблемы жизнеобеспечения и его совершенствования в условиях новых, уже чисто гуманитарных форм жизни. То есть энергетические ресурсы оказывались инструментом, используемым человеком для удовлетворения своих жизненных потребностей. Главным в жизнеобеспечении было развитие производства, начиная с ведущих его отраслей, какими являлись земледелие и скотоводство. Избыток пищевых рационов, возникавший за счет повсеместного внедрения искусственной экологии, способствовал созданию новых, чисто гуманитарных форм разделения общественного и индивидуального труда. Часть населения как бы выключалась из процесса производства пищевой продукции. Но эти люди не становились лишними в развитии общественного устройства человеческих коллективов. На них ложилась основная нагрузка по организации сбора и расходования пищевых запасов, по оптимизации структуры, необходимой в силу того, что коллективы достаточно быстро разрастались не только за счет демографических процессов прироста народонаселения, а и за счет увеличения размеров поселений, изменения структуры семей, появления смешанных, часто не родственных, человеческих групп.

Человеческое общество адаптировалось к новым условиям жизни с помощью организации больших общественных работ. Начало этих работ обусловлено растущим значением идеологических представлений в жизни коллектива. Конечно, идеология могла процветать лишь в условиях изобилия, а это изобилие достаточно стабильно поддерживалось приростом пищевых запасов. Однако сам по себе процесс перехода от кровно-родственной семьи, кровно-родственных общин к общинам соседским и к общинам, существовавшим на взаимных договорных началах, очень быстро зашел столь далеко, что человеческие отношения перерастали из стадии межличностных в межсемейные, межобщинные и т. д. Все эти новые виды отношений требовали новых норм для их гарантированного продолжительного развития. Вопрос обеспечения всевозможных осложняющихся договорных отношений нуждался в создании каких-то институтов и механизмов, утверждающих прочность, надежность и длительное действие гарантий. Собственно, эти моменты в человеческом обществе вступили во взаимодействие с очень сложным и многомерным процессом формирования идеологических представлений, связанных с понятиями высшей справедливости, выше-

го начала, которое будто бы определяет и утверждает характер взаимоотношений между людьми и карает людей и коллективы за нарушение созданного общепринятого порядка.

К сожалению, далеко не повсеместно сохранились тексты древнейших законодательных установлений, принятых в ранних гуманитарных сообществах. Но все сохранившиеся показывают, что законы и их применение зависят от богов, которыми они даны, следящих за их исполнением и строго спрашивающих с каждого члена коллектива и с глав этих коллективов за любое отклонение от них или нарушение их. Раз установившийся порядок путем научения последующих поколений получал временную протяженность. Тем самым создавалась устойчивая традиция управления, власти, распределения общественных обязанностей, естественное биологическое и гуманитарное начало в жизни семей и иерархические отношения в более крупных коллективах. Насколько были отработаны при этом взаимоотношения вне семейных групп внутри самих коллективов — вопрос наиболее спорный при исследовательской работе по реконструкции общественных отношений прошлого. Конечно, каждая структурная единица, какой являлся автаркичный, самоуправляемый крупный человеческий коллектив, разрабатывала свои законы, обусловленные массой жизненных коллизий, зависящие от объективных условий существования, и говорить о том, что человечество сразу же пришло во всех своих группах и сообществах к единому комплексу убеждений и взглядов на общество, на управление, на семью, на жизнь и смерть, — не приходится. Все это было достаточно своеобразно и разнообразно у разных человеческих групп. Но, пожалуй, несколько законов оказываются общечеловеческими. Это показывают примеры из разнообразных регионов, связанных с очень разными жизненными условиями. Причем, примеров, не вырванных из их естественных коллективных контекстов, а прямо вырастающих из этих контекстов.

Во-первых, человечество определенно стремилось закрепить в сознании всего сложившегося сообщества целый ряд представлений, трактующих о том, что коллективное выживание возможно только при соблюдении уже ставших общепринятыми норм. То есть при строгом следовании уже устоявшимся, проверенным и долго живущим традициям.

Второе положение, которое спонтанно возникало уже на виду у исследователей-этнологов в разных новообразованных человеческих коллективах, в частности, в крупных племенных организациях индейцев Северной Америки, было связано с прису-

шим, как оказывается, человеку стремлением к сохранению не только своей жизни, но и жизни окружающих и близких людей. Все древние законы очень строго карают два проступка: первый из них убийство членов своего коллектива, второй — нарушение принятого общественного законодательства. Здесь человек пускается на достаточно смелые эксперименты, связанные с тем, чтобы обеспечить в сознании группы представление о том, сколь жестоки и неотвратимы могут быть кары богов за эти нарушения. Именно эти догматические представления показывают то огромное значение, которое придают люди доказательствам действительности и всемогущества божественной воли.

Однако способы утверждения этой воли в разных регионах, в разное время, в разных условиях оказываются далеко не идентичными. В одних случаях человек стремится (причем не всякий человек, а человек-законодатель) приблизить себя к божеству, прежде всего ко Всевидящему Небу, которое могло быть само этим самым божеством, а могло быть жилищем божеств. И тогда он начинает странную для наших современных умов деятельность, а именно — утверждает надежность, прочность и незыблемость божественной воли строительством весьма разнообразных храмов. Храмов, которые не могут служить жилищем не только рядовым общинникам, но даже главам человеческих коллективов. Строительство храмов становится одним из особо перспективных видов общественных работ, а храм — местом постоянного контакта глав коллективов с божеством и местом, где не просто утверждается, но цементируется общественная воля коллектива. В других случаях мы имеем дело с попытками человека на основе сложившегося уже и совершенствующегося опыта общения с божествами представить себе формы, эпизоды, процессы будущего развития событий и отношений в том или ином коллективе.

Эти две формы общения человека и божества оказались наиболее всеобщими и наиболее выразительными для нашего, уже современного, постижения реальной жизни прошлого. Разрушенные храмы — в обломках, в останках, сравненные с землей — все равно так или иначе сохраняются от древности до наших дней. Следы футурологических прогнозов, делавшиеся верхушкой общества для себя и для всего коллектива в целом, сохраняются в древнейших видах письменности. Наблюдения над небесной сферой, где человек в течение тысячелетий усматривает таинственные письмена богов, адресованные человечеству, приобретают стандартный вид и во все большей степени, обрастая сложнейшими идейными, духовными, мистическими представлениями,

вливают на коллективное сознание, во многом управляемое лицами, специально занимающимися техникой общения человека с божествами.

Нельзя сказать, что нам удастся когда-нибудь наблюдать первые шаги сложения этих систем: человек → природа → божество. Но все, без исключения, древние письменные памятники, имеющие отношение к духовной культуре, так или иначе затрагивают сферу этих представлений. Они наблюдаются в Ригведе, в месопотамских мифологиях, в египетских текстах, посвященных общению человека с миром богов, и, наконец, в греческой мифологии, в наибольшей степени сумевшей сблизить жизнь божеств, их извечный, циклический ритм с условиями жизни земного человечества.

Естественно, что все эти проблемы в очень ранний период выделяются в особую сферу человеческой деятельности, становятся предметом профессиональных занятий людей, полностью отрешенных от исконных забот земледельца и скотовода. Это — профессии жрецов, священнослужителей (а, по сути, идеологов, научных работников), которые сами становятся предметом особого, культового уважения в среде землепашцев и пастухов.

Рост численности человечества к началу исторического периода, т. е. периода, когда во многих наиболее заселенных центрах появляется письменная традиция, порождает новые, достаточно опасные жизненные тенденции. Если раньше человеческие группы не были связаны чрезмерно жестко с необходимостью обладания определенными земельными пространствами, то теперь вопрос обладания наиболее оптимальными с точки зрения хозяйства и жизнедеятельности территориями во многих странах тропического и даже умеренного поясов становится острым и первоочередным. Человеческие коллективы вынуждены отстаивать свои права на определенные жизненные пространства, обеспечивающие им возможности роста и процветания.

Благодаря своей смекалке человек нашел способы создавать себе особые жизненные условия и запасы. Поэтому он оказался не подвержен ни одному из страшнейших видовых бедствий, распространенных в животном мире. А именно, он мог расселяться на территориях, изначально не пригодных для проживания данного вида, т. е. в условиях, которые для других биологических видов при чрезмерной демографической уплотненности не были доступны. Однако другое бедствие — эпидемии угрожали человеку так же, как и всякому биологическому сообществу. Но он дополнил этот список угроз, куда, конечно, входят и стихийные

бедствия, и угнетенное состояние природы, еще одним, сугубо гуманитарным изобретением, каковым становится война коллективов.

Говоря о войне, надо четко отличать это состояние общественных отношений противоборствующих сторон от эпизодических военных столкновений, возникавших в среде еще не устойчивой социальной организации с не полностью разработанными формами управления обществом и недостаточно четко выработанными нормами отношений между своим и сторонними коллективами. Первое обстоятельство, создающее условие для постоянных противоречий коллективов, — это, несомненно, демографическая избыточность и суперзаселенность определенными автаркичными социально-политическими образованиями своих территории. Однако говорить о возникновении целенаправленной военной деятельности, о какой-то системе взаимоотношений, связанных с постоянными противоречиями с соседями, с попытками организованно противостоять натиску как политическому, так и естественно-популяционному со стороны недружественных соседей, можно лишь с того времени, когда археологический материал предоставляет сведения о наличии того, что в современном мире называют «военной машиной»: техническая оснащенность вооруженных сил, выделение вооруженного контингента населения данного сообщества в особую силу, либо временно, либо постоянно отстраняющуюся от мирной общественной и бытовой хозяйственной деятельности. Все эти моменты сами по себе уже рисуют достаточно сложную структуру социальной организации, весьма далекой от типичных для родо-племенного и соседского устройства коллективов, основанную на жестко определенных должностных и профессиональных обязанностях и высокоответственных формах социальной дисциплины. Фактически, война отмечает не становление того, что называется военной демократией, а начальные этапы структуры классового иерархичного общества, формировавшегося в устойчивую систему в течение сроков, не превосходящих время жизни одного-двух поколений. Война способствует структурированию одновременно и гражданских, и военных институтов. Причем последним, в зависимости от степени постоянной военной опасности, чаще всего отдается значительное преимущество. Фактически, вступив на путь организованных войн, человечество уже становится не способно к возвращению в первобытную сельскую простоту жизни. Войны всегда связаны с политическим, социальным и этническим выживанием, требуют четкой организации общественной

иерархии. И не просто ее организации, но и закрепления этой организации в законодательных формах. Именно здесь происходит слияние того сакрального мира божественных небесных гарантий с общественным строем соответствующего коллектива. Фактически с этого момента можно говорить о создании государства как такового.

Образование государства — процесс достаточно сложный, многоступенчатый и, естественно, далеко не во всем восходящий к ведению войн и организации военной силы. Но война становится катализатором этого процесса, протекающего одновременно по многим общественным каналам. Причем большинство созданных уже в отдаленном прошлом систем взаимоотношений — внутри коллектива, коллектива с божествами, коллектива с предками и т. д. получают определенную ясность и устойчивость, дающую возможность подерживать государственный строй в течение длительных периодов времени. Собственно государственный строй древности основывался прежде всего на четко оформленном единовластии, а уже под ним происходило оформление достаточно разветвленной системы учреждений и институтов, служащих объединению, с одной стороны, на уровне всего населения государства, а с другой — на уровне определенных его групп, ответственных за те или иные области хозяйственной, социальной, военной, религиозной деятельности.

Устройство древних обществ сохраняет очень много элементов первоначальной хозяйственной простоты. Земледелец, как и прежде, продолжает пахать и собирать урожай, скотовод растит стада, производит всю ту продукцию животноводства, которую он производил и в более ранние времена, и та часть населения, которая занята непосредственными заботами жизнеобеспечения, остается в некотором роде в стороне от более сложных забот государственной власти, связанных с охраной своей территории, первоначальным накоплением богатств, воспринимаемых не только как собственность правящего класса, но и как гарантия жизни для всего населения соответствующей страны, государства. Это оформляется «божественными установлениями», они становятся руководящими принципами государственных законодательных кодексов.

По сути, то, что появляется в ранней письменной традиции — это следы существования устойчивой государственной организации. В то же время подобные следы можно наблюдать в общественных сооружениях, уже не тех отдельных, обособленных от жилых поселений храмов и культовых построек, гаран-

тировавших в прошлом устойчивость повелений и принципов богов-законодателей, а в грандиозных культовых комплексах, встроенных в жилые массивы больших поселений, собственно городов, и связанных непосредственно с жизнедеятельностью общественной верхушки, верхних слоев социальной иерархии, которые начинают руководить всеми сторонами общественной жизни, протекающей на территории подвластного им населения.

Фактически здесь четко оформлено устойчивое неравенство. Оно проявлялось в бытовой и социальной жизни, но находило уже выражение в самом духовном строе общества, что отражалось и в памятниках искусства. Эти памятники отмечают социальную иерархию, прежде всего, в передаче соотношений между руководящим слоем общества и средними общинниками, жителями аграрных поселений. И более того. Они обозначают и ступени военной иерархии, всего-навсего передавая изображение вождей, воинов, селян в разном масштабе. Маленький человек — это уже не физиологический факт, это символ социального положения. Мы имеем дело как минимум с четырьмя масштабами для передачи структуры общества в изобразительном искусстве. Все восходит к образу Владыки, причем наиболее крупно передается Владыка небесный — Бог, за ним следует фигура верховного вождя, царя, верховного жреца; далее — представлена в достаточно однообразном виде дружина, рать, те самые защитники общества, что будучи одновременно и окружением царя, несут труд по охране государства. И лишь за ними, ниже их, меньше по размерам, стоят слуга и сельский труженик.

Собственно, если брать древнейшие китайские исторические памятники, так сказать, уже распространение масштабов человека на литературу, то там таких социальных слоев-группировок оказывается пять. Но эта цифра определялась числовым символизмом в первую очередь, причем с числовым символизмом, возникшим в Китае уже во второй половине I тысячелетия до н. э. Вряд ли здесь стоит специально рассматривать эту тему. Важнее сам принцип деления и основные, связанные с ним, группировки. Именно в период ранней государственности начинает формироваться, в условиях фактического и богоданного неравенства, представление об элите общества и «маленьком» человеке.

Археология — наука эмпирическая. Во всех своих построениях, в том числе и теоретических, она полностью зависима от фактов, установленных к моменту создания того или иного обобщения. Однако для каждого специалиста вопрос не может

ограничиваться только сиюминутным набором фактов. Каждый стремится так или иначе заглянуть за эту самую сиюминутную фактическую грань. Наиболее характерная ситуация, в которой такой подход хочется применить, связана с тем, что какая-то культура или комплекс предстает перед исследователем в уже окончательно сложившейся развитой форме. Хотя специалисту не трудно себе представить, что достижение этого развитого состояния само по себе являет собою многоэтапную историю развития системы материальных фактов, контекстов, человеческих взаимоотношений и комплекса идей, отчасти традиционных, отчасти новаторских, которые, будучи обращены на решение какого-то практического вопроса, ведут развитие того или иного явления по неким ступеням совершенства.

Разновидности формирования из более низких уровней развития более совершенных систем весьма многообразны. Достаточно привести несколько конкретных примеров. Это, в частности, переход от изготовления изделий из камня к металлической продукции. То же касается и многих приемов обработки металла, изготовления художественных изделий из металла. Но все то, что мы можем наблюдать полученным непосредственно из раскопок, — это обычно вещи, связанные с очень высоким уровнем производства и потребления. Когда предметы, прежде бывшие уникальными, изготавливаются массовыми сериями и распространяются среди больших человеческих популяций, тогда они и доживают до наших дней: из серии в несколько тысяч предметов пара изделий может сохраниться. Тогда же, когда мы имеем дело с сериями экспериментальными, не превышающими несколько сотен изделий, чаще всего они могут исчезнуть и не дойти до нас.

Впрочем, решающая роль в таких ситуациях принадлежит случаю, случайности. Наиболее показательна в этом смысле история раннего книгопечатания. Здесь процент сохранения первоначальной редкой продукции значительно выше, чем в обычном, далеком от прямых интеллектуальных потребностей производстве. Но мы видим, как мало сохранилось книг, печатных листков и тому подобных материалов, относящихся к периоду до 1500 г., то есть к веку открытия книгопечатания.

В отношении ранней металлической продукции существуют более резкие ограничения в ее сохранности. Металла всегда не хватало. И в ранний период, когда еще не образовались различные традиционные запреты, большая часть металлической продукции, перестававшей служить в производстве, шла в переплав-

ку. Это много позже появились всякого рода идеи насчет того, что металл изделия, бывшего в определенном употреблении, пропитывался «духом» тех людей, которые пользовались этим изделием, а потому мог нести вред людям, которые будут пользоваться этим металлом, даже в переплавленном виде. Такого рода идеи были достаточно распространены в различные периоды Средневековья в разных этнических культурах. Ранние металлы, особенно драгоценные, редко сохранялись в своем первоначальном оформлении. Конечно, большую роль в этом сыграли войны, и продукция, престижная и модная у завоеванных, чаще всего переставала быть таковой у завоевателей, стремившихся всеми силами насадить свою культуру и свои престижные ее формы.

Именно этим обстоятельством объясняется то, что редко можно наблюдать эволюцию определенных форм изделий от глубочайшей древности до современности. В моменты, переходные от одного государственного строя к другому, от доминирования одного этноса к господству другого, т. е. в переломные моменты, всегда менялась сама структура производства и производственной техники. Поэтому так трудно уловить в развитии производства каких-либо видов изделий четкие этапы, которые проходила в истории даже самая функционально определенная вещь.

Допустим, начиная с палеолита стали использовать различного рода костяные заколки, причем использовать не только для причесок. С их помощью можно было соединять полы разного вида полотнищ, какие-то плетеные материалы друг с другом. И в некоторых культурах костяная заколка сохранила свое значение от палеолитической поры буквально до сегодняшнего дня. Частными примерами этого могут служить женские прически Китая и Японии. Но, опять же, общий вид заколок изменился. И для человека, не знакомого с историей предмета, довольно трудно убедиться в прямой связи палеолитического изделия с современным. Но определенный набор знаний позволяет обратить внимание еще на одно обстоятельство. А именно — применение заколки вместо застежек характерно до сих пор в этнических культурах Восточной Азии. Так, в Китае книжные переплеты запираются заколкам, продетыми в специальные петли, сделанные на переплете. То есть фактически заколка встраивается в схему развития обычной европейской пряжки с центральным стержнем, который продевается в отверстие ремней или материи, или классической, опять же европейской булавки. Знаменитая английская булавка — это одна из разновидностей первоначальной заколки. Но какое развитие прошел этот предмет за тысячелетия

технической истории! А при этом уровень технической культуры Восточной Азии (до начала Нового времени) до уровня изготовления и применения английской булавки практически так и не дошел.

В конце XIX в. в развитии этнографической науки произошла можно сказать революция. Накопление больших коллекций материальной культуры отдельных этносов различных континентов показало, что эта материальная культура в различных этнических группах по-разному систематизируется. И эта систематизация, подчиняясь функциональным характеристикам предметов, может быть весьма различной в зависимости от того, какие именно изделия (а изделий, кроме ритуальных, не имеющих определенных технических, бытовых и хозяйственных функций, мы не знаем) в каждой данной культуре использовались для одних и тех же функций. Наборы функционально и формально однородных изделий, происходящих из определенных регионов и ареалов земли, позволили специалистам создать достаточно подробную классификацию, показывающую различие в развитии этнических культур. Это различие обычно тем сильнее, чем самобытнее и самостоятельнее оказывались отдельные человеческие группы.

Укрупнение социумов сопровождалось укрупнением производства. Потребности в массовой однородной продукции, обеспечивающей быт и общественную жизнь, требовали укрупнения производства в очень больших объемах. Если средневековый ремесленник, работавший в городском квартале или в сельской округе, производил постоянно однородную качественную продукцию, то этому способствовало то обстоятельство, что ремесленник входил обычно в какую-то крупную цеховую организацию. Цех объединял ремесленников, занятых в одной и той же области производства. В крайнем случае в эту область могли включаться определенные подсобные промыслы, связанные с использованием отходов основного производства и излишков его сырья, постоянно возникавших при производстве однородных функциональных серий. Цех контролировал производство с тем, чтобы у потребителя не возникало мысли о каких-то преимуществах одного мастера по сравнению с другим. Продукция должна была буквально воспроизводить определенный установленный цехом эталон. И качество ее должно было быть полностью для каждого изделия адекватным. Такого рода система могла существовать только в условиях очень жесткого контроля, осуществлявшегося как покупателями, так и производителями,

которые в силу своей принадлежности к определенному коллективу все были знакомы друг с другом.

Предлагая здесь предварительную оценку развития поведенческой стратегии вида, ориентированную на устойчивое и успешное выживание, я стремлюсь выяснить, как сочетаются в ней общечеловеческие видовые константы с воздействием на индивид и общество разнообразных региональных природно-экологических ситуаций. Не включая в данный обзор эволюцию производства индустриальной, и тем более постиндустриальной, эпох, я думаю, что успею еще высказаться о них в будущем. Новое время изменило радикально круг общения подданных каждой из стран Европы, подчинило их совершенно новой системе администрации и разрушило большинство религиозно-нравственных идеалов, заменив их во многом простыми материальными вождениями, из которых исходят массы и которым подчиняются профессионалы-политики, элиты, ученые.

В настоящее время в общественно-политических и шире — антропологических науках, нет твердых установок, опирающихся на какую-то единую систему нравственных, ментальных, законодательных оценок и представлений: анархия и хаос в этих областях даже нарастают. Зато появляются некие сиюминутные кумиры-теоретики, на непродолжительное обычно время завладевающие вниманием и творческой интеллигенции и, увы! специалистов. Причем в России произошло в некоторых отношениях возвращение от уровня научных исследований современности, лишь слегка дополненных русским марксизмом, к научной гуманитарной тематике начала XX века, слегка «разбавленной» современными гуманитарными учениями, где сохраняются в качестве фона «марксистская» методология и многие догматические разработки. Это уровень гуманитарной эклектики, на котором легко уживается «общественно-политическая классика» (типа М. Вебера, Т. Куна и других кумиров 90-х годов) с яростным антисоветизмом, смешением науки и политики, господством мнений (престижность, знаковый характер личностей, формирующих мнение, мода и т. д.) над доказательствами, логикой и знанием. В целом это выглядит, как возвращение в научное отставание, подкрепленное бессистемностью и уменьшением объема самих позитивных знаний, признанием невежества движущей силой. Этаким научный «постимпрессионизм».

Осталось еще несколько технических замечаний.

Вопреки обыкновению, в ряде разделов сняты некоторые ссылки на работы моих предшественников, фактических оппо-

нентов и специалистов, занятых исследованиями сходных тем, что вовсе не означает попытки принизить значение их исследований. Ссылки на эти работы даны в других публикациях. Просто в этой работе мне казалось необходимым усилить акцент на собственных разработках, которые не отмечены в справочной литературе и библиографиях.

Кроме того, приношу глубокую благодарность моей ученице, историку-искусствоведу М. А. Глушатовой за многолетнюю (с 1994 г.) творческую помощь в моей научной работе.

Часть I

ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Глава 1

ОБЗОР ПРЕДЫСТОРИИ

Полномасштабная работа над историческими материалами возможна лишь с эпохи бронзы. Весь предшествующий ей период имеет значение фона и генетической среды, на которой строится картина развития культуры бронзового века. Культура — это крайне многоплановое и очень сложное понятие, имеющее массу разнообразных и противоречивых определений. Становление такой научной области, как культурология, несмотря на очень недолгий период ее существования, оказалось далеко от утверждения общих установок и целесообразных исследовательских принципов.

Итак, под культурой можно понимать весь позитивный опыт человечества, систематизированный в каждом определенном заданном периоде. Культура при анализе может быть расчленена на целый ряд достаточно компактных, но взаимозависимых сфер. Основное подразделение здесь проходит между материальной и духовной культурой. Определение «материальной культуры» достаточно стабильно и не вызывает разнообразия подходов, поэтому первым делом можно сформулировать его. Материальная культура — это весь комплекс созданных человеком строительных, производственных, бытовых, хозяйственных объектов, набор инструментов и сооружений, которыми человек пользуется-

ся в своей хозяйственной, производственной деятельности. Сюда входят объекты, созданные предшествующими поколениями и оставленные ими потомкам, чем в значительной мере определяется организация хозяйственного, бытового и социального уклада человеческих коллективов. В состав материальной культуры, помимо указанных показателей, входит и все то, что производится человечеством в заданное время для удовлетворения своих разнообразных жизненных потребностей.

Духовная культура разделяется на два основных компонента: с одной стороны, это общечеловеческие представления, замыслы, устремления, а с другой — это круг ментальных, эмоциональных и традиционных установок, возникающих и чаще всего консервирующихся в определенной бытовой, социальной, производственной среде, т. е. в человеческих коллективах, обретающих в процессе своего развития выразительную устойчивую этническую и этнокультурную специфику, зависимую от целого ряда самостоятельных в данной среде решений производственно-технических, социальных и рациональных задач. По отношению к указанной второй стороне сразу же возникает вопрос о том, насколько духовная культура какого-то стабильного общества способствовала формированию его материальной культуры и насколько продуктивность взаимодействия духовной и материальной культуры определялась каждой из этих составляющих.

Наш материалистический подход к истории изначально был вульгаризирован тем соображением, что материализм обязательно подразумевает во всех без исключения сферах примат материального. То есть все процессы, которые определялись разумом, духовностью, воспринимались как вторичное, чему яркой аналогией и примером могут служить многочисленные марксистские соображения о базисе и надстройке. Базис, материальное, как бы сам продуцировал всю культурную духовную среду (хотя в действительности философы, в том числе и классики марксизма, признают, что человечество и его культура обязаны своим происхождением, развитием и непрерывным поступательным ходом именно разуму, рациональности). Конечно, ни о каком архетипическом замысле и его роли в творческом развитии человечества не могло быть и речи, то же касается и соотношения формы и содержания, когда возможность их независимого равноправного существования полностью отрицалась. Таким образом, не принималась во внимание следующая схема: архетип → сохранение и развитие идеи → развитие техники → выход технических (базисных) возможностей на уровень, соответствующий

какой-то из возможностей реализации архетипа → полноценная реализация архетипа. Для иллюстрации действия этого принципа, пожалуй, наиболее полно подходит пример развития идей «человек в полете»: вначале удалось реализовать идею «полет в летательном аппарате» с мотором и без мотора, затем — полет на дельтаплане, но полная реализация полета человека «наравне с птицами» пока еще не наступила, ибо летать при помощи маховых крыльев человек по-прежнему не может.

Начиная с 1970-х годов идея рациональности развития в нашей науке понесла очень серьезный урон вследствие принятия положений современных культурно-психологических школ, представлявших развитие в форме перехода от неосознанной, хаотической деятельности к росткам рациональности. Такая схема готовилась в европейской науке уже сравнительно давно, и обязана своим происхождением, в частности, неправильному прочтению учеными середины XX в. соображений З. Фрейда, Л. Леви-Брюля и др. о так называемом коллективном бессознательном. В этом определении и в самой проблеме оказалось очень много моментов непродуманной многозначности, которая в конце концов привела ученых-структуралистов и «археологов в сфере изучения сознания» (М. Фуко) к отрицанию примата разума, рациональности в духовной культуре. В отечественной же науке это соображение объединилось с представлением о вторичности самой духовной культуры, что в конце концов привело к обесмысливанию: к представлению о полной эвристичности изначальных процессов развития. Я полагаю, что с этим скользким состоянием необходимо покончить и вернуться к рациональному подходу к рациональным явлениям.

Для того, чтобы это возвращение к рациональности в поставленной теме было оперативным и перспективным, необходимо определить ряд моментов, касающихся содержательной стороны исследования тех исторических явлений, от которых зависит становление китайской этнической культуры и трансформации ее в ведущую форму восточноазиатской цивилизации. Для того, чтобы эти проблемы обрели рациональную основу, необходимо решить вопрос о границах рассматриваемого региона. Но, обращаясь к территориальной, пространственной стороне культуры, не следует забывать, что она внутренне связана с ходом временных изменений. Таким образом, устанавливая самую грубую периодизацию проблем на пространстве определенного региона, приходится учитывать сразу обе составляющих — и пространственную, и временную.

Автор не стремится представить периодизацию китайского прошлого, начиная от эпохи становления *homo sapiens* и первых шагов возникновения аграрной культуры, а рассматривает лишь период, когда эта аграрная культура начинает последовательное развитие, могущее в основных параметрах, быть прослеженным, с учетом соответствующих происходящих в культуре временных и территориальных изменений, от первых его шагов до Нового времени. То есть до эпохи актуальной этнографической современности. Говорить о значении этого термина приходится потому, что развитие Китая лишь отдельными мощными импульсами связано было с развитием внутренних азиатских районов и, тем более, с общим развитием культур евразийского пространства в эпохи неолита, энеолита и бронзы. Употребляя эти термины, имеющие как хронологическое, так отчасти и территориальное значения, я не пытаюсь их абсолютизировать в противоположность большинству специалистов, стремящихся особенно жестко ограничить круг исследований археологического материала в пределах той или иной периодизационной ступени. Сразу же оговорюсь: для меня археологический материал — это, прежде всего, материал, который может быть путем углубленного изучения с помощью возможно более разнообразного набора приемов превращен в исторический источник. Вопрос об историческом источнике в последние десятилетия решается далеко не однозначно. Если в пределах XVIII—XIX вв. исторические источники были связаны исключительно с нарративной историографической традицией тех немногих народов, которые использовали и сохранили до наших дней письменную культуру, то теперь, в XX и тем более в XXI в., в состав исторических источников все более активно входят многоязычные письменные материалы, обнаруживаемые в процессе полевых археологических работ. Следует добавить, что и археологический факт может создать самостоятельную основу для выявления исторического источника — требуется лишь последовательная процедура интерпретации.

Глава 2

ПРЕДПОСЫЛКИ ГОСУДАРСТВА

В течение многих десятилетий наша наука пыталась найти форму обобщения процесса перехода от первобытно-общинной структуры общества к раннеклассовому обществу, становлению ранней государственности. Философские обобщения XIX в. и во внемарксистской литературе весьма способствовали такому абстрактно-отвлеченному подходу, когда возникала возможность воспринимать этот переход как полностью объективную закономерность, не зависящую от местных, региональных и конкретных условий существования определенных популяционных групп. Наивысшим уровнем выражения этого подхода явилась попытка признания примерно следующей абстрактной схемы, которая была создана Л.Г. Морганом [1], а через генерализацию, проведенную Ф. Энгельсом [2], пришла в марксизм: первобытно-общинный строй → эпоха военной демократии → раннее классовое общество. Дальнейшие поиски в этом направлении, предпринятые европейской и североамериканской наукой, включили в эту периодизацию дополнительную ступень не очень ясного характера, обозначенную как «чифдом», что, собственно, принципиально не изменило ни представление о направленности развития, ни качественную характеристику будто бы происходивших процессов, характеризующих не только относительно изученные общества Древнего мира, но и абсолютно фактически не известные раннегосударственные образования латиноамериканских стран.

Отрешаясь от этого подхода, который ничего не дает в отношении понимания причин и реальных форм происходивших социальных изменений, и возвращаясь к рассмотрению возможностей конкретных региональных специфических переходных форм, можно, как представляется, получить значительно более

реалистичную и соответствующую исторической обстановке картину как переходного периода, так и самого процесса классового образования. Конечно, вопрос о начальных этапах государственности и перехода от самоуправляющихся биологических (семейных) коллективов к организованным социальным структурам не имеет прямой письменной документации (как нарративной, так и эпиграфической). Здесь очень многое связывается с гипотетическими построениями, причем далеко не все они могут быть не то что обоснованы, но даже и сопоставлены с этнографическими параллелями, которые чаще всего кажутся привлекательными для отдельных школ специалистов. Намечая принципиальную умозрительную, гипотетическую схему данного перехода, я считаю возможным не затрагивать здесь историографию этого гигантского, невероятно запутанного и подвергшегося очень многим пересмотрам вопроса. Это предмет совершенно особого самостоятельного исследования, имеющего не только историографические, но и исследовательские задачи, ибо на этом пути яснее проявляются общие тенденции развития творческой мысли специалистов.

Начну сразу же с самого умозрительного построения. Правда, следует оговориться, что степень умозрительности снижается за счет учета полученных в XX в. археологических данных, добытых благодаря систематическим раскопкам и их сравнительно полной документации и относительно достоверной интерпретации.

1. Переход к государственности — это действительно переход от в значительной мере биологической системы, заданной видовыми свойствами рода Ното, управления семейным коллективом к управлению группами людей, занятыми в разных областях домашнего производства, в разных частях территории, контролируемой коллективом, состоящим из определенного набора семейных групп и территориальных объединений, к управлению, основанному на личных качествах управителя, с одной стороны (не обязательно связанных с его ролевыми функциями в той или иной семейной структуре), и наличию у управителя определенного штата внесемейных исполнителей, полностью находящихся в его личном распоряжении, а с другой — функциональными особенностями управляемых коллективов, связанными не с их социальными и родственными отношениями, а определяющимися их производственными функциями в объединенном пространственно и организационно хозяйстве.

2. Переход этот, как отмечал уже Фюстель де Куланж [3] по отношению к античной государственной общине, в каждом отдельном случае был одномоментным. В случаях, не связанных

с античным обществом, этот переход мог быть и не стойким, т. е. опыты перехода могли оказаться несостоятельными и общество возвращалось на уровень раздробленности по родственному признаку и к схеме управления, основанной исключительно на родственных отношениях.

3. Создание устойчивой ранней государственности всегда сопровождалось определением территориальных и демографических объемов управляемой группы. Вспомним книгу «Числа» в Библии или ту же *Domesday Book* в средневековой Англии эпохи Вильгельма Завоевателя (конец XI в.).

4. Структурирование территории, при всем разнообразии возможных форм самого процесса административного и политического управления, оказывалось достаточно однообразным, а именно: выделялись обширная аграрная периферия и управленческий центр, связанный с поселением в нем, во-первых, самого управителя, во-вторых, значительной группы исполнителей, находящихся в его распоряжении, в-третьих, не менее значительной группы лиц, причастных к обслуживанию быстро формирующихся в традицию ритуальных управленческих форм, в число которых включался как сам процесс управления, так и его ритуально-магическое и религиозно-политическое обоснование. В этом же центре обязательно присутствует группа исполнителей особого рода, работающих уже не с людьми, а выполняющих определенные производственные заказы, обеспечивающие весь спектр нужд правителя и его окружения, как свиты, так и исполнителей. Эти лица, принадлежащие к производственной группе, не относясь к числу управителей, оказываются в общем контексте данной популяции в относительно особом положении. Не будучи заняты в аграрных работах, они, так же как и окружение правителя, получают соответствующее материальное содержание, обеспечивающее их быт, воспроизводство и определенные хозяйственные возможности, потребности и, по мере усложнения структуры производства, связаны с увеличением числа градаций среди них, обусловленных престижностью или социальной значимостью их труда. Этот труд, организованный и стандартизованный, не только становится образцом для производства всей государственной округи, но отчасти помимо работы на правителя удовлетворяет и материальные потребности всей этой округи.

5. В связи с образованием ранних государственных доменов возникает проблема соотношения нескольких параметров оценки человеческой личности. Кроме родственных отношений начинают приниматься во внимание личные или групповые отноше-

ния к правителю и его окружению, характер административной или военной деятельности и уровень престижа того или иного лица или группы лиц, определяемые присваиваемыми правителем рангами или должностями. Фактически данная схема подразумевает коренной перелом в отношении структуры общества, которое в значительной мере высвобождается из уз биологического и агнатного родства (т. е. родства в пределах самоуправляемого коллектива низшего порядка). Конечно, это не означает, что все эти формы биологических отношений уходят в прошлое, но значение их преобразуется в особую, подсобную, часть социальной сферы, впрочем, достаточно важную, учитывая то, что родство с правителем, принадлежность его семейному или просто постоянному близкому окружению создает для человека определенный уровень как достатка, так и социального статуса. Кстати, ранговый достаток определенно очень рано начинает не просто контролироваться, но и определяться правителем. И этот ранговый достаток становится одним из непосредственных показателей рангового положения наряду с целым рядом разнообразнейших знаков ранга, которые разрабатываются правителем и его ближайшим окружением и которым придается не только социальная, административная, но и сакральная функция. Сакральная функция может обеспечиваться либо акциями самого правителя, либо функционально определенной группой лиц, входящих в состав административно-организационных подразделений.

Однако помимо самого аппарата управления постепенно все большее значение приобретали техническое обеспечение управления, выработка определенных норм, способов и форм работы с семейными коллективами, функциональными группами, включающими как подразделения творцов-ремесленников, так и значительные объединения воинов, обеспечивающих внутренний порядок в управляемом единстве и возможность, с одной стороны, защиты его от внешних посягательств, а с другой — осуществления различных силовых акций по расширению территории, захвату плодородных земель или источников различного сырья, обеспечению доставки такого сырья из отдаленных зарубежных районов, а также присоединению к своему государственному образованию граничащих с ним земель и государственных владений. В состав такого технического оформления проблемы управления входят: рационализация управленческого аппарата; возможно более строгое его функциональное членение, что хорошо отражено во многих главах «Шуцзина»; создание помимо централизованного государственного аппарата также и региональ-

ных и локальных его ветвей, и постепенное разграничение функций различных иерархических структур такого аппарата.

Одно из ведущих требований при организации власти связано с тем, что власть не может основываться на идее произвола. Любое государственное образование — это, прежде всего, нормально функционирующая структура, где и власть, и управляемый и направляемый ею человек оказываются наделены определенным кругом прав и обязанностей, которые могут либо строго и неизменно соблюдаться, либо динамично развиваться в зависимости от хозяйственных, демографических, бытовых и социальных перемен. Если во власти возникает тенденция к произволу, то, естественно, она встречает в разной степени соответствующие формы противодействия: вначале — уклончиво-молчаливого, а затем и все более решительного, которое может быть либо урегулировано, либо подавлено. Но в последнем случае подавление тех или иных требований и потребностей отвлекает, в зависимости от глубины и сложности проявленного произвола власти и форм сопротивления, все большие силы, функционально предназначенные, как, например, армия, для решения совершенно других жизненно важных для государства проблем. Все эти обстоятельства вынуждают властителей формировать определенные нормативные установки, находящие выражение в нескольких видах распоряжений. Это — указы, провозглашения, пожелания властителя и его окружения и, в конце концов, суммированные проявления тех или иных представлений о справедливости и обеспечении необходимых потребностей, формирующиеся в самих управляемых коллективах. Собственно эта часть духовной культуры и образует наиболее стойкий слой этнических ее проявлений и обозначается как обычаи, обыкновения, а в конечном счете как традиции, т. е. те духовные узаконения, прежде всего изустные, передающиеся в коллективах и в пределах самого государства в форме дидактических предписаний, обеспечиваемых воспитательной и образовательной практикой, как в рамках отдельных семей при непосредственных взаимоотношениях индивидуумов, так и социальных коллективов разного властного диапазона. В конце концов, соединение традиций с любыми временными государственными установлениями может служить основанием для выработки уже законодательных предписаний, становящихся не только нормой, соблюдаемой в соответствующей социальной среде, но и законом, обязательным к исполнению. В этом последнем положении китайский опыт имеет значительные отклонения от опыта западных стран, и прежде всего от развития греческой, а потом и римской правовой системы. Если в

этой последней доминируют норматив и возможность приведения любого конкретного случая нарушения закона или возникновения необходимости обращения к нему с точки зрения установления нормы справедливости, то в условиях Китая основным становится выявление именно конкретных особенностей определенного криминального или социально непоощряемого случая. То есть здесь имеет место не приведение случая к закону, а раскрытие существа того диссонанса, который возник в данном, индивидуальном случае между индивидуумом (или какой-то группой) и обществом. Вне зависимости от того, существует ли законодательство определенного государства в устной или письменной форме, оно всегда в случае нормального функционирования государственно-го организма сближено с функциональной спецификой данного государства. При этом изменения, происходящие в государстве и имеющие для него принципиальное значение, обязательно отражаются и в отдельных законодательных актах, и в приведении этих актов в соответствие с общей структурой данного государственно-го законодательства.

К сожалению, ясную картину развития законодательства дают лишь города-государства Месопотамии и следующие за ними обширные ближневосточные империи. Опыт этого законодательства, хотя и нормативно четкого и достаточно уверенного в своей правоте и справедливости, одобряемый и гарантируемый богами, в общем, несколько односторонен и поэтому принимать его за основу, особенно в случае такой специфической страны, как Китай, достаточно сложно.

Говоря о рациональности, нельзя забывать о том, что каждая эпоха имеет свои особенности и основания этой рациональности. Государство Древнего мира опирается в своих управленческих функциях не только на опыт и пожелания вождей-правителей, но и на то, что часто называют божественной волей. Вопрос только в том, что представления о божествах в эпоху многобожия и у специалистов, перешагнувших в своем интеллектуальном опыте фазу единобожия, принципиально и абсолютно различны. Прежде всего, изучение древних документов убеждает в том, что стереотипы отношения к религии и вере, которые разработаны в циничные столетия капитализма, абсолютно не соответствуют нормам и понятиям, существовавшим ранее. Вера была объективным, рациональным явлением. Она являлась составляющей любого из социальных, производственных и управленческих, а также и бытовых нормативных актов. Выступление против общепринятой веры представлялось определенной фор-

мой самоубийства. В конце концов, в условиях жесткого законодательного регулирования, такое выступление собственно и было самоубийством. Но естественно, что вера, как и коллектив, требовала определенных управленческих усилий. Самый простой случай управления процессами веры осуществляется тогда, когда и определенные формы вероучения и власть над коллективом сосредоточены в руках одного лица и все его окружение несет на себе отдельные части этой функциональной системы, которую можно обозначить как «вера—власть». Более сложный случай, когда вероучение с определенным кругом духовных представлений оказывается под управлением какого-то лица или группы лиц, достаточно автономных в пределах данного государства по отношению к правителю и административному аппарату, обеспечивающему нормальное течение «светской» власти.

Заметим, что разделение на «светский», «профанный» и «сакральный» круг деятельности всегда достаточно условно, ибо разделить эти составляющие в нормальной государственной структуре можно только в том случае, если одна из частей этого опыта теряет для общества, для народа свое сущностное содержание. Если отвлечься от философских и математических абстракций, сложившихся в века безверья, в тот период, который мы называем Новым и Новейшим временем, то оказывается, что никакая акция, никакое действие не может осуществляться без той или иной формы веры. Пусть даже это будет просто вера в результат. Но до такого абстрактного рационализма человеческое существо практически не способно доходить в своей регулярной прижизненной деятельности.

Вера всегда имеет в своем составе определенный объем иррационального содержания, заключенный в величественных словах (многократно опозоренных и осмеянных) Блаженного Августина «Credo, ut absurdum est». Но ведь вера, действительно, не требует доказательств. Более того, подлинная вера и не основывается на доказательствах. Собственно, это область чувственных переживаний человека, где проблема доказательств если и существует, то остается второстепенной. Вопрос о том, как сделать веру всеобщей, как укрепить и подкрепить ее, — это вопрос сложной и многогранной организации всего общественного поведения значительных человеческих групп. Организаторами этого процесса становятся в древнем мире прежде всего жрецы, выделяющиеся из рациональной среды управленческого аппарата, образуя свою строго определенную и достаточно ограниченную прослойку, где ограничения связаны с суммой и качеством знаний (в том числе

иррациональных) и умением ими распорядиться в отношениях как с толпой, так и с организованным коллективом и современными (для изучаемой эпохи) интеллектуалами. Люди, задающие вопросы, сомневающиеся, воображающие, что ими найден или может быть найден нетривиальный, необычный ответ на те или иные жизненные коллизии или взаимоотношения, всегда были и всегда будут в человеческом обществе. Их протест против тех или иных нормативов или убеждений может быть вполне бескорыстен и безупречен с точки зрения морали и этики даже современной им среды. Но, естественно, в условиях организованного государственного пространства такой протест, такой скептицизм в отношении тех или иных установлений, если он нарушал общую систематичность властных функций законодательной теории или практики, никогда не поощрялся и не приносил долговременных позитивных перемен в случае, если распространялся в неконтролируемой разумом духовно-эмоциональной среде. Достаточно вспомнить флорентийский опыт Савонаролы или изгнание Данте Алигьери, «справедливость» которого была отринута современными юристами, в ходе судебного процесса, в конечном итоге выглядевшего пародийным.

Итак, священнослужители, жрецы принимают на себя целый ряд сложных функций, обеспечивающих устойчивость организованной власти. Устойчивость, подразумевающую строгое следование нормативам, веру в высший престиж властителя и его аппарата, веру в коллектив, выступающий в отношении каждого из его членов как наиндивидуальная высшая сила. Все эти моменты приходится разрешать жреческим коллегиям древности. Для успешности этой весьма трудной, хотя и престижной, работы существовала масса технических средств, обеспечивающих взаимодействие жреца и коллектива, жреца и правителя. Первое из этих средств — ритуалы и их массовое исполнение. Ритуалы, сопровождающиеся определенными акциями и определенным текстовым оформлением. В связи с появлением ритуальных текстов возникает проблема их доходчивости, с одной стороны, а с другой — общей понятности. Неотвратимость власти закона, формула, согласно которой незнание закона не освобождало от ответственности, имела четкие, к сожалению, не осознаваемые нами, основания. Каждый член коллектива знал жизненные принципы своего коллектива, поскольку весь социальный опыт «гражданина» (в русском языке, вне законодательных документов, это понятие утратило свою позитивную суть, что ясно проявляется при сравнительном анализе употребления этого понятия в современных за-

падных европейских языках — отсюда и эти не заслуженные термином кавычки) древнего коллектива формировал этот самый коллектив, используя всю систему воспитательных средств. Мощнейшая иррациональная составляющая этих норм заключалась в том, что нарушение закона могло прогневить богов и навлечь на коллектив жестокую божественную кару, от которой нельзя было отговориться незнанием закона, обычая, нормы. Здесь трудно воздержаться от яркого примера «божьего гнева», представленного в живописной картине страданий ахейян («Илиада», песнь 1) от кары, обрушенной на них Аполлоном.

Следующее средство, цементирующее коллектив, — это накопленные и хранимые им традиции, которые в Китае очень специфично и тесно переплелись с историей Страны. Можно сказать, что здесь история сама стала важной составляющей частью традиций.

Сколько бы не были ущербны тексты, касающиеся начала китайской государственности, основные, связанные с нею моменты в них так или иначе сохранены. Быть может даже то, что рассматривать происходящие события приходится в их ретроспективе, дает возможность лучше видеть их связность и неслучайность. Хотя, конечно, как и во всяком развитии элемент случайности имел немаловажное значение. Однако видовые потребности и потребности специфически гуманитарные постоянно вносили рациональную коррекцию в любые случайные изменения.

Жизненный распорядок, наблюдаемый при изучении памятников иньского городища в их статике и в развитии, указывает на вполне сложившийся и самодостаточный уровень административного регулирования и государственной организации, позволявшие правителям-жрецам данного, достаточно крупного пространственного социально-политического объединения организовать упорядоченную систему управления как городским центром, так и значительной сельской округой. При этом нельзя исключать, что в пределах этой сельской округи находились также и ряд центров, связанных либо с образованием новых городских поселений, либо с упадком уже прежде бывших таких поселений. Во всяком случае, данные «Шуцзина» о перемещении «столиц» достаточно прозрачно указывают на такую возможность. Так же, впрочем, как и создание иньской столицы ваном Пан Гэном. Все это является свидетельством, с одной стороны, большого территориального пространства ранней государственности, а с другой — по всей видимости, показывает зарождение порядка, когда столичные центры либо сезонно, либо с какой-то

заданной правящей группировкой периодичностью могли перемещаться по пространству государства. Этот порядок наблюдается и в Средние века. Причем столицы — северные, южные, западные могут создаваться как у правящих ханьских династий, так и у их соседей, которые пытались перенять государственные порядки китайской империи. Здесь нельзя исключить достаточно глубокие корни этого явления, связанные, возможно, с возникновением крупной земледельческой общины, в своем развитии требовавшей постоянного отселения части популяции на новые, еще не освоенные земли, тем самым с достаточно устойчивой периодичностью расширяя свое «государственное пространство». Нельзя забывать и сохраненное в веках правило регулярных объездов властителем своих владений. В Китае это правило (обязанность, право) всегда имело двоякий смысл. Правитель, демонстрируя себя народу, не только укреплял харизматическое воздействие на него, но и подтверждал свою самоличность, полноценность, действенность. В то же время правитель посещал все места обязательных регулярных жертвоприношений высшим силам, вступая с ними в личный позитивный контакт. В дальнейшем китайские властители перепоручали эти акции приближенным вельможам. Порядок сезонных перемещений центров, как хозяйственных, так и управленческих, стойко сохранялся в крупных кочевнических государственных образованиях. Рассматривая первоначальную северокитайскую «политию» на Хуанхэ, руководствуясь при этом данными «Шуцзина», можно допустить, что идея «колодезной системы», т. е. организации владений в виде квадрата, поделенного на девять квадратных же участков (причем восемь из них находились в индивидуальном владении, а один представлял собой поле для жизнеобеспечения общих интересов и высшей власти), могла быть реализована в несколько менее абстрактно генерализованных формах. Данные о чжоуском управлении позволяют видеть в политическом пространстве страны большое число равноправных владений — *банов*, управлявшихся каждое самостоятельным правителем — *чжухоу*. Представляется, что эта система могла быть воспринята еще шанской администрацией, учитывавшей особенности аграрного естественного неолитического расселения, когда небольшие группы поселений (объединение их по девять, так же, как и объединения из восьми хозяйств, возможно, в какой-то период и существовало, но вероятней всего оно явилось проявлением первоначальной ритуализации реально сложившейся системы, когда объединение селений могло насчитывать три, пять и более отдельных сельских

центров) подчиняются каждое одному правителю. Такое убеждение тем более становится естественным, если учесть, насколько устойчиво традиционная система аграрного расселения сохраняла в самоназваниях своих поселков клановые наименования. То есть каждый клан, восходящий к первоначальной большой семье, в течение тысячелетий мог сохранять свою первоначальную территорию, обрастающую селениями, принадлежащими более поздним подразделениям данного клана или родственными ему племен (как всегда, употребляя определенные формы социальной терминологии — *племя, клан, большая семья*, приходится отмечать, что терминология эта необычайно условна, что те, якобы устойчивые закономерности, которые пропагандировал Г. Морган, а затем приняли как общечеловеческие нормы людских подразделений классики марксизма, по сути своей многозначны и не могут быть сведены в единую систему устойчиво соотносимых показателей).

Таким образом, в период от неолитической эпохи до организации первых китайских империй можно считать эту первоначальную систему устойчивой и неизменной, не соотнося с нею те административные, государственно-столичные городские титулы, чины и звания, которые появлялись в ранних китайских государствах в ходе управленческих перемен в связи с теми или иными особенностями ранних китайских государств, находившихся под номинальным духовным инь-чжоусским влиянием.

Столь подробный экскурс в изначальную систему политического правления представляется необходимым для того, чтобы оттенить ту традиционную неизменную сельскую аграрную среду, на фоне которой начинают консолидироваться определенные политические силы, выстраивающиеся в монархические государственные образования разного объема и сферы влияния, что, в свою очередь, вносит в весь этот поверхностный слой формирования политических отношений устойчивый элемент семейно-родовых и аграрно-клановых порядков. Фактически в этой взаимодополняющей деятельности политических сил и традиций, сохраняемых аграрными патриархами, протекает вся государственная жизнь, складывавшаяся в эпохи шанской и чжоуской династий вплоть до окончательного падения последней с момента провозглашения Цинь Шихуаном начала новой формы управления — Циньской империи.

Итак, считая аграрную среду неизменной, нельзя не признать, что изменения, проходившие в городских и столичных центрах, в управленческой государственно-политической иерар-

хии, были достаточно значительны в этот период. И первое, что бросается в глаза, — как меняются в этот отрезок времени инструменты административно-политического, хозяйственного и военного управления. Эти изменения касаются прежде всего самого правящего аппарата, буквально, на индивидуальном уровне. Причем все эти изменения так или иначе отражены в главах «Шуцзина», которые, сколь бы не были они в ряде случаев мифологичны, явно имели документальную основу. Естественно, чем древнее были эти документальные свидетельства, тем в большей степени они подвергались мифологизации.

Чем глубже исследуется шан-иньская эпоха, тем значительнее и выразительней чувствуется воздействие на весь процесс управления религиозно-магических взглядов, утвердившихся в шанской популяции. Гадательная практика играла в этой среде, и прежде всего в среде управленческой, полностью доминирующую роль. Все сколько-нибудь значительные административные политические решения проходили через гадательные действия, связанные с использованием для гаданий панцирей черепахи. Практически, гаданием определялось принципиальное решение любой важной для коллектива (царства или столичного города) проблемы. Столь же тщательно проводились гадания, касающиеся членов царской семьи. По всей видимости, последние выступали в роли ближайшего окружения вана, чьи действия или качества могли воздействовать на отношение к вану Неба, предков и огромной массы различного рода божеств, стихий, земли, хозяйства и т. п. Гаданию подлежали отношения царства с соседями, все проблемы аграрного хозяйственного цикла, выполнение ваном своих постоянных обязанностей, состояние космических сил, здоровье вана и членов его семьи и масса других вопросов. Ответы гаданий были указаниями на положительное и отрицательное разрешение той или иной ситуации, хотя кроме этого могли быть и различного рода уточнения, касающиеся направления, откуда придет опасность или благоприятный исход, космических обстоятельств, сопровождающих положительные или отрицательные решения, отношением предков к тому или иному действию и тому подобные проблемы. Кроме того, следует обратить внимание на то, что в китайской гадательной практике, вопреки мнению Лейбница и его последователей, существовали, помимо положительных и отрицательных результатов, различные уровни нейтральных решений. Это объясняет неприятие китайской бытовой и формальной логикой закона «исключенного третьего». Знание набора вопросов и ответов на них, фиксируемых на тех же

гадательных костях, будь это панцири черепахи или бычьи лопатки, позволяет хотя бы ставить вопрос об особенностях инструментария, дающего возможность жрецу предлагать заключение, позволяющее «объективно» трактовать решения высших сил. Этот инструментарий был достаточно сложен, учитывая уже то, что между решениями гадалей и мнением вана возможны были и часто случались расхождения. Причем расхождения основывались на самом характере трещин, которые возникали на внешней поверхности гадательных костей. Процесс гадания, т. е. помещения в подготовленное отверстие раскаленного металлического прута, вследствие чего происходит растрескивание кости, сам по себе уже достаточно правдоподобно изучен. Тогда как указанные особенности трещин и, тем более, количество использованных для одного гадания сверлин (известно, что совсем не обязательно для одноразового гадания использовались все сверлины, подготовленные на одной кости) остаются нам неизвестным.

Конечно, указанными проблемами не ограничиваются составляющие древней общественной культуры народа, страны, государства, но постоянство действия рассматриваемых факторов определяет общую направленность процессов развития духовной культуры [4].

Примечания

1. Морган Л. Г. Древнее общество. Л., 1934.
2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. Изд. 2-е. Т. 21. С. 23—178.
3. Фюстель-де-Куланж Н.-Д. Древняя гражданская община. М., 1895
4. Мейер Э. Теоретические и методологические вопросы истории : историко-философские исследования. М., 1904 ; Ср. : Якобсон В. А. Предисловие // История Древнего Востока : от ранних государственных образований до древних империй. М., 2004. С. 34—56.

Глава 3

О ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ ДРЕВНИХ КИТАЙЦЕВ

Проблема глубины исторической памяти непосредственно связана со спецификой формирования исторических, историко-политических и этнокультурных традиций. Понятно, что в конечном счете последние основываются на состоянии общественной мысли, общественного и обыденного сознания своего оперативного времени (т. е. для каждого периода, эпохи, этапа или момента определяются современностью), но устойчивость, широта распространения и степень монолитности традиций прямо зависят от обширности и многогранности информации, созвучной каждому конкретному моменту исторического развития, сохраненной от прошлого и передающейся преимущественно изустным путем (вопрос о включении письменного наследия в формирование и функционирование традиции не может решаться однозначно для всех регионов мира, но приоритетность устного творчества в сохранении и передаче традиционных установок несомненна). Кроме того, роль исторического прошлого в живой современности во многом определяется телеологическими установками идейно-политических и религиозных учений, распространенных или господствующих в соответствующей этнокультурной или государственно-политической среде. Так, представления о непрерывной цикличности развития, о постоянном возврате его к изначальной исходной точке, от которой начинается творческое восхождение к обретению гармонического созвучия с волей Неба, постепенно сменяющееся дисгармонией и упадком, — свойственные развитому конфуцианскому учению, как и этернальные принципы даоского миропорядка, — не нуж-

дались для своего утверждения, «традиционной легитимации», в живой бытовой конкретике прошлого. Напротив, для этих учений необходимы были идеальные схемы, представленные в исторических трудах. Более того, обычное для ранней исторической традиции, связанной с религиозными эсхатологическими воззрениями (иудаизм, христианство, ислам), широкое привлечение мифологического материала оказалось чуждым для конфуцианско-даоской исторической традиции в периоде ее становления.

Это обстоятельство, вероятно, связано с тем, что оба религиозно-философских направления, сформировавшихся затем в учениях Лао-цзы и Конфуция, первоначально в эпохи Инь и Западного Чжоу, были разработаны и практиковались в двух группах жрецов-чиновников: гадателей-предсказателей и руководителей-исполнителей ритуальных действий. Утверждение последних в высших социальных сферах в период Восточного Чжоу, связанное, как можно полагать, с огромными этнокультурными и социально-политическими преобразованиями, происшедшими на рубеже этой эпохи, видимо, и привело к значительной рационализации мировоззренческих установок, что и отразилось в главе «Сяньцзинь» «Лунь юя» (гл. XI).

Отношение к прошлому как к идеалу, в котором «было все необходимое для счастливой гармоничной жизни», а следовательно, будет вновь при начале нового цикла, выводило из интенсивной духовной жизни очень значительную категорию мифов, трансформируя общую структуру «мифологического мировоззрения» по сравнению с той схемой, которая сложилась преимущественно на основе средиземноморско-ближневосточной мифологии. В целом схема может быть представлена в следующем виде:

№	Классификационные показатели мифов	Средиземноморско-ближневосточные — А	Китайская мифология — Б	Б/А
I	Креационно-космогонические	теогонические антропогенные этногенетические	Космические	—
II	Конструктивные	Технико-тектонические	Шицзин, № 276, 279; Чжюшу цзинянь, 70-й год Яо	—

Окончание табл.

№	Классификационные показатели мифов	Средиземноморско-ближневосточные — А	Китайская мифология — Б	Б/А
		Ритуальные	Шицзин, № 287; Лицзи, гл.Х	+
		Состязательно-запретительные (а)	—	—
		Квазиисторические	Шицзин, № 250	+
III	Мемориальные	Глорификационные	Шицзин	+
		Погребальные (б)	Хуайнаньцзы, Шицзин	—
IV	Социально-утопические	Эгалитаристские	Лицзи, гл. IX	+
		Теократические (в)		—
		Этико-морализирующие (дуализм ада и рая) (г)		—

Примечания.

а) Это мифы, где боги выражают недовольство самостоятельными человеческими действиями и наказывают за них: передача огня Прометеем; постройка Вавилонской башни (кн. Бытия, 2, 1—8); борьба Иакова с Богом (там же, 32, 24—30); наконец, миф о грехопадении, где, отвлекаясь от эротических обстоятельств, речь шла об обретении человеком способности воспроизводить себе подобных (там же, 3; 4, 1); борьба Гильгамеша за обретение бессмертия.

б) Это мифы о пути в царство мертвых, о его устройстве и попытках из него вернуться.

в) Можно полагать, что их широкое распространение в народном мифотворчестве Китая связано с индо-буддийской традицией.

г) Их апофеоз в «Божественной комедии» Данте.

д) Знак «+» означает относительно большую роль данной категории мифов в китайской традиции, знак «—» может означать как неизменность их роли, так и ее снижение.

Итак, миф оказывается структурной основой ценностных ориентаций, организующих традицию. Миф утверждает более глубокую связь традиции с прошлым. Вопрос по-прежнему остается в том, насколько миф находит прямое соответствие в реальной истории, созвучен ли он ее реальному течению? Достоверность описаний прошлого определяется многими факторами: близостью историка ко времени происходивших событий, масштабами самих событий, степенью вовлеченности в них самого историка или его информаторов, их политическими установками, надежностью и разнообразием письменных источников, личностью историка, его профессиональной подготовкой и кругом его специальных, общежитских, политических, человеческих познаний. Наконец — традицией исторических описаний, разработанной в определенной этнокультурной или государственной среде (для **создания** летописания, так же как и письменности, государственная организация является одним из важнейших непереносимых условий, **распространение** этих явлений может происходить и во внесударственных структурах). Дневнекитайская историографическая традиция сформировалась на базе «Шуцзина», «Цзочжуань», «Чуньцю», «Чжушу цзинянь», «Гоюя» и, конечно, «Шицзи» Сыма Цяня. Характерными чертами этой традиции стали: 1) создание хронологической сетки, далекой, как, впрочем, и во всех ранних историографиях, от унификации, так как здесь равноправно выступают династийные, царские, годовые и 60-дневные циклы; 2) формирование обобщенной картины **бытия** страны, где вопрос о **развитии** государства и общества в предшествующие эпохи почти не затрагивался, а изменения ставились в прямую зависимость от смены разномасштабных циклов пятиэлементной структуры (их последовательность и взаимодействие в разных схемах различны); 3) описание героико-мифологических персонажей древности, на примере которых строятся дидактические характеристики положительных, а затем и негативных качеств героев и правителей; 4) воспроизведение типизированных, хотя и достаточно динамичных ситуаций, связанных со сменой династий, показывающих утрату добродетели прежними правителями и ее воплощение в новой власти и т. д.

Практически выяснение глубины исторической народной памяти, отразившейся в исторических письменных источниках (глубина исторической или точнее историко-мифологической народной памяти, сохраненной устной традицией, величина крайне неопределенная, что особенно ясно проявляется в условиях, когда устная традиция начинает испытывать давление фактов, со-

храненных или принятых письменной историей), зависит от определения той хронологической точки или линии (чаще всего далеко не прямой), на которой объективная историческая традиция смыкается с мифологической. Представляется, что такая линия отсчета в археологической периодизации приходится на начальные моменты бронзового века Китая, в пределах которого развивается вся относительно реалистическая древнейшая история китайского общества. Отдельные элементы этнокультурной традиции могли, естественно, восходить и к поздненеолитической эпохе, но обоснованно выявить их в первоначальной чжоуской нарративной историографии пока не представляется возможным.

Глава 4

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ДУХОВНО-МЕНТАЛЬНОГО И ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА У ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ В БАССЕЙНЕ ХУАНХЭ

§ 1. Становление и тенденции развития китайского этноса

Проблема этноса, этничности, того естественного единства, которое сплачивает в однородный, самоорганизующийся коллектив человеческие группировки разной численности и территориального охвата, многопланово обсуждается практически со времени становления научной этнографии, этнологии, социальной антропологии.

К сожалению, рассмотрение данной проблематики в течение большей части XX в. неизменно разрабатывалось в рамках, где совмещались установки, определяющиеся современными сиюминутными политическими интересами, связанными с народонаселением, и состоянием и особенностями народной массовой культуры. Это вызывало смешение крайне разнородных явлений, представлений и оценок, которые пытались в разной степени удачно увязать со схемой последовательного развития общемировых социально-экономических формаций посредством, можно сказать, «мантической» для нашей этнографии формулы: «племя—народность—нация» [1]. Другие пути разрешения чисто этно-

логических задач группировались вокруг эмпирической классификации этнических коллективов, разработанной Дж.П. Мэрдоком [2]; школы культурных кругов; расовых (и даже расистских) концепций; этнолингвистических, расово-генетических, социально-психологических подходов [3]. Параллельно развивались направления, связанные с государственно-политической трактовкой проблем этноса и этнической культуры, постоянно переплетающиеся с чисто этнологическими разработками. Все это многообразие осложнялось еще и привлечением широчайшего круга теоретических, философских, религиоведческих, патриотических, космополитических, европоцентристских и противопоставляемых им националистических построений (особо многообразных в последние полстолетия). Огромный массив терминологии, логических конструкций, «парадигм», «мифологем», порожденных этим гомерическим смешением подходов и установок, настолько затемнил проблему этноса, что разрешение ее, даже для давнего прошлого, возможно лишь на пути конкретного обсуждения в формах общепринятой нормативной лексики наиболее хорошо документированных фактическими свидетельствами примеров этнических проявлений и их исторической динамики, позволяющих выстраивать надежную хронологическую (историческую) и логическую (объяснительную) вертикаль, отражающую для возможно более значительного периода времени (желательно смыкающегося с современностью или, во всяком случае, наиболее приближенного к ней) развитие специфических, однородных, систематических проявлений массовой человеческой культуры в пределах ясных ареальных (в исключительных случаях, как с Китаем, — региональных) границ.

Учитывая специфичность и ограниченность возможностей для выявления древних этносов, необходимо вкратце охарактеризовать круг источников и фактов, позволяющих, хотя бы относительно надежно, их диагностировать и идентифицировать (в соответствии с современными этническими группировками). Так, сам по себе археологический материал, не увязанный с надежными и достоверными проявлениями этнической культуры, не может служить этническим индикатором*. Опыты установления в китайском не-

* Вообще археологические данные не могут характеризовать этнос непосредственно, а только через своеобразие материальных памятников, оставленных населением определенной эпохи на определенной территории. Для доказательного отнесения доисторических археологических памятников к культуре определенного, известного по другим, более позд-

олитическом материале определенных констант, предвосхищающих духовно-традиционные установки последующих этнических образований, были предприняты Д.Н. Кейтли. Впрочем, такие частные проявления, как сходство отдельных иероглифических знаков с неолитическими граффити на керамических изделиях или тем более выявленная еще И.Г. Андерсоном параллель между ранними и этнографическими видами всего одной серии аграрных орудий, ныне уже не могут служить надежным этноинтегрирующим признаком. Для ранних письменных памятников Китая сравнительно надежная глубина этнографических свидетельств сейчас может быть установлена в хронологических пределах династийного пограничья Ся и Шан—Инь, о чем свидетельствуют работы С.И. Кучеры и ряда китайских специалистов. Однако переход от Инь к Чжоу все в большей степени вырисовывается не просто как смена династии (вообще, вопрос о соответствии, во всяком случае полном, ранних исторических династий и периодизации этнической культуры Китая требует специальных углубленных исследований), а скорее как реальная смена доминирующего этноса. Так, переход от кратких эпиграфических иньских текстов к развернутым «бюрократическим» формулам чжоуской эпиграфики уже вряд ли приемлемо воспринимать в соответствии с установками стадийной концепции «развития языка и мышления» во времени, как это представлялось возможным для Ю.К. Щуцкого, полностью разделявшего фразеологию «яфетического учения о языке». В частности, примеры шумеро-аккадской практики показывают, что такое явление могло, вероятнее всего, свидетельствовать о смене доминирующего этноса, который, восприняв не известный ранее административный опыт, стремился закрепить его в надежной мемориальной письменной форме (противоречие со стадийным подходом проявляется и в наличии иньской гадательной/мантической/эпиграфической традиции, где при отсутствии специ-

ним источникам этноса требуется достаточно сложная, до сих пор весьма слабо разработанная процедура, позволяющая увязать выявленные археологические следы материальной культуры с духовными, историческими, экономическими, хозяйственными, бытовыми, символично-магическими, религиозными принципами, установками и традициями реальных, исторически зафиксированных этнических групп. Наибольшее достижение, на которое может ныне претендовать доисторическая археология, — это выявление при интерпретации материальных остатков различных сложных параллелей, которые могут быть увязаны со специфическими проявлениями этнической культуры исторически известных этносов.

альных нормативных руководств, подобных *И цзину*, требовались и выполнялись более развернутые записи).

Затруднительно на основе имеющегося материала сейчас судить о том, какая именно родо-племенная основа явилась фундаментом **этногосударственной общности** несомненно, в основных чертах определившей специфику китайского этноса, т. е. огромного поселенческого массива, к концу существования императорского Китая, условно к концу традиционной эпохи, оказавшегося доминирующей популяцией Восточной Азии. Однако целый ряд констант этнической культуры китайцев, а тем самым руководящих черт и особенностей китайского этноса восходят именно к чжоуской эпохе. Но как сложение и закрепление их распространяется в пределах этого без малого тысячелетнего хронологического периода, достоверно установить пока что вряд ли возможно. Здесь проявляется несколько отчетливых генерирующих и интегрирующих факторов, заложенных в самих условиях жизни населения и осознанных этим населением настолько, что они, включаясь в его повседневную духовную культуру, особым образом ориентируют все сферы жизни народа, превращая его в устойчивый неразделимый этнос. Можно попытаться выделить отдельные структурирующие его черты.

Структурным основанием этнического единства становятся:

а) компактное расселение близкососедствующих многолюдных человеческих коллективов на лёссовых желтоземных почвах нижнего и среднего течения бассейна Хуанхэ. Последнее обстоятельство оказывается настолько важным, что в этнической цветовой символике желтый цвет земли становится императорским;

б) занятие земледелием, злаковым полеводством определяет весь жизненный уклад населения. Расселение избыточных людских масс изначального этноса идет сплошными фронтами по зоне распространения желтоземов, вместе с климатическими особенностями и ландшафтной географией предопределяющих специфику аграрной техники этноса и отбор продуктивных сельскохозяйственных культур. Этнические обычаи, нравы, нормы поведения населения вырабатываются под воздействием однообразных аграрных технологий и этнического хозяйственного календаря, его сезонности и соответствующей ей интенсивности работ; сама структура коллективов, ритм и образ жизни населения способствуют закреплению духовного единообразия в этой среде;

в) государственная власть, сопутствующая китайской этнической организованности на протяжении всего исторического пе-

риода, функционально, структурно и по своим управленческим принципам была полностью адаптирована к условиям данной этнической среды, являясь прямым порождением этой среды, и адекватно реагировала на все ее потребности, интересы и обычаи. Именно усилиями государственного аппарата были унифицированы этнические локальные ритуалы и приведены в соответствие с общегосударственными концепциями всепроникающего космического порядка, организующего общество по иерархической вертикали, подчиненной тем же законам, что и структура древнекитайских большесемейных патриархальных коллективов; по сакральному пространству Поднебесной; по сакральному времени, объединяющему прошлые, настоящие и будущие поколения, связь которых «удавалось выявлять» и актуализировать посредством государственных ритуалов и обширной мантической практики;

г) укрепление этнического единства посредством приобщения к государственным установлениям канонической книги народных песен — *«Шицзина»*, утверждающей своим поэтическим многообразием принципиальную монолитность морально-нравственных основ этноса. Показательно, что и в дальнейшем китайский народ вырабатывает стойкие характеристики для жителей различных провинций своей страны. Они разнообразны, противоречивы, но отражают стабильные оценки и самооценки, прочно увязывают черты характера, деловые качества, эмоциональные проявления с теми или иными ландшафтами, хозяйственной спецификой и прочими ареальными особенностями;

д) многовековое единение государственной и этнической культуры, их совместные действия в укреплении жизнеобеспечивающих функций, которые исконно присущи каждому этносу, способствовали преодолению многочисленных демографических кризисов, периодически разражавшихся в Поднебесной, и укреплению этнических границ, долгое время идеально совпадавших с зоной сплошного земледельческого расселения;

е) структура государственной власти, точно соответствовавшая организации большесемейного патриархального коллектива, изначально определяющего особенности китайской этнической культуры. Так, в трактате *«Да сюэ»*, отредактированном Чжу Си (XII в.), это сформулировано предельно ясно: «Для разумного управления государством прежде нужно соответственно [управлять своей] семьей» (разд. IX). Или, согласно Конфуцию, «В [Книге] истории» говорится: «Когда надо проявлять сыновнюю почтительность — проявляй ее, будь дружен со старшими и

младшими братьями”. В этом и кроется суть правления. Таким образом, [я] уже участвую в управлении. К чему непременно состоять на службе ради управления?» [4, с. 315].

Семейно-клановые принципы сыновней почтительности, уважения к старшим по возрасту, а затем и по положению в коллективе, в обществе поощрялись государственной властью и под ее покровительством становились важнейшими этнокультурными показателями равно значимыми и в повседневной жизни этноса, и в государственных традиционных установлениях, откуда они переходили в сферу политической культуры, становившуюся еще одним инструментом, способствующим консолидации общества и государства;

ж) общество во все периоды китайской истории оставалось единым территориально распространенным этносом, в котором, даже при наличии локального своеобразия и различных внеэтнических и надэтнических проявлений, таких, как появившиеся извне религиозные верования (буддизм, ламаизм, ислам, христианство, манихейство), локальные культы и хозяйственные традиции, этническое единство не нарушалось, но и цементировалось под действием разнонаправленных контактов и взаимодействия на межличностном и межгрупповом уровнях, обусловленных хозяйственной, бытовой, социальной, правовой, морально-этической интеграцией, значение которой постоянно возрастало вследствие непрерывного и ускоряющегося роста массы народонаселения;

з) китайский этнос еще в глубокой древности полностью исчерпал все территориальные объемы того жизнеобеспечивающего пространства, которое было пригодно для организации и утверждения искусственной экологической обстановки в природно-климатической нише, соответствующей виду хозяйствования и экономической жизни, выработанным аграрно-полеводческими коллективами на лёссовых равнинах Северного Китая. Поэтому всему историческому периоду развития китайского этноса сопутствовало неизменное численное возрастание плотности населения на каждую единицу освоенного пространства. Выход за его границы на север и запад был сопряжен с необходимостью полной реадаптации к условиям засушливого климата и скотоводческих форм хозяйства, т. е. вел к коренным преобразованиям этнокультурного стереотипа. С какими трудностями сталкивались подобные предприятия, показывают такие документы, как *Чжаньго цэ* и *Шицзи Сыма Цяня* в связи с историей правителя северного княжества Чжао У-лин вана (правил в 325—299 гг.

до н.э.), который, проводя реформу армии для успешного ведения боевых действий против воинства кочевников, вынужден был «посягнуть» на национальные одежды и вооружение своих собственных воинов всех рангов. Или, как говорил он сам: «Зато, что я собираюсь ввести одежду варваров ху, научить народ стрелять из лука с лошади, мир непременно будет осуждать меня. Как же мне быть?» [5, т. 6, гл. 43, с. 61]. В конечном счете, преодолев сомнения, У-лин ван провел военную реформу, чему немало способствовали современные ему рыцари-политики, очень многочисленная и авторитетная социальная категория времени Борющихся царств. Свою идеолого-политическую стратегию У-лин ван сумел обосновать буквально научными и этнологическими доводами, резюмируя их следующим образом: «Ныне вы... говорите о принятых обычаях, я же говорю о формировании обычаев» [5, т. 6, гл. 43, с. 61]. Концепция, утверждающая необходимость перестройки, преобразования этнических и этнокультурных догм и стереотипов в случаях, когда в этом возникала крайняя практическая необходимость, вызванная потребностями выживания и благосостояния всей массы «черноголового народа Поднебесной» (так именовали население страны древнейшие политики, чьи идеи и высказывания формировали *Шан шу*), заняла важное место в этногосударственной политической теории Китая последующих веков. Хотя авторство идеи прочно связалось с именем У-лин вана, разработка и утверждение ее несомненно принадлежат многочисленным, но — увы! — безвестным военным стратегам Древнего Китая, определявшим внутреннюю и международную жизнь тогдашних суверенных владений на территории страны. Они объединялись лишь единой системой мировоззрения, ритуалов и, отчасти, обоснованной этими моментами иерархией правителей княжеств по отношению друг к другу и к чжоускому правящему дому, династии, чья власть, уже не утверждающаяся военным могуществом, служила номинальным символическим обоснованием военным и подкрепленным вооруженной силой политическим притязаниям *ванов* и *хоу* обособленных ареальных владений.

Здесь необходимо прервать этот список этнокультурных показателей и проявлений этнического единства для того, чтобы обратиться к теме внешних культурных контактов устойчивой этнической среды, всесторонне адаптированной к условиям своей экологической обстановки, с подвижными, политически неустойчивыми группировками, с племенами кочевников, заселявших в течение тысячелетий засушливый пустынно-песчаный и

плоскогорный огромный регион на севере и северо-западе Китая. Не приходится недооценивать значение этих относительно слабо заселенных (если, конечно, подходить к ним с мерками, действительными для земледельческих популяций), но пространственных территорий для укрепления китайской государственности и совершенствования военного искусства древних китайцев. Обычно при характеристике исторических событий иньской эпохи отмечают военную активность и опасности, исходящие от северных племен (*бэй фан*). Однако выявление территорий северных соседей Китая того времени — задача, решение которой пока еще только намечается. Большинство из кочевых племен того времени, вероятнее всего, фиксировались в пределах, не выходящих за границы территорий, очерченных современным внешним периметром Великой китайской стены, хотя племена так называемой варварской периферии Древнего Китая в своем расселении могли охватывать и значительно более удаленные территории, иметь места постоянного базирования в Маньчжурии, Восточной Сибири, Центральной и даже Средней Азии (если следовать географической терминологии русских исследователей). Собственно Китай с его плотно располагающимися сельскохозяйственными угодьями никогда не входил в зону интенсивного первоначального освоения лошади как транспортно-упряжного и тем более предназначавшегося для верховой езды животного (вопрос о возможности domestикации лошади на территории востока Азии — проблема особая и мало связанная с вопросом ее хозяйственно-транспортного и военного освоения в эпоху бронзы). Появление лошадей в иньских и раннечжоуских *чэмакэнах* в качестве упряжных животных для колесниц, да и самих колесниц, их снаряжения, оружия колесничных бойцов не является еще само по себе указанием на глубинное проникновение лошади в этническую культуру древнекитайского землевладельческого населения, а прямо свидетельствует, как и во многих других древних евразийских культурах (особенно тех, которые входили в зону древнейших цивилизаций), о постоянном активном противоборстве между армиями цивилизованных аграрных государств и кочевым населением пояса пустынь, полупустынь и засушливых степей, пересекающим громадные пространства Азии и доходящим до Центральной Европы. Освоение транспортных и особенно вьючно-верховых животных в этом поясе придало населению пустынно-степных просторов особый жизненный ритм, резко отличающийся от жизненно-хозяйственного ритма населения земледельческих массивов. Заим-

ствование (и развитие практически на государственном уровне производства и широкомасштабного их применения) колесниц Китаем с Запада, обоснованное в работах В.Г. Чайльда, П.М. Кожина, Т.С. Пигготта и др., теперь получило дополнительные подтверждения благодаря урало-казахстанским колесничным находкам бронзового века. Причем наиболее примечательно в этих последних распространение прямоугольно-пластинчатых псалиев со вставными шипами, явно имитирующих металлические образцы и являющихся прообразами древнейших иньских пластинчато-трубчатых псалиев с центральным широким отверстием и шипами. Все большую достоверность обретает и концепция о западном происхождении китайского бронзолитейного искусства (особенно втульчатого литья и литья в стандартные сложно-составные формы, части которых могли соединяться для разных отливок разными способами, благодаря чему получались на основе стандартных деталей достаточно большие наборы разнообразных изделий). Однако каждую из этих проблем необходимо рассматривать в двух аспектах: освоение производственных технологий и военной техники, использующейся в сражениях с противником, который именно применением соответствующего вооружения из металла и военных агрегатов (колесниц) обеспечивал себе победоносное ведение боевых действий; включение соответствующих достижений в техническую, производственную и этническую культуру определенного населения. В отношении последнего аспекта начало использования колесниц иньской и особенно чжоуской армией не является еще прямым подтверждением их полной адаптации к культуре китайского этноса. В этом плане много более рельефное и надежное указание на этнический аспект проблемы дает обсуждение реформы У-лин вана. Причем, кроме письменных источников, к обсуждению этой реформы может быть подключен, как я полагаю, и археологический материал. В 1985 г. появилась сводная работа Ван Жэньсяна, посвященная «поясным крюкам», собственно, как считает автор, застежкам поясов весьма специфичной формы, которые хронологически распределяются от среднего этапа Чуньцю до времени Западной Цзинь (см.: [6, с. 267—312]). Не обсуждая здесь классификацию этих изделий и вопрос об их независимости от западных кочевнических прототипов (хотя согласиться с этими положениями статьи попросту невозможно), отмечу лишь, что большинство предметов — это типичные кольчанные крюки, применявшиеся воинами-кочевниками на всем пространстве евразийских степей начиная с VII—VI вв. до н.э.

Застежками поясов они служить не могли из-за значительного изгиба самой длинной пластины, завершавшейся крюком: при затягивании пояса такая «пряжка» своими острыми, резкими перегибами болезненно впивалась бы в живот воина. Назначение этих типов крюков как завершения одевавшегося через плечо и свисавшего на бедро всадника портупейного ремня, к которому крепились колчан или иное снаряжение и оружие конного кочевника, не подлежит сомнению. Другое дело, что в определенный момент изготовление этих незамысловатых изделий неожиданно усложняется: они снабжаются типичными китайскими чжаньгоскими орнаментами, инкрустацией, нефритовыми вставками, т. е. становятся престижным видом воинского снаряжения. Если это явление и нельзя связать напрямую с военной реформой У-лин вана, то с постоянными пограничными столкновениями с отрядами кочевников (китайские воины вынуждены были неизменно употреблять то же оружие, что и их противники), а также с изготовлением вооружения в царстве кочевников Чжуншань, с которым боролся тот же У-лин ван, эти явления определенно связаны.

Таким образом, для утверждения в китайской воинской культуре особых видов кочевого армейского снаряжения появляется достаточно надежный хронологический момент — вторая половина IV в. до н.э. Впрочем, это еще вовсе не означает, что кочевое снаряжение конников входит как равноправный элемент в китайскую этническую культуру. Ведь еще в конце I в. н.э. приверженность к нарядам кочевников полководца Бань Чао, защитника Западного края, близкого родственника историографа Ранней Ханьской династии — Бань Гу, автора *Цянь Хань шу*, — продолжала изумлять образованных китайцев. Еще более своеобразна история подлинных поясных застежек в виде крюка на короткой пластине, применение которых в воинском костюме зарегистрировано циньской скульптурой. Эти пряжки-крюки отличаются тем, что у них на пластине выполняется какая-нибудь горельефная, часто тематическая сцена, но совершенно аналогичные пряжки выявлены в воинском снаряжении европейского северосредиземноморского ареала. Они применяются и в снаряжении римских легионеров первых веков нашей эры (см.: [7, с. 64, 65, рис. 14]). Здесь для восточной и западной традиции совершенно очевидна общая основа в евразийской кочевой среде, вероятнее всего связанной с племенами, локализованными в степных и горных районах Средней Азии, Казахстана, Северного Афганистана, т. е. в соответствии с китайской

письменной традицией наиболее тесно связанных с расселением *юэчжэй*.

Итак, наличие стойкой ранней государственности, равномерная повышенная плотность заселения, соединение государственной идеологии с семейно-общественными установлениями утверждали в Китае единство этнической основы. Немало способствовал этому единению коллективный труд на сельскохозяйственных угодьях, обеспечивающий выживание переизбыточной популяции и вырабатывающий в характере этноса стойкие задатки национального трудолюбия. Само по себе единство этнической среды, с ее стабильным мировоззрением, единым представлением о картине мира, о законах, управляющих мирозданием, создающее неразрывную слитность «коллективов предков» с быстро сменяющимися коллективами, отмечающими последовательное течение по временной шкале «актуальной современности», в свою очередь цементировало структурообразующие основы государственного устройства. Оно включало, согласно установлениям главы *Хун фань* в *Шан шу*, восемь государственных дел: «Первое... дело — продовольствие, второе — товары, третье — жертвоприношение, четвертое — [дела...]... приказа общественных работ, пятое — [дела...]... приказа суда и наказаний, седьмое — правила приема [государственных] гостей, восьмое — военные дела» [8, с. 105—106]. Характерно, что все указанные «государственные дела» структурируются в соответствии с этнической традицией, что особенно наглядно подчеркивает развитие тех же положений в «Священном эдикте» цинского императора Канси (1671 г.) и в комментарии к нему императора Юн Чжэна (1724 г.).

Примечания

1. См. разделы, написанные М. В. Крюковым, в монографии: Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы : проблемы этногенеза. М., 1978.

2. Мердок Дж. П. Социальная структура. М., 2003.

3. Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М., 1978 ; Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. М., 1976.

4. Переломов Л. С. Конфуций // Лунь юй. М., 1998.

5. Сыма Цянь. Исторические записки : Шицзи / пер. с кит., предисл. и коммент. Р. В. Вяткина. М., 1992. Т. VI.

6. Ван Жэньсян. Обзор коллекции поясных крюков // Каогу сюэбао. 1985. Вып. 3.
7. Новиченкова Н. Г. Римское военное снаряжение из святилища у перевала Гурзуфское седло // Вестник древней истории. 1998. № 2.
8. Древнекитайская философия. М., 1972. Т. I.

§ 2. Становление древнекитайской государственности

Картина сложения, формирования и утверждения древнекитайской государственности в исторических нарративных памятниках представляется простой и ясной. Ее создал Сыма Цянь, широко привлекая цитаты из *Шуцзина* и интерпретацию сообщаемых в нем данных. Итак, от примитивной простоты материальной культуры, межличностных отношений и социального порядка, от мелочной борьбы кланов — к созданию единой централизованной иерархической властной структуры; от отдельных, пусть и родственных, верховных правителей к династической власти, где правителя чаще всего сменяет сын, а когда наследование переходит в другие родственные категории, начинается упадок и даже смута; от добродетельных царей, создающих династии, часто через серии бесцветных, незаметных потомков, к ярким преступникам, которых карает Небо, как это случилось с последним иньским правителем Чжоу Синем, — вот путь утверждения централизованной государственной власти в Древнем Китае.

Сходную картину, впрочем, с указаниями на значение познавательного, изобретательского опыта в прогрессивном развитии человеческой культуры и социальных отношений, создал Лукреций. При этом он, возможно, основательней, чем древнекитайские авторы, оттеняет роль богов и приписываемых им людьми карательно-распорядительных функций. Эволюционизм нового времени зиждется на достаточно жестких классификационных основах, оформившихся в рамках естественно-исторических наук и распространенных на социально-исторические характеристики эволюции, порою почти механически. Если следовать биологической терминологии, то в оформлении классификационных ступенчато-эволюционных схем филогенетический подход превалировал по отношению к онтогенетическому, что к тому же, еще со времени перехода к построениям научно-утопических моделей общественно-политического устройства будущего, осложнялось «ретроспективной псевдотелеологией», т. е. узконаправленным

моделированием картины исторического развития, которая с «неизбежностью» приведет к запрограммированным той или иной политико-философской школой позитивным формам социального устройства. Такая установка, ориентированная на возделенную цель, резко снижала качественные требования к практической аналитической работе по реконструкции вероятных и возможных форм социальных, культурно-хозяйственных, экономических и даже духовно-психологических реалий прошлого (достаточно напомнить яростную подгонку всех классификаций, а порою и фактических данных под стадиальную систему сменяющих друг друга «социально-экономических формаций», действовавших будто бы повсеместно с силой и неотвратимостью рока). Причины перехода от биологической группировки людей к социальным коллективам чаще всего были умозрительны и не очевидны, к тому же априори признавались повсеместно однозначными. То же касается теорий происхождения государства как института. **Как конкретно мог происходить и какими побудительными мотивами мог быть вызван** переход к государственным образованиям в доисторическом и раннеисторическом прошлом — эти проблемы остаются минимально аргументированными, несмотря на поразительное изобилие литературы по проблемам происхождения Государства и массу базовых теорий по этой проблеме.

Наибольшей популярностью и плодотворностью выделялись и поныне сохраняют свое преимущественное значение различные разработки проблемы, основанные на этнологических данных и выводах. Основу их составляют представления, что во внеевропейских (и, отчасти, даже европейских) культурах сохранены в разной степени пережитки прежних уровней сознания, структур социальных и политических организаций, хозяйственных и экономических уровней, которые при правильной классификационной расстановке на единой хронологической шкале могут представить картину длительного поэтапного развития человечества и всех форм его культуры, в том числе и сменяющихся социально-экономических формаций и процессов становления государственности от первых ее шагов до высших современных национально-государственных демократических установлений евро-американского типа. Собственно, аналогичные выводы о возможности прослеживания эволюции на этнографических материалах всего пространства ойкумены в глобальном синхронном срезе делались в отношении систем родства, религий, духовной культуры в целом, хозяйственно-экономической жизни и т. д. [1]. Однако накопление практического опыта реконструкций эволю-

ции социально-политических государственных структур вызывает необходимость в установлении ряда ограничений, связанных с возможностью использования этнологических аналогий, и, соответственно, с их практической эффективностью, для реконструкции реального процесса сложения ранней государственности, и тем более открытия древнейших способов перехода от биологической группы к социальному человеческому коллективу. Эти явления, в силу своей неповторимости, как и создание систематического, переходящего от поколения к поколению первоязыка, не имеют аналогий в современных этнокультурных ситуациях и могут быть реконструированы чисто умозрительно, теоретически. Другое ограничение проистекает непосредственно из самого этнологического материала, когда **инструменты власти**, такие, как организационно-коммуникационные мероприятия, подобные организации системы дарений, идущих от высших уровней иерархии к низшим, или получение дани от низших слоев, — принимаются за составляющие, которыми обусловлено само возникновение государственной власти. Устрашение; захват и охрана территории и селений; право силы; сама иерархия биологической родственной группы (и, тем более, усложненные ее формы, такие, как советы старейшин, вождей) — это опять же проявления **самореализации действующей уже власти**, а не стимул, причина к ее возникновению. Преимущественные **харизматические** (термин «харизма», выведенный М. Вебером из рамок христианской теологии, стал ныне крайне модным в политических науках, где упор в его осмыслении делается на особых личностных, привлекательных для общества качествах лидирующей или успешно стремящейся к лидерству персоны, тогда как в первоначальном смысле понятия преобладает представление об особом покровительстве высших, внегуманных сил) качества одного из лидеров противоборствующих общественных групп не могли оказывать столь долговременное воздействие на популяцию, чтобы стать реальной причиной для первоначального утверждения **принципа** государственной власти. Однако, как отмечал еще Фюстель де Куланж: «Политические учреждения гражданской общины появились на свет вместе с нею и в один и тот же день; каждый член общины носил их в себе, потому что они находились в зародыше в веровании и в религии каждого человека» [2, с. 159]. Добавлю, эти установления сразу стали устойчивы. Сам термин «гражданская община» — определенно не адекватен терминологии автора, но более важно указание на всеобъемлющее значение «веры» и «религии» как объединяющей силы. Эти духовные проявления

были единственной жизнеутверждающей основой первоначального государственного порядка (рационалистическое разделение веры и разума, религии и науки — это поправки последующих веков: духовная жизнь, да и все формы социальной жизни были замкнуты на вере, перекрывались ею, полностью растворялись в созданных на ее основе представлениях о едином миропорядке и соответствующей ему картине мира). Безоговорочное доверие к высшим силам, обеспечивающим удачу, успех, благоденствие, поставило перед человеческим коллективом задачу поиска наиболее адекватных способов понимания указаний этих высших надчеловеческих «предписаний» (в Китае, где эти силы были персонифицированы в «субъекте» Неба, такие указания получили в итоге, видимо, длительных поисков соответствующей формулировки определения «*тянь мин (лин)*» (ср.: [3, с. 219—222]). Оракулы; гадания, в том числе на костях животных и роговых пластинах; трактовка указаний Неба по движениям светил и других небесных тел; стихийные бедствия и благодатные состояния природы — все это становилось выражением воли Неба. Опыт наблюдений и их трактовок, который, кроме особых небесных знаков-указаний, важен был и как размеряющая система хозяйственно-бытового цикла, распространялся на все области человеческой жизни. Повседневность, привычность процедур придавала им стандартный, нормативный характер, соответствующий самой сиюминутности актуальных жизненных забот. Чрезвычайные ситуации, грозные предчувствия, неожиданности, неизбежно возникавшие перед коллективом, могли требовать каких-то особых индивидуальных трактовок небесных указаний, а это вызывало необходимость выделения среди знатоков небесной воли личностей, способных более близко, более непосредственно общаться с высшими силами. В западных культурах эта функция принадлежала пророкам, изначально наделенным «царственным» полномочиями и беспрекословным доверием близких сородичей (успех пророчеств, признание в пророках истинных медиаторов между миром людей и высшими силами вовлекали в сферу действия их дара не только родственные коллективы, соседствующие с «кланом» пророка, но и просто ареально близкие группы. Не всегда это могло происходить исключительно мирно, но и здесь многое зависело от силы внушения личности). Вовлечение человеческих групп в орбиту отношений, цементируемых и «освящаемых» оракулом, пророком, усиливалось еще и за счет того, что со времен становления производящего хозяйства (в неолите) непрерывный рост популяции вызывал необходимость все более частого отселе-

ния из первоначальных поселков определенных групп и семей. Появление новой связующей духовной силы утверждало систему коммуникаций между «колониями» и «метрополией». Это утверждало и укрепляло рамки «сакральной» территории. Пользуясь духовной защитой сакрального центра, жители периферии включались в его физическую защиту от внешних врагов. Это было предпосылкой для формирования регулярной армии, где либо первосвященник (пророк, распорядитель оракула) становился вождем, либо благословлял на этот пост свое доверенное лицо, закладывая тем самым основы дуализма власти: светской и духовной (религиозной). Иньский и Чжоуский Китай этого дуализма, видимо, не придерживался.

Судя по инвентарю могил *ванов* (как и древнейших месопотамских правителей) первоначально все богатства общины являлись их единоличной собственностью (все то, что касалось их сакральной деятельности, метилось личными знаками *вана*). Передавая их частично в руки подданных, младших управителей *ван* сакрализовал их должностные обязанности и права. Уходя в иной мир, но оставаясь при этом медиатором (особого рода) между коллективом и Небом, *ван* забирал всю индивидуализированную роскошь с собой в могилу. Его преемник в «начальный год» правления (*юань нянь*) заново утверждал и сакрализовал, посредством института индивидуальных личных пожалований, всю иерархическую лестницу управления. Многие прояснил свод надписей на бронзовой чжоуской утвари, переведенный В.М. Крюковым. В нем представлены данные о начальном периоде распада этой системы.

Здесь требует уточнения само понятие «дара» и его роли в политических взаимоотношениях. Ресипрочность, равноценное отдаривание, — это лишь одна из возможных форм отношений. Основным же, по-видимому, был и остается дар, неравноценный отдариванию, приношение за получение определенных прав, определенной частицы силы, которой обладало высшее существо, тот же пророк, «делегировавший» части своего могущества лицам, признававшим его приоритет, что последними и «оплачивалось». Это не были торгово-обменные акции, как можно было подумать, исходя из трактовки В.М. Крюкова, а соглашения, «одобренные» высшими силами, в свою очередь состоящими с правителем-пророком в определенной ресипрочной связи. Здесь постоянно требуется вносить поправку, связанную с различиями в ориентации сознания наших современников, часто атеистов и людей «малой веры», и древних земледельцев, не

утративших еще наивной чистоты веры. Каждый древний памятник культуры буквально каждым своим положением (возьмите Библию, Ригведу, Коран, *Лунь юй*, *Шицзин* и сомнений в подобном подходе не возникнет) утверждает определенный устойчивый круг **незыблемых положений веры**.

Итак, речь должна идти о первоначальной внеэкономической, внеполитической природе власти. В ней очень силен **внеличностный элемент**. Личность — это всего лишь медиатор между высшими силами и миром живого коллектива. По существу, важны лишь те указания, которые получены свыше: они фиксируются в памяти, а затем систематизируются последующими медиаторами и их ближайшим окружением. Технические же средства, инструментальное оформление пророчеств-гаданий, которые именно данной выдающейся личности обеспечивали надежную связь с высшими силами (жертвенная утварь, определенный антураж храмов-святилищ), «отправляются» первоначально в загробный мир вместе с их владельцем. Поэтому каждый последующий «пророк-распорядитель» был озабочен необходимостью создания своего собственного инструментария, а через соответствующие раздачи его части доверенным лицам (*чжухоу*, *байсинам* и т. д.) — установлением с ними личных ритуальных контактов.

Если принять, наконец, представление о внутреннем единстве ранней духовной культуры, отсутствии в ней разделения на религиозную и рациональную области, то снимается противоречие между «даром» — этим весьма искусственным этнологическим феноменом, построенном на наблюдениях, часто произвольно вырванных из систематических контекстов обособленных этнических культур, переживающих к тому же период регрессивных изменений (я нисколько не пытаюсь преуменьшить значение выводов М. Мосса, Ян Ляншена, М.В. и В.М. Крюковых и всех тех, кто вместе с ними или независимо пошел по пути Дж. Фрэзера, основавшего свой метод на логической расшифровке определенного духовного явления с помощью привлечения — в качестве обоснования каждой из ступеней такой расшифровки — наборов определенных независимых признаков) — и «инвеститурными пожалованиями». Оба эти феномена равноценны, взаимозаменяемы (а то и вовсе неразличимы), если исходить из того, что они всего лишь акции медиатора (*вана*, *гуна* и т. д.), устанавливающего, а после смерти предшественника восстанавливающего прямую связь (последовательность коммуникаций) между верховным божеством и той иерархизованной генерацией смертных,

которая с доверием и священным трепетом готова следовать указаниям высшей силы — Неба.

Маловероятно, что сам момент перехода к государственно-политическому устройству удастся и в будущем проследить на конкретных материальных свидетельствах (конечно, их накопление будет способствовать увеличению надежности умозрительных интерпретаций). Тем более, что в пределах регионального культурно-цивилизированного пространства (возможно, даже в пределах целых материков), как и для большинства человеческих открытий (добыча огня, изготовление керамики, выплавка металла, правильно артикулированная речь, способы ее графической/идеографической, а затем фонетической передачи), само по себе первооткрытие связывается с «эффектом головоломки» — однажды полученное знание, разгадка уже не теряется в последующее время, если сохраняется, даже частично, преемственность культуры, духовных знаний. Крупные культуuroобразующие открытия не совершаются повторно, а при их внедрении в среду, где ранее они были неизвестны, даже при всей внешней видимой самостоятельности вновь предпринимаемого опыта, воздействие первооткрытия, первоопыта остается действенным фактором. Это делает ситуацию первоначального открытия **уникальной, неповторимой**. Возвратиться к уровню **незнания** определенных явлений не только невозможно в обыденных обстоятельствах, но и малоперспективно даже в умозрительных исследовательских процедурах.

Теперь о тех материальных признаках, которые образуют набор взаимосвязанных составляющих, отражающих этап становления **единоличной** государственной власти (не анализируя здесь эту проблему, но как постулат я принимаю положение о том, что первоначальная политическая власть была неизбежно единоличной. Такой подход правомерен, обоснован значительной историографией, соответствует всей системе предшествующих соображений). Центр сосредоточения власти — город, являющийся священной землей, где высший земной слуга божества, или ряда родственных божеств, общается с ними, обращая их волю и могущество на благо своему коллективу. В свою очередь этот коллектив поставлял своему верховному владыке, вместе с соответствующими натуральными даяниями, необходимое ему количество слуг, которые обеспечивали в соответствии с иерархическим порядком, утверждаемым между ними и правителем, все потребности храма, оракула, святилища, образуя компактный, замкнутый в пределах специально обозначенных священных границ симби-

оз. Практически, в нем должны были быть представлены четыре группировки: разные категории священнослужителей, воинов, слуг и ремесленников (функциональные эти категории могли быть и размыты. Обязанности первых трех категорий могли взаимно пересекаться. Занятия же ремесленников более жестко выделялись, благодаря творческим способностям, технической квалификации и необходимому опыту). Наличие стандартного вооружения, разнообразной высокохудожественной продукции — это один из важных диагностических признаков древнейшей государственности. Столь же существенным оказывается появление в значительных количествах изделий из неместного сырья или «чужеземной» выделки, стандартных сооружений, включая могилы правителей, монументальных, сложных по исполнению художественных изделий, а в самом художественном творчестве — широкое использование «социальной перспективы», когда изображения лиц разных рангов, начиная от богов и правителей до пленников и сраженных врагов, выполняются в разных масштабах. В целом производственная деятельность в древнейших государственных центрах обретает ремесленную виртуозность, производства консолидируются: мастера явно разных профессий широко обмениваются опытом. Большинство изделий, представленных большими сериями и выполненными разными поколениями мастеров, характеризуется функциональными, техническими и художественными единопавленными изменениями, наиболее полно выражающими проявления «генетической типологии», т. е. внутреннего технико-культурного развития традиционного производства, совершенствования его за счет непрерывного накопления сберегаемого, запоминаемого и творчески перерабатываемого опыта. Хотя в художественно-ремесленной продукции инь-чжоуских эпох слабо представлены изображения людей, анималистическая пластика, рельеф, графика развиваются бурно и непрерывно. Изменения, происходящие в этих сферах изобразительного искусства, очевидно, отражают не только смену технологий, приход новых поколений мастеров, но и смену правящих владык. Атрибуция сменяющихся друг друга анималистических комплексов и стилей, движущихся в сторону все усиливающейся символичности, абстрактности и орнаментальной стилизации, в хронологических рамках правлений определенных *ванов*, может резко повысить информативность и историческую значимость той эпиграфической летописи, которая начинает выявляться по подписям на чжоуских ритуальных бронзах, благодаря исследованиям, предпринятым В.М. Крюковым.

Первоначальное государственное устройство предстает в политических формах, наиболее близких классическим **деспотиям**. К. Виттфогель [4] выводил этот вид государства из самой сути «гидравлической цивилизации». Однако процесс формирования деспотий — явление полифакторное, но, возможно, само их возникновение обеспечило сложение многообразных ранних «гидравлических цивилизаций».

Примечания

1. Тэйлор Э. Первобытная культура. М., 1939 ; Летурно Ш. Социология по данным этнографии. М., 2007 ; Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1928. Вып. I—IV.

2. Фюстель-де-Куланж Н.-Д. Древняя гражданская община. М., 1895 ; Грубе В. Духовная культура Китая : Прошлое Китая. М., 2003. С. 103—213.

3. Крюков В. М. Ритуальная коммуникация в Древнем Китае. М., 1997 ; Крил Х. Г. Становление государственной власти в Китае : Империя Западная Чжоу. СПб., 2001 ; Legge J. The Chinese Classics... Shoo king. Hongkong, 1865. Vol. 3. P. I—II.

4. Wittfogel K. Oriental Despotism : A Comparative Study of Total Power. New Haven, 1957.

Глава 5

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Вопрос о начале военной организации на территории Китая пока остается достаточно слабо разрешимым. В неолитическую эпоху памятники на территории собственно Китая, с одной стороны не имеют специальных оборонительных сооружений, а с другой — в могильниках неолитических культур практически не обнаруживаются показатели иерархической организации общества. Эти могильники оставлены населением сельских поселков, в них захоронены члены земледельческих общин, среди которых ни по каким признакам не выделяется группы лиц, целенаправленно занятых военным делом. Яркие признаки военной организации и военных действий на территории страны появляются с первых же шагов распространения металла в памятниках эпохи бронзы. Здесь как бы в концентрированном виде является сразу все: и укрепленные городища, обрамленные валами и рвами, и иерархическое деление населения, выражающееся в огромном разнообразии разновидностей захоронений, в выделении среди богатых захоронений групп могил, в которых представлено большое число военного снаряжения и оружия. Такой неожиданный скачок в социальной активности вряд ли был результатом непрерывного местного развития популяции. Здесь явно имели место какие-то миграционные процессы, резко повлиявшие на организационно-социальную структуру местного населения.

Первые археологические прямые свидетельства находок предметов вооружения могут быть без сомнений датированы шан-иньским временем. В состав погребальных комплексов этой эпохи помимо значительного количества ритуальных предметов стали входить бронзовые топоры, клевцы, копья, наконечники стрел, ножи и кинжалы. Кроме того, с этого же времени в моги-

лах появляются останки захоронений боевых колесниц. В климатических условиях Китая в основном удается проследить не только металлические детали и украшения этих боевых средств, но и некоторые части их деревянных конструкций.

Особый интерес среди предметов вооружения с точки зрения типологической, т. е. в принципе относительно хронологической схемы культуры, имеют две разновидности оружия. Это топоры и клевцы. Причем можно полагать, что первоначально оба эти вида вооружения составляли одну категорию. Весьма частой находкой является проушной топор с кинжаловидным лезвием, заканчивающийся треугольным сужением и обухом, представляющим собою профиль птичьей головы с острым клювом, выполненный в высоком двухстороннем рельефе. Сам по себе проух имеет обычно очертания удлинненного овального отверстия. Однако существует и параллельная форма клевца-топора, не имеющая проуха. Этот проух заменен прямой пластиной, ограниченной спереди и сзади вертикальными выступами, причем особенно крупные выступы с двух сторон являются в передней части со стороны лезвия. Эта последняя форма со временем выходит из употребления, заменяясь характерным клевцом, представляющим собой пластину, имитирующую форму топора, не имеющего проуха, но со слегка упрощенным рельефом, особенно — в части обуха. Но эта пластина имеет в середине, там, где прежде прикреплялось древко, длинный выступ, идущий вниз. Этот выступ, судя по имеющимся данным, вставлялся в расщеп длинного деревянного древка и закреплялся в нем. Для большей прочности скрепления в выступе начинали проделывать отверстия — в начале одно, потом — два, три, четыре. Через них продевалась веревочная или сухожильная обмотка, укрепляющая связь клевца с рукоятью. Клевцы с большим количеством отверстий остаются на вооружении китайской армии вплоть до ханьской эпохи. Собственно, это одна их основных, ведущих форм оружия как пехотинцев, так и колесничных бойцов. На гравировках по бронзе, изображающих колесничный бой, представлены способы использования этого оружия.

Сами по себе предметы вооружения могут многое объяснить в отношении техники ведения боевых действий и способов употребления оружия. Обращает на себя внимание тот факт, что в китайских материалах в небольшом количестве представлены наколенники стрел. Это свидетельствует, что лучники здесь не стали основной боевой силой, а главную роль играл, как это выясняется, в частности, из описания в *Шуцзине* знаменитой битвы между иньскими и чжоускими войсками в Муе, строй пехоты, воору-

женный либо пиками, либо клевцами. Вопрос об использовании колесниц в связи с данными о битве при Муе не возникал. Это не значит, что колесницы не участвовали в общем строю, но, можно подозревать, что их роль была в то время второстепенной. Хотя в дальнейшем, в чжоускую эпоху, колесница становится не только важным структурообразующим элементом армейской организации, но и с эпохи Чуньцю начинает определять иерархическую роль владений в общей структуре послечжоуского времени. Количество колесниц от тысячи и более указывает на достоинства и возможности того или иного царства, входившего в чжоускую конфедерацию. (Вопрос о характере взаимоотношений царств в период Чуньцю—Чжаньго по-прежнему остается очень сложной и нерешенной историко-культурной и политической проблемой. Но увеличивающиеся в объеме нарративные тексты, характеризующие в основном время Чжаньго, казалось бы, указывают на постепенное возрастание самостоятельности отдельных царств и увеличение значения царств-гегемонов при одновременном падении политического престижа Чжоуского домена, который остается эталоном лишь в ритуальной, административной и политической жизни самоутвердившихся обособленных древнекитайских «царств».) Насколько велика была роль военного снаряжения в государственной культуре и административной жизни, можно судить хотя бы по трактату «*Каогунцизи*», заменившему в «*Чжоули*» шестую, утраченную главу. Этот трактат, далеко уже не полный и с массой текстовых лакун и не понятных уже в древности мест, изначально являлся важным государственным административным документом, так как был посвящен проверке качества всех форм ритуального, военного и административного снаряжения, применявшегося, по всей видимости, в конце Чуньцю и на протяжении эпохи Чжаньго. Собственно, этот документ — древнейшее свидетельство стандартизации определенных видов орудий, оружия, снаряжения, изготовлявшихся в государственных мастерских и использовавшихся правителями соответствующих локальных царств. При этом, естественно, что наибольшей унификации подверглись именно предметы вооружения в силу того, что в контактных сражениях пехоты при незначительной роли дистанционных атак лучников и копейщиков обе воюющие стороны обычно применяли равноценные виды вооружения и, соответственно, пользовались одинаковыми приемами использования этого вооружения, которым обучали бродячие рыцари, неоднократно описанные Сыма Цянем. (Институт бродячего рыцарства очень сложное и многослойное явление в периоды Чуньцю и особенно

Чжаньго. Чем то он напоминает средневековых ландскнехтов, но следует добавить, что сохранные сведения о китайских специалистах по военному искусству указывают, что это были не просто учителя по фехтовальной и прочим боевым техникам, а все те же чиновники различных ведомств, потерявшие должности и ставшие попеременно в зависимости от того, в какую обстановку они попадали, и учителями военного искусства, и первыми профессиональными философами страны.)

В ходе истории в течение всего чжоуского времени структура армии, ее подразделения, формы начальствования, видимо, неоднократно менялись. Особенно большие перемены начались тогда, когда на территории Китая появилось более десятка достаточно мощных и самостоятельных в большинстве своих политических акций царств. Сравнительно подробные данные о их взаимоотношениях и, особенно, о формах военных конфликтов сохранены в летописи «Цзочжуань». Общим структурным моментом в организации армии являлось подразделение ее на отдельные части, хотя вопрос для нас остается, были ли эти части организованы по территориальному признаку. То есть, скажем, каждый *бан* поставлял определенное военное подразделение, во главе которого мог стоять *чжухоу*, в связи с этим своим военным положением переходящий в разряд государственных чиновников *лехоу*. Армейский строй при переходах, маршах представлял собою достаточно мощную колонну, двигавшуюся сомкнуто, но разделенную по соединениям и подразделениям. Большинство комментаторов, трудами которых пользовался академик Н.И. Конрад, говорят о том, что основой войска являлось колесничное подразделение, когда каждой легкой колеснице, предназначенной для 3 бойцов, придавался пеший отряд в 72 человека [1]. Именно из таких подразделений и набиралось войско, осуществляющее боевые действия. Помимо этих войсковых частей имелись еще обозные части, состоявшие из тяжелых повозок (Н.И. Конрад называет их также колесницами), насчитывающие в каждом своем подразделении до сотни человек армейского обслуживающего персонала.

Построение в боевом строю практически не может быть изучено из-за отсутствия прямых данных. Походная же колонна, прежде всего, представлена в погребальном храме гробницы Цинь Шихуана и в ряде ханьских гробниц воинов. Размещение колесниц в боевом строю также не может быть определено — данных нет. Несомненно, что основной упор делался на протяженные шеренги пехотинцев, вооружение которых состояло из пик-клевцов, боевых топоров на короткой ручке и как минимум

с середины V в. до н.э. также и длинных мечей. В евразийских степях появление длинного меча связано с переходом к использованию регулярной конницы. Действительно, трудно представить себе подразделения пехоты, марширующие с привешенными к поясу мечами, едва не достигающими земли [2]. Колесничные бойцы, помимо каких-то разновидностей пик, снабжались луками с небольшим количеством стрел. Вообще, значение стрелкового оружия в боевом строю, опять же для нас не вполне ясно, в частности, не известно, в каких подразделениях употреблялись арбалеты, сравнительно многочисленные находки которых сейчас известны в памятниках, начиная как минимум с VI в. до н.э. Это боевое оружие, по всей видимости, было престижным, что подтверждается тем, что все известные его экземпляры и их части обычно украшены чеканкой из золотой проволоки. Впрочем, применение золотой орнаментации к металлическим изделиям это, по всей видимости, мода, охватывающая большие территории евразийского степного и пустынного пространства в VII—VI вв. до н.э.

Характер известных нам военных действий был довольно разнообразен. Здесь и отдаленные военные походы, и крупные боевые столкновения, и осады крепостей в разных частях Китая, причем за ранний исторический период, в который можно включить всю эпоху чжоуских царствований, военные действия приводили полководцев неоднократно в одни и те же точки территории, что, в конце концов, способствовало развитию военного теоретического мышления, когда некоторые константы ведущихся военных действий задавались на определенной местности достаточно жестко, благодаря тому, что в этой же местности неоднократно происходили предшествующие битвы. Собственно, такой путь выработки военной стратегии и тактики существует во всем ее формировании до сегодняшних дней. На подобных тактико-стратегических основаниях проводились бои на территории Маньчжурии в русско-японской войне 1904—1905 гг. Такое же теоретическое обеспечение военных действий сопровождало на территории Европы и обе мировые войны. Китайцы здесь оказались первыми, кто сумел внятно начать описывать теоретические ситуации, возможные пути их развития и те стратагеми, которые на этом основании можно было строить. В средневековом Китае сложилось достаточно жесткая литературная традиция, связанная с войной, военными действиями, организацией армии, обоснованием военной политики, учитывающая очень многие практические моменты, до которых европейские военные теоретики

смогли дойти в своих описаниях лишь с началом Нового времени (раньше каждый полководец, военачальник, видимо, хранил весь свой боевой опыт в уме. Римская военная практика такой подробной разработки, какая имелаась в Китае, никогда не получала).

Военный канон, если можно так выразиться по отношению к китайской военной литературе, состоял из семи военных трактатов, определенно не одновременных и не равноценных по своему значению. Наибольшую теоретическую значимость получил два текста, относящиеся к концу эпохи Чуньцю. Это сочинение, приписываемое стратегу Сунь У (рубеж VI—V вв. до н.э.) и полководцу У Ци (трактат «У-цзы»). Видимо, эти сочинения были близки по времени и положили начало канону. Во всяком случае, в «Сунь-цзы» не проявляется доминирующая роль пятеричных структур, что свидетельствует о его сложности, или сложности первоначальных его глав и частей в доконфуциеву эпоху. «Сунь-цзы», как и «Шуцзин», часто прибегает к использованию девятиричного счета, более раннего по отношению к пятиричному.

В указанных ранних трактатах рассматриваются проблемы соотношения войны и политики, определяются требования к военному искусству и дается масса разнообразных структурированных объяснений, касающихся как ведения войны, так и средств, позволяющих ее избежать. Пожалуй, первое правило, которое подсказывает «Сунь-цзы», это то, что война всегда связана с хитростью. Н.И. Конрад здесь выбирает слово «обман», но рассматривая семантическое поле термина, не может не отметить того значения, которое здесь придается понятию «хитрость». Итак, война базируется на хитрости, на постоянном учете взаимных политических, экономических и идейных возможностей, которые лежат в основе ведения любых форм военных действий. «Сунь-цзы» исследует вопрос о военных возможностях, военной мощи и силе, которые должен учитывать государь, а затем — и полководец, готовясь к войне, вступая в нее и ведя ее. Не меньшее значение, чем использование хитрости, придается в трактате географическому фактору, тем природным условиям, в которых осуществлялись военные действия. Но, конечно, если смотреть на трактат «Сунь-цзы» шире, не как на чисто военный документ, а как на документ политический, то самое основное, что предлагает «Сунь-цзы» — это выбор способов, с помощью которых можно одержать победу, не ведя открытых прямых военных действий. Этот подход приобретает в наши дни все большее значение, прежде всего потому, что оружие массового уничтожения становится чрезмерно мощным и любая развязанная и ведущаяся война не

просто сказывается на популяции, а может вызвать даже полное уничтожение этой популяции. Такая ситуация в конце эпохи Чуньцю была и невозможна, и не предвиделась даже. Но в том, как глубоко и разносторонне она была продумана, сказывается не только гуманизм древнего философа и военного деятеля, но и его политическая мудрость, подсказанная очень глубоким, практическим исследованием своего предмета. Самое главное, что можно вынести из изучения трактата «*Сунь-цзы*», это то, что полководец и самодержец, ввязывающийся в войну, должен прежде всего продумать вопрос, как не истощить в войне силы своего государства и как добиться возможно более серьезного истощения сил противника. Фактически этот военный трактат приближается по своему значению к двум близким по времени документам: это «*Шанцзюньшу*», произведение глубоко уважаемое Мао Цзэдуном, и политико-экономический трактат «*Сюнь-цзы*».

Из подробного знакомства с военной литературой Древнего Китая можно вывести заключение, что задолго до стратегов Нового времени китайские профессионалы пришли к выводу о том, что война — это часть политики и что политический фактор в войне доминирует над чисто военными. Тут, правда, необходимо учитывать особое положение Китая, вернее китайской государственности на фоне того территориального пространства, в котором она могла доминировать и оперировала. Все документы, касающиеся теории военных действий, связаны с политическими взаимоотношениями государственных образований, находящихся в состоянии длительных и регулярных контактов. У китайцев не было разработанной стратегии, касающейся форм ведения войны с окружающими Китай кочевыми племенами. Такую военно-политическую стратегию сформулировал для вождей сюнну китайский перебежчик внуч Чжунхан Юэ в раннеханьскую эпоху. Можно подозревать, что в основу ее положены разработки, делавшиеся при ханьском дворе, а у сюнну они были просто тиражированы, причем в целях, противоположных китайской политике. Кратко эта политика по отношению к варварам состояла в том, чтобы приобщить их верхушку к китайскому образу жизни. Возбудить в ней глубокий интерес к китайским товарам, добиться того, чтобы эти товары, поставляемые из Китая, приобретали в сюннуском обществе особую ценность и значение. Насколько такого рода политика могла быть реализована, можно наблюдать на многочисленных исторических примерах китайской борьбы с варварами. Впрочем, в условиях нашей актуальной современности это явление становится типичной формой взаим-

ной борьбы промышленных, торговых, финансовых интернациональных корпораций. Но и в Средние века эти задачи неоднократно реализовывались сравнительно успешно, хотя часто и в ущерб собственно ханским правящим кругам и династиям. Это имело место в отношении к государству чжурчженей, империи киданей, северному государству Цзинь и целому ряду других разновременных политических феноменов.

Примечания

1. Конрад Н. И. Сунь-цзы : трактат о военном искусстве. М. ; Л., 1950 ; Его же. У-цзы : трактат о военном искусстве. М., 1958.
2. Trousdale W. The Long Sword and Scabbard Slyde in Asia // Smithsonian Contribution to Anthropology. Washington, 1975. № 17.

Часть II

ФОРМИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ОСНОВ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ

Глава 1

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ

Ни в какой другой области материальной культуры специалист не приближается столь непосредственно к реальным духовным истокам и особенностям изучаемой древней культуры, как при исследовании древней письменности и разнообразных видов художественного творчества. Изучение письменности связывается сразу с несколькими основными областями постижения духовного мира прошлого. Собственно с теми областями, которые изначально у данной, определенной этнокультурной и цивилизационной среды, оказывались вовлечены в самый процесс создания письменности, в ее освоение, так как любая форма письменности требует определенного круга лиц, способных воспринимать, транслировать и создавать информационное поле письменного языка. Сразу же приходится различать в самом процессе создания письменности воздействие на него таких культурных составляющих, как искусство, социальная психология, различные стороны языковой ткани, включая сюда грамматику, семантику, синтаксис, и более непосредственно — временные формы глаголов, залоговые формы, способы развития логических структур в языковом оформлении. Возможность включать в языковую ткань представления о времени, пространстве, о на-

стоящем и будущем. Наконец, перед создателями письменности встает вопрос о том, насколько и в какой форме письменность должна и может отражать звуковые формы языка и различного рода его ритмические и тональные особенности. Скажем, первоначально в иероглифике вопрос о звучащих знаках мог даже и не стоять, в силу специфики той тематики, которая освещалась, распространялась, репродуцировалась письменным языком; тематика была узкой, связанной с мантикой и достаточно основательно разработанной для нее терминологией, и потому письменные знаки, употребляемые для этой тематики, тогда когда они не означали непосредственно те или иные предметы, передаваемые существительными, могли быть идеально символичны. Лишь расширение сферы употребления письменного языка, выход его из сакрального пространства культуры в профанное, происходивший обычно в древних коллективах благодаря разработке нормативов и законов, касающихся больших общественных и общественно-политических групп, когда закон становился духовным достоянием каждого из полноправных членов коллектива, создавало необходимость в уточнении языковой фонетики, применительно к письменному языку. Такой закон, который обязательно приписывался высшим божествам, как создателям мира, человека, общества, культуры (см.: Сыма Цянь, гл. 1), должен был быть общепонятен и общедоступен, т. е. существовала постоянная взаимосвязь между письменной фиксацией той или иной нормы и ее гарантированным действием в пределах социума. Естественно, что первоначальные тексты подразумевали передачу исключительно смыслового содержания сообщений, не отвлекая получателя информации от его сути, что характерно для материалов всей эпохи, связанной с системой регулярных государственных гаданий. Уже первые опыты обширных текстов, выполненных на бронзовых ритуальных сосудах, показывают определенные проявления эмоциональности и передачи ее на письме. Это находит выражение в благопожеланиях, обращенных к предкам и иерархам. Уже в *Шуцзине* эта эмоциональная составляющая текстов становится важным их элементом. И приходится говорить о том, насколько эмоциональная сторона выявляется в текстах *Шицзина*, где в ряде случаев, в определенном круге песен, она становится даже доминирующей.

В отношении китайской письменности существуют альтернативные подходы к трактовке ее происхождения. Самый простой и естественный с точки зрения аборигенно-этнической культуры подход заключается в том, что письменность была разработана в

пределах и рамках неолитических коллективов, населявших, с одной стороны, Южный Китай, где письменные знаки и даже целые небольшие записи находят в памятниках неолитических культур. И с другой — Северный Китай, где на неолитической глиняной посуде исследователи обнаружили уже несколько десятков специфических символических знаков, в которых они хотят видеть первые проявления письменного языка. С такой символической знаковой системой, как основы письменности, в теоретическом плане исследователи начали работать еще в далеком XIX в. Однако сразу приходится указать на то, что сам по себе набор символов, так или иначе графически, или даже скульптурно обозначенных, вовсе не ведет к созданию письменности. Создание письменности — это во всех случаях процесс, обусловленный необходимостью для определенного коллектива иметь постоянно в своем распоряжении гарантированное мнемоническое средство, обеспечивающее как сохранение точного смысла того или иного речевого сообщения, так и передачу его в дистанционных и темпоральных пределах, позволяющее в знаково-позиционной системе, разработанной данным обществом, сохранять смысловое содержание и его оформление неизменным и общепонятным для лиц, приобщенных к графическому языку. В некотором роде, запись определенного смыслового текста становится гарантией его достоверности, истинности и убедительности. Эти свойства записи особенно важны, когда передача текста, его «расшифровка», происходит без непосредственного контакта между передающей и воспринимающей средой. Появление таких возможностей дистанционной информации сразу же с определенностью указывает на наличие, помимо информационного пространства для данной письменной системы, еще и обязательного института, в котором проводится систематическое обучение письменному языку. Такая **школа** определяет формы записи знаков, способы их адекватного прочтения, а при расширении письменного языкового поля также разрабатывает и устанавливает систему аналитической трактовки сообщения, удостоверяющей к тому же его подлинность и непротиворечивость, как внутреннюю, так и в соотношении с другими аналогичными или родственными по графике и смыслу письменными сообщениями. Все эти моменты крайне важны для духовной жизни коллектива и, более того, для укрепления, цементирования его духовных внутренних связей и административно-политического единства [1].

Эти области, изначально очень прочно связанные друг с другом, в конце концов, в развитии общественной практики и госу-

дарственного строительства расходятся на две, пусть и постоянно взаимосвязанные, но часто противоборствующие сферы — религиозную и социально-политическую жизнь. Стремление подавить ту или иную государственную структуру, возникавшее у противоборствующих сторон, обычно связывалось в первую очередь с организацией подавления духовной жизни населения, включенного в соответствующую государственную систему. В то же время жизнь организованных групп населения, объединенных устойчивым образом жизни, определенными видами хозяйственной деятельности, общими духовными и идеологическими представлениями, все же обычно не подвергалась столь жесткому давлению, которое могло бы ее целиком и полностью разрушить. Древний деспот или политик-аристократ понимает, что разрушение жизни населения, введение его в хаос ему самому и той структуре, которую он возглавляет, неизбежно нанесет значительный ущерб. Поэтому, сколь бы не были невежественны новые пришельцы, захватывающие чужую страну, они обычно полу-инстинктивно стремятся сохранить от прошлого тот костяк устойчивости, который обеспечивал бы на захваченной или присоединенной территории бесперебойное, успешное экономическое хозяйствование, рост населения и полноценность очередных входящих в общественно-политическую и семейно-бытовую жизнь когорт населения. А это, в свою очередь, достигалось продолжением духовно-идеологических установок, традиционно укреплявших их быт, нравы, обычаи и, в конечном итоге, религиозные чувства полноправных группировок подданных. Именно это весьма успешно обеспечивали письменность, ее исторические примеры, и новые, выполненные с ее помощью указания новых властей, искусно использующих историко-культурную письменную символику предшествующих поколений. Обычно в среде устойчивых крупных популяций письменность была столь же устойчива. Весь Ближний Восток в течение тысячелетий живет, основываясь на духовной культуре, поддерживаемой ассирово-вавилонской клинописью. Конечно, со всеми ее пошибами, рацновидностями и историко-культурными переменами.

Также и Китай в течение тысячелетий при всех изменениях этнических культур (взять хотя бы переход от иньской государственности к Чжоу) хранит свою письменность как одно из наивысших духовных достояний, и, веками пополняя иероглифический фонд, делает его все более многозначным, многообразным, сближает его со всеми формами этнической духовной культуры, с помощью нее внедряет ощущение национального единства и чувст-

во гармонического взаимодействия в пределах того социума, который подчиняется единой политической государственной воле. Здесь необходимо обратить внимание на один момент, а именно на формирование такого уровня внутренних отношений, когда разрыв, дестабилизация, деструкция этой общегосударственной воли ведет не просто к распаду страны на отдельные, пусть даже и крупные, независимые регионы, но и к резкому упадку благосостояния и возможностей для отдельных частей благополучного, автономного выживания. Все эти моменты специально в китайских политических текстах не разрабатывались, но зато они получили очень развернутую трактовку в связи с пониманием таких образований, как нация, народность, государство и т. д., в европейской историко-политической и юридической теории практики, начиная с трудов Гроциуса, Пуффендорфа, де Ваттеля и других теоретиков государственной политики (наиболее яркое и последовательное изложение этих проблем дал в середине XIX в., на фоне процессов стагнации тогдашней системы германских государств, швейцарский юрист и философ Ж.Г. Блюнчли (1808—1881), каким-то образом оказавший очень сильное влияние на Мао Цзэдуна и его партийное окружение). Наблюдения пока касались преимущественно схемы развития письменности, происходившего естественным путем в виде медленной эволюции духовной культуры, и обогащения ее внутренних средств, тогда как не рассматривались возможности получения готовой письменности, где уже были полностью разработаны форма, инструментарий и достигнуто гармоничное слияние трех основных компонентов: графики, символики, семантики, обеспечивающих запись и понимание текстов любой сложности, созданных даже в разных духовных традициях. Собственно китайская иньская письменность, обслуживающая гадательную практику, больше соответствует последнему указанному варианту, чем картина постепенного формирования письменной традиции, рассмотренная ранее.

Вообще, первое впечатление от шан-иньской культуры бронзового века, сформировавшееся у исследователей еще в конце XIX в., поныне ничем не поколеблено. Конечно, мы на сегодняшний день далеки от спекулятивных разработок того же Террьен де Лякупри или С.М. Георгиевского [2], которые видели предполагаемые источники шан-иньской культуры на территории бассейна Тарима и более западных областях, связывали эту культуру с каким-то древними сакскими элементами, но вопрос о приходе ее на Центральную китайскую равнину и в бассейн среднего и отчасти нижнего (в той мере, в какой последняя

сформировалась) течения Хуанхэ, остается весьма актуальным. Письменная система, которая проявляется в гадательных текстах, по своим грамматическим принципам очень близка к последующему древнекитайскому языку и венъяню. Диспозиция грамматических форм, расположения в стандартной простой фразе подлежащего, дополнения и глагола остается в принципе неизменным; размещение топографических указаний и временных показателей в начале фразы нарушается практически очень редко, т. е. все основные компоненты письменного языка были уже оформлены. Наличие планочной записи, когда на бамбуковой планке записывалась фраза с комментарием, само по себе готовило переход к последующему шелковому или бумажному кодексу, где вертикальные линейки, разделяющие вертикальные же строки, оставались неизменными, как напоминание о первоначальной планочной записи. Конечно, догматическая идея о изначальном формировании кодексов на основе устойчивой структуры, регулярно воспроизводящей соотношений $3/5$, — это несомненная фантазия. Учитывая тем более то обстоятельство, что пятеричный счет в китайскую традиционную культуру входит лишь около середины первого тысячелетия до н.э. Для более раннего времени сохраняет свое значение пространственно-ориентационная и числовая решетка, связанная с шестерично-девятеричным и десятичным счетом при использовании шестидесятеричного исчисления для календарных записей. Различия счетных систем на пространстве Евразии, как показали исследования Б.А. Фролова [3], восходят еще ко времени позднего палеолита. Индоевропейская счетная система использует в качестве низшего порядка счета группы из четырех единиц. Шестидесятиричная, шестиричная и десятичная системы развиваются в Южной Месопотамии еще в шумерийскую эпоху получают здесь окончательное оформление и, как всегда это случается в зоне формирования определенного принципа, системы или понятия, достаточно широкие возможности для вариационных изменений. Китайская же система стабильна и остается устойчивой на протяжении последних более чем трех тысячелетий.

Знаковый репертуар китайских иероглифов представляется явлением вполне систематичным. Это касается прежде всего изображений фигур животных и человека, которые по преимуществу выполняются в профиль, и при формировании символов, т. е. при крайней степени упрощения знака, идея профильности все равно сохраняется. В то же время рациональный подход китайцев к различного рода жизненным явлениям, стремление их при-

близить теоретическое положение к факту, сказалось и здесь, так как в фигуре барана выбирается оптимально-выразительная особенность, а именно: рога, которые к тому же изображаются и не в профиль, и не в фас (характерно, что на металлической посуде головы баранов с окружающей их разверткой рогов изображаются именно в фас), а в виде сверху, т. е. при принятии вертикалей профиля как культуuroобразующей основы для знаковой графики письма. Этот подход не становится догмой, но его можно разнообразить за счет характерных особенностей природы. Но пока что я, в частности, не нахожу прямого соответствия между системой письменных знаков и оформлением сюжетных графических композиций. То есть можно полагать, что эти две графические системы развивались самобытно. В противоположность раннеегипетской письменности, которая развивалась в направлении постепенного перевода композиционного позиционно-оправданного размещения фигур и действий в пределах изобразительного поля (сцены) в смысловую запись, китайская смысловая запись изначально подчинялась не зрительно-композиционным, а условно-грамматическим (в той мере, насколько они были определены и незыблемы в соответствующую эпоху) законам. Нельзя исключить, что и это является свидетельством появления письменности в Древнем Китае уже в сложившемся виде.

Итак, подводя общий итог исследованиям ранней письменности, можно считать установленными некоторые общие положения и частные факты.

Изучение иньской ритуально-магической письменности в последние десятилетия поднялось на новую качественную ступень. Естественно, что внимание специалистов привлекает, прежде всего, содержание письменных сообщений и возможность извлечь из них возможно больший объем исторической информации. Параллельно с этим ведется разработка исторической грамматики древнего письменного языка, выявление в нем ритуальных формул, устойчивых норм, уточнения терминов и систематизация их аллографов. Работы М.В. Крюкова, М.В. Софронова, Х. Билленстайна и С. Эггерода и других очень много дали для исследования грамматики языка и, в частности, что исключительно важно, его исторической фонетики, разработку которой начал еще Б. Карлгрен, а продолжили вышеуказанные специалисты и в последнее время С.А. Старостин (1953—2005).

В настоящее время большое значение приобретает вопрос о возможности расшифровки прямого смысла пиктограмм и идеограмм. Вопрос этот достаточно легко решается для простых зна-

ков, обозначений различного рода предметов и всевозможных существ. Тогда как при обозначении действий всегда существует неопределенность, прежде всего связанная с возможностью включения в состав той или иной идеограммы специальных фонетических символов. В сущности, идеограммы (даже все знаки иньской письменности) являются единственной сохранившейся в массовых количествах художественной графикой шан-иньской эпохи. В то же время специфика письменной графики, достигнутый в ней высокий уровень лаконизма, выразительности и обобщенности указывают на то, что несохранившаяся (или пока неизвестная) художественная графика этого времени была весьма развитой и изощренной. Высокая степень стандартизации художественных изделий и приемов художественного творчества, большое число одновременно практиковавших жрецов-гадателей, наличие у самих правителей (и их родственного окружения) серьезных познаний в области техники гаданий и способов предсказаний указывают на то, что в иньскую эпоху сложился довольно обширный круг лиц, активно пользовавшихся письменным языком. А следовательно, воплощавших в нем разнообразные достижения современной им культуры. Частые находки в могилах изделий с письменными знаками на них также подтверждают распространенность письменности в быту не только знати и высших сословий, но и средних слоев общества, включая (во всяком случае, в столице) определенные группы квалифицированных ремесленников. Все это может свидетельствовать о глубинных связях письменной графики с народными, этнокультурными традициями. Что, в частности, подтверждается особенностями построения самих графических образов.

Несмотря на то, что гадательная практика преследовала весьма фантастическую, несбыточную цель — получение «достоверной информации» о событиях будущего с помощью «общения» с предками (или при их посредстве — с высшими божествами), в ней несомненно формировались ранние формы протонауки (не говоря уже о том, что сама письменность являлась научным достижением, учитывая ее систематический характер, высокий уровень терминологического обобщения, общепонятность для достаточно широкого круга людей, логичность построения текстов, а также их высокую мемориальную информативность). Таким образом, в фиксации сбывшихся событий формировались начатки исторической науки — одной из древнейших «государственных наук» Древнего Китая. В классификации, систематизации опытов выяснения взаимосвязей вещей и понятий, внутренней и внеш-

ней причинности природных и общественных явлений проявлялись начала древней философии, общественных, политических, естественно-исторических и астрономических знаний. В изображениях предметов и в идеограммах отражен в тех или иных формах этнокультурный и инженерно-технический опыт иньского, а позже и чжоуского населения.

Однако на пути углубленного познания этого опыта встают значительные трудности, обусловленные специфичностью графики и сложностью адекватной трактовки письменных знаков. Традиционно сложились три устойчивых принципа отождествления знака с определенным понятием. Собственно, на основании этих принципов осуществляется вся работа по дешифровки и интерпретации древних письменных знаков и установлению их соответствий с современными написаниями. Которые, как признает большинство специалистов, являются лишь графической переработкой древних символов, протекавшей в условиях сохранения письменной традиции в течение более чем трех последних тысячелетий. Это, во-первых, следование интерпретациям, которые предлагает словарь *Шовэнь*, хотя древняя письменная графика, отраженная в нем, далеко не всегда идентична иньским знакам, выполненным на кости. Она в большей степени соответствует начертаниям надписей, исполненных на бронзе. Во-вторых, выяснение смысла знаков по контекстам (комбинаторика). В-третьих, признание правомерности догадок и гипотез предшествующих исследователей (в том числе и традиционных китайских комментаторов текстов, осуществлявших свою работу в течение всего периода от ханьской эпохи, когда окончательно сформировавшаяся письменная традиция потребовала от участников «письменного дискурса» полной инвентаризации, систематизации и однозначной трактовки всего предшествующего письменного наследия). Иногда эти три принципа сочетаются равноправно, но чаще какой-нибудь из них преобладает. Строгая же критическая проверка достоверности трактовок знаков, предпринятая Д. Кейтли, Д. Нивиссоном и рядом других американских ученых, пока еще охватила очень ограниченную часть иньского словаря, причем преимущественно коснулась тех знаков, которые связаны с мантическими формулами и социально-политической терминологией. Пожалуй, наибольший прорыв в исследовании знакового репертуара, связанного с повседневной иньской действительностью, удалось совершить Д.С. Куликову (2004 г.) [4].

Самым сложным моментом в трактовке логограмм остается вопрос о применении фонетических показателей и омонимов, по-

зволювших, как считалось, создателям письменности выражать понятия, не передаваемые исключительно идеографическими символами. Однако далеко не всегда можно с полной уверенностью утверждать, что знаки, которые принимаются за фонетические, в сознании древних китайцев не находили каких-то символических, условных, графических соответствий с кругом предметов и явлений, ими обозначавшихся. Характерно, что вслед за Ф. Чалфантом (1906 г.) исследователи подчеркивают преимущественно те случаи, когда написание знаков сравнительно точно, пусть и суммарно, передает изображаемый объект или действие. Однако вряд ли правомерно недоучитывать возможности существования между знаком и денотатом еще каких-либо определенных связей, опосредованных логическим или сенситивными соответствиями.

Наиболее простые случаи из этой области соотносимы, например, с историей европейских цветообозначений, образованных от наименований тех видов растительности, для которых характерен тот или иной специфический цвет. Для семантической трактовки цветообозначений достаточной четкости в связи с иньской графикой пока не достигнуто. Белый цвет, вроде бы передается изображением лица, или символом какого-то изделия, темный или черный определяются отчасти контекстом, а отчасти указаниями *Шовэня*. Лишь в связи с одним обозначением красного цвета указано, что он передан знаком дерева, из корней которого добывался красный краситель. Учитывая же огромную работу по выявлению узких классов однородных понятий, проводившуюся в течение всей истории китайских письменных наук о природе и обществе (нашла отражение в письменной графике), можно подозревать и в основе ранней письменной классификации цветообозначений наличие какого-то единого логического принципа.

В этом плане показательны наличие общего графического принципа в обозначении видов диких животных, а также и некоторых домашних, таких, как лошадь, свинья, баран, бык. Большинство их обозначений, как мы знаем, представляют собою упрощенный очерк их профиля. Но для барана и, кажется, быка, большее значение приобретает сама по себе форма рогов. Весьма удивляет отсутствие системы в наборе знаков, служащих для обозначения стран света. Впрочем, для «севера», «центра», «стороны», «направления» выбраны ясные графические и достаточно логически объяснимые символы. Тогда как применение омофонов для обозначения «запада», «востока», «юга» (пиктограмма со

значением «корзина», «колокол»?) нарушает внутреннюю логическую взаимосвязь между понятиями, принадлежность которых к одному классу явлений четко осознавалась уже в древнейшей китайской литературе. Такая ситуация тем более неожиданна, что для обозначения «верха» и «низа» также выбраны простые, графически однородные символы. Впрочем, само по себе появление возможного сопоставления наименований стран света с обозначениями каких-то определенных предметов, может быть, свидетельствует о том, что эти предметы являлись специфическими формами дани, которые получали иньские правители от «племен и народностей», проживающих в соответствующих направлениях. Главу *Шуцзина «Хунфан»* обычно пытаются представить как особо позднее включение в текст этого памятника. Но как бы к ней не относиться, само перечисление даней из девяти подвластных областей и самый характер этих даней, быть может, и указывает на первоначальные ассоциации между ориентационными указаниями и теми интересами, которые данный социум связывал с определенным направлением. Характерно, насколько мало логически объяснимых знаков удалось выявить Б. Карлгрену в своих исследованиях «*Grammata Serica*» (1940 г.) и «*Grammata serica recensa*» (1957 г.). Китайские грамматисты традиционно выявляют значительно больший набор, как им представляется, достоверных соответствий. Этот репертуар в 1888 г. русскому читателю представил С.М. Георгиевский. И именно в его трактовке стали особенно заметны надуманность и в значительной мере произвольность объяснения графического содержания знаков, которое сложилось в схоластических комментаторских школах. Впрочем, в связи с обозначением стран света может существовать и иное объяснение. Самоназвания народностей и племен, окружавших иньское царство, могли восходить к языкам, отличным от «протокитайского», а потому передавались в этом последнем исключительно фонетическими знаками.

Подходя к вопросу об изучении иньской и чжоуской письменной графики в целом с позиций современного состояния ее исследования и наличия соответствующих материалов, наиболее перспективно представляется выяснение системы правописания в пределах узких хронологических горизонтов. Для иньского времени — связанных с деятельностью групп гадателей, относящихся каждая к одному, пусть и условному, поколению. Для чжоуского такое же значение могли бы приобрести данные о специфике графики отдельных, датированных бронзовых ритуальных сосудов. Однако до сих пор вопрос о достоверной датировке со-

судов, указывающих на определенные моменты правления каких-то ванов (их имена никогда не обозначены), утверждавших за своими подданными определенные инвестиции, дарения и права, остается весьма спорным. Причем ясно, что значительная часть надписей, не имеющих четкой датировки и лишенных указания на распоряжение вана (обычная формула: *ван юэ* — ван сказал, указал, заявил) не относится ко времени Западного (раннего) Чжоу, а — к эпохе уделов, когда каждый самоутвердившийся правитель стремился всеми силами и способами обосновать свои наследственные, генетические и политические права. Во всяком случае, появление крупных и по-видимому, стихотворных надписей, посвященных первым чжоуским ванам, близко напоминающих соответствующие гимны из раздела «Сун» *Шицзин*, выполненные изнутри плоских, низких блюдец достаточно стандартной графикой, могут относиться даже не к эпохе Чуньцю, а ко времени Чжаньго.

Примечания

1. Кожин П. М. В тени Вавилонской башни // Труды Института восточных культур и античности. М., 2007. Вып. XI : *Orientalia et classica*. С. 327—334.

2. Lacouperie T.* *The Oldest Book of the Chinese. The Yi-king and its Autors*. L., 1892. Vol. 1 : *History and Method*. ; Георгиевский С. М. Анализ иероглифической письменности китайцев как отражающей в себе историю жизни древнего китайского народа. СПб., 1888.

3. Фролов Б. А. Числа в графике палеолита. Новосибирск, 1974. С. 113—118.

4. Куликов Д. Е. Культы и ритуалы в Древнем Китае иньского периода (ок. 1200—1045 гг. до н. э.). АКД. М., 2004.

* Albert Etienne Jean Baptist Terrien de Lacouperie (1845—1895).

Глава 2

СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

§ 1. От жречества к философии

Шан-иньская государственная письменность сформировалась как открытая, но структурно единая система, обеспечивающая полную и понятную запись вопросов, формулирующих цели гаданий (установление причинно-следственных связей между происходящими событиями и замыслами высших сил; прогнозистика последствий происходящих и совершаемых событий и действий; выбор правильного пути в организации предстоящих акций) и полную расшифровку результатов гадания, которую возможно было воплотить в соответствующие действия.

Регулярность, многочисленность и разнообразие гаданий подтверждается изобилием их записей и многообразием затронутых тем, требующих регулярного и повторного освещения. Естественно, до тех пор, пока не выяснены все подробности техники гадательной практики, количество участвующих в каждом гадании одновременно или последовательно жрецов-гадателей, а также общая хронологическая протяженность эпохи, когда все виды гаданий совершались, пусть даже и с определенными коррекциями и изменениями, — невозможно говорить о количественном составе одновременно действовавших групп жрецов-гадателей и прочих лиц, причастных к этим видам гаданий, и реализации их результатов, а также о прямых функциях отдельных жрецов во всем цикле данной повседневной практики. Прямые сведения — палеографические и текстуальные — имеются лишь

о жрецах, непосредственных исполнителях надписей, о группе толкователей, над которой непосредственно стоял сам иньский ван. Однако многочисленные свидетельства о видах жреческой практики и функциях отдельных жрецов, суммированные в работах Б. Шиндлера [1], прямо указывают на четкое различие жреческих функций. До недавнего времени, постулируя неизбежность присутствия могил жрецов на кладбищах иньской столицы и окружающих ее поселений, я очень сомневался в возможности их достоверного выявления на наличном погребальном материале, исключая лишь те отдельные случаи, когда в погребальном инвентаре встречались предметы, могущие служить инструментами (?) для высверливания ямок на поверхности черепаших панцирей и бычьих лопаток, приготовленных для гаданий. Думаю, что в таком подходе сказалась недооценка роли иньского вана в качестве главы не только воинской, но и ритуально-жреческой организации. Собственно, наличие воинских захоронений, в состав инвентаря которых входят различные виды ритуальных предметов, храмовой утвари, указывает на частое (а возможно, и постоянное) совмещение на разных уровнях иньской правящей элиты функций жрецов и военных руководителей. Более того, анализ многочисленных стилизованных изображений животных на металлической ритуальной и воинской утвари позволяет выявить среди них несколько исходных групп хищных зверей. Чень Гунжоу, Чжан Чжаншоу нашли всего пять разновидностей образов животных [2]. Пользуясь другими критериями, удастся определить не менее четырех разновидностей хищников. В главе «*Му ши*» *Шуцзина* У-ван произносит фразу, переданную в *Шицзи* следующим образом: «Держитесь воинственно, деритесь, как тигры, как медведи, как барсы, как драконы; в окрестностях столицы...» [3]. Русский перевод следует французской трактовке [4]. Дж. Легг, чаще всего более близкий китайской канонической дидактической традиции, присоединяет последние слова: «в окрестностях столицы» — к предыдущей фразе (русские переводчики оговаривают такую возможность, с. 312) [5]. Если возвратиться к оригиналу, перевод данной фразы может быть таков: «Гордитесь воинственностью, как ... (перечислены четыре вида хищных зверей, прямая идентификация которых еще требует специального исследования и заслуживает его. — П.К.) ... в окрестностях шанской столицы». Такая трактовка определенно близка чжоуской воинской традиции, где под этими хищниками понимали чжоуских, и даже еще чжаньго-ских, воинов. Однако если категории воинов соответствуют ка-

тегориям жрецов, то многочисленность этих последних не вызывает уже сомнений.

Удельное дробление, достигшее апогея в период Восточного Чжоу и особенно в эпоху Чжаньго, сопровождавшееся переориентацией духовной и изменением материальной культуры, не только затронуло письменную традицию, разорвав ее единство, приблизив ее к нуждам и потребностям правящей грамотной верхушки обособленных, часто враждующих и территориально удаленных царств, утвердившихся к тому же в местностях со специфическими устными диалектами, к которым письменная традиция так или иначе подстраивалась, но и оказало влияние на исторические судьбы воинско-жреческих семей, хранивших, как искони повелось в Китае, свои таинственные священные знания. Однако лишившись своего прочного места в системе централизованной жреческой иерархии, наследники древнего жречества, наряду с привычными для себя обрядовыми функциями, очевидно, наследовавшимися и передававшимися путем прямого обучения от старших к младшим (эта традиция сохраняется практически во всех китайских религиях и философских школах), должны были воссоздавать, по мере возможности, весь древний обряд. А здесь уже начиналось многообразие трактовок, касающихся и принципов, и частностей. Основной упор в обрядовой и духовной деятельности потомки древних жрецов делали на жреческую специализацию (прогноз, гадание, организация общественных работ, ритуал и т. д.), искони бывшую их семейным делом, стараясь возможно более рационализировать области жреческой науки, не входившие изначально в круг их семейной жреческой компетенции и функций. Эти обстоятельства порождали споры между жрецами разных специализаций. Письменность, уже широко применяющаяся в грамотной среде, не только в ритуально-культурных, но и светских целях как средство политической, духовной и идейной пропаганды, а также межличностного и межгосударственного общения, становится оружием полемики, как скрытой, так и открытой, способом изложения взглядов определенной личности на тот или иной предмет, связанный с бытием, духовными проблемами, политикой. Мантические формулы и термины наполняются новым, часто далеко не адекватным содержанием, начинается работа по объяснению древних текстов, их редактирование в свете новых жизненных требований. Сравнительные данные показывают, что и в древнегреческих полисах, и в индийских княжествах аналогичные процессы проходят почти одновременно и в идентичных формах. Древняя наука становится бо-

лее открытой, более доступной, положения ее по мере расширения аудитории и наличия разности интересов новых адептов требуют разъяснений и последовательного изложения. Так древние жреческие знания превращаются в философские учения.

Конечно, Конфуций и Лао-цзы, а тем более представители других школ древнекитайских учений уже далеко отстоят от изначальных истоков жреческой традиции. Однако определенные рудименты жреческих специализаций нашли отражение в принципиальных положениях их философских воззрений. Достаточно напомнить об отношении Конфуция к миру духов и смерти (Лунь юй, XI. II; трактовка этого пассажа Л.И. Головачевой [6] — необоснованна) и о всеобъемлющей силе и значении ритуала. Правда, Никкиля [7] подчеркивает бóльшую близость конфуцианской трактовки *ли* к *Шицзину*, чем к *Шуцзину*, что свидетельствует об отходе от жреческой и приближении к народной традиции. И все же постигать ритуал в Чжоу Конфуций ездил [8]. Для Лао-цзы и его последователей доминантным оказывается раскрытие связей космоса, земли и человека, т. е. проблематики, непосредственно восходящей к деятельности жрецов-прогнозистов. Показательно, что у этих философов различается не только набор основных философских понятий, но и их смысловые, качественные характеристики (благодаря тщательному анализу, проведенному Л.С. Переломовым [9] возможно сравнение базовой конфуцианской терминологии с соответствующим аппаратом Лао-цзы — Чжуан-цзы). Уместно напомнить вывод Р. Эно, сделанный на основе сравнения употребления терминов *дэ* и конфуцианского *жэнь*, о том, что они восходят к разным системам понятий. Наконец, жреческая традиция проглядывает в корпоративности, стремлении к изоляции от внешних воздействий в школах даосов и, особенно, ранних моистов.

Примечания

1. Schindler B. Das Priestertum im Alten China. Lpz., 1919.
2. Чень Гунжоу. Чжан Чжаншоу в «Каогу сюэбао». 1990. Вып. 2.
3. Сыма Цянь. Исторические записки : Ши цзи / пер. с кит. Р. В. Вяткина, В. С. Таскина. 1972. Т. 1. С. 186, прим. 59, 60 ; с. 312.
4. См.: Couvreur. Cheu-king. Ho-kien-fu. 1897. Ч. 4. Гл. 2. § 9. С. 187.
5. Legge J. Chinese Classics. Hongkong, L., 1865. Vol. 3. P. 2. P. 304.
6. Головачева Л. И. Беседы и суждения Конфуция // Рубеж. Владивосток, 1992. № 1. С. 278, 304, прим. 126.

7. Nikkilä P. Early Confucianism and Inherited Thought in the Light of Some Key Terms of the Confucian Analects. Helsinki, 1992. Vol. 2 : Terms of Confucian Analects. P. 183, 184.

8. Сыма Цянь. Исторические записки : Ши цзи / пер. с кит. Р. В. Вяткина. 1992. Т. VI. С. 127.

9. Переломов Л. С. Конфуций : жизнь, ученье, судьбы. М., 1993. С. 167—171.

§ 2. «Девять дэ» в концепции государственного управления Гао Яо

Все без исключения подходы к исследованию китайской философской терминологии имели целью связать различные концептуальные и хронологические уровни ее применения с современным пониманием и употреблением тех же терминов. Такой подход понятен, так как живая и непрерывная, более чем двухтысячелетняя традиция изучения и использования китайской канонической литературы подсказала именно такое направление исследований всем специалистам национальной китайской и мировой синологии.

Однако если посмотреть на эту традицию непредвзято, нетрудно выявить в ней несколько звеньев, где китайские ученые и комментаторы прошлого сталкивались с нарушениями внутренней преемственности духовного развития, ее частичным забвением и искажением.

Впервые такой разрыв традиции произошел при распаде иньской ритуальной гадательной практики, когда вышло из употребления письмо на костях и черепашьих панцирях, предназначенных для гадания. Само по себе это обстоятельство явилось лишь внешним формальным проявлением изменения круга грамотных людей, перемен в назначении письменности, расширения числа диалектов, которые она могла обслуживать. Изменился и характер текстов (инвеститурные документы, надписи, выполненные прочерчиванием на глине и перенесенные в бронзу), хотя принцип диалога (вопрос—ответ) был сохранен и вошел впоследствии в нарративную традицию.

Второй разрыв был связан с появлением нарративных источников на рубеже Западного и Восточного Чжоу, непрерывного летописания, а также с переходом профессиональных гадателей и их потомков на службу в различные удельные княжества и

царства на протяжении всей эпохи Чуньцю. Эти сдвиги знаменовали более глубокие перемены в письменной традиции. Появилась возможность свободной трактовки государственно-политических, жреческих, духовных, мистических, ритуальных форм в различной среде, что порождало дополнительную многозначность в понимании прежних обозначений и трактовке символов, новую их систематизацию, перекодировку и классификацию.

Последние обстоятельства приобрели еще дополнительную значимость в силу того, что в основе сквозной классификации знаков-понятий лежала их систематизация по равным постоянным числовым группам: первоначально девяте-, шестеричным и троичным, а при перекодировке они перестраивались в пятеричные. Связанный с перекодировкой определенный уровень критицизма способствовал формированию основных изначальных древнекитайских философских школ. Однако в их образовании, как представляется, еще большую роль сыграло вовлечение в научно-философскую активность представителей различных жреческих профессий и разного ранга жрецов, обладающих неодинаковой информированностью в различных вопросах и понятиях мистической жреческой науки [1].

Третий общепризнанный разрыв традиции связан с установлением централизованной империи в правление Цинь Шихуана. В четвертый раз традиция была поколеблена в эпоху Хань вследствие духовно-идеологической реакции на философские, социальные и политико-правовые нормы, выработанные в период Циньской империи. Число идеологических, философских, мистических школ, легальных и потаенных (конфуцианских, даоских, моистских и др.), неуклонно возрастало, происходили значительные корректировки смыслового содержания знаков-символов, в чем в очень большой мере сказывалось влияние буддийской символики и начальных шагов переводческой деятельности, способствующей кристаллизации духовной терминологии и окончательной систематизации философских и идеологических понятий в рамках письменной традиции.

Окончательный переход к выполнению нарративных текстов на бумаге, стабилизация письменной графики привели к тому, что дальнейшие перемены не приходится уже связывать с обрывами традиции: это могут быть лишь ее изменения, искажения, деформации. Окончательная система терминологии канонических текстов, утверждаемая в Сунско-Цинский период. В эпоху Цин формируется технический и смысловой аппарат для перево-

да канонических текстов на европейские языки. Впрочем, этот процесс нельзя считать завершенным и поныне [2].

Такое значительное число изменений и перекодировок как в самом знаковом составе, так и в систематизации знакового инвентаря определяет как минимум два принципиально возможных подхода к выяснению исходного смысла понятий. Это, во-первых, достаточно общепринятый прием ретроспекции от современного уровня в глубь веков, при котором корректность анализа и выводов зависит от очень широкого спектра факторов, начиная от методологической базы исследования и кончая уровнем личных знаний и способностей специалистов [3].

Во-вторых, возможен путь как бы изнутри материала, когда выбирается аутентичный [4], непротиворечивый текст, относящийся к определенному, даже и не строго ограниченному времени, и из анализа представленных в нем контекстов выводится, с различной степенью достоверности, значение используемых в нем терминов и разрабатываемых положений. Понятно, что такого рода исследование — всего лишь этап в работе по изучению духовного наследия прошлого, оно не может быть полностью изолировано от влияния как общих установок, так и массы приходящих факторов, упомянутых выше. Но некоторые преимущества такого подхода несомненны и неоднократно реализовались в синологии, преимущественно в связи с анализом отдельных древних произведений [5].

Шуцзин далеко не однородное произведение. Впрочем, однородность в данном случае исключалась изначально, если иметь в виду, что речь идет об отредактированном сборнике древних документов, далеко не все из которых можно признать аутентичными [6]. Трудно с уверенностью говорить о времени создания отдельных разделов *Шуцзина* и их частей. Вряд ли возможно дать какую-то монолитную оценку его идеологических концепций и терминологических принципов [7]. Наиболее однородный характер носит редакционная работа, хотя и она требует специального беспристрастного исследования [8]. Поэтому использование для анализа отдельных глав и положений представляется вполне правомерным и соответствующим современному уровню исследований.

Выбор главы *Гао Яо мо* связан не только с наиболее своеобразной трактовкой понятия *дэ* в ней, но также и с тем, что эта трактовка обусловлена внутренне непротиворечивым контекстом, отражающим устойчивую концепцию внутриполитической деятельности и установок власти. Практически рассматриваемая

глава представляет собой миниатюрный самостоятельный политический трактат, последовательно в теоретическом плане оценивающий несколько взаимосвязанных, жизненно важных в практике положений, касающихся принципов и методов управления, а также личностных качеств правителей и их ответственности за выполнение своего долга (что рассматривается много шире, чем взятые на себя обязательства, ибо возможность уклонения от принятия на себя ответственности также учитывается).

Дидактический характер (и, очевидно, цель) текста снимает на данном уровне рассмотрения вопрос об историчности участников диалога: императора Юя и «министра» Гао Яо [9], а также о соответствии трактата какой-то конкретной реальной историко-политической ситуации. Жесткий логико-философский подход к проблеме и изощренная простота последовательных доказательств, напоминая структуру сократовских диалогов у Платона, превращают это сочинение в некое подобие политической теоремы.

Трактовка *дэ* в «*Гао Яо мо*» очень компактна и потому может быть обособлена от общего анализа текста. Последний станет полноценным лишь при условии критической реконструкции первоначального текста, исключающей поздние редакционные глоссы [10], учитывающей раннеханьскую перекодировку, выполненную Сыма Цянем [11], восстанавливающей с учетом иньской графики изначальное написание знаков.

Понимание *дэ* в данном тексте внешне полностью десакрализовано. Все мистические его признаки выражены лишь в числовой символике и в порядке расстановки качественных показателей. Из всего набора словарных и контекстуальных определений этого понятия [12] полного соответствия кругу значений, подразумеваемых данным текстом, нельзя обнаружить ни в одном.

Описательно термин *дэ* может быть передан в виде определения «внутренние духовные (душевные) качества», которые могут (и должны!) реализоваться в действиях. Неиспользование качеств (свойств), как и ошибочное их использование, предопределяет небесную кару: «Дело Неба карать человека за это». Представляется, что идеографически точно подобное значение данного термина передано в том аллографе знака иньского письма, где глаз человека вписан в центр перекрестка двух «дорог» [13].

Подборка из девяти *дэ*, каждое из которых состоит из пары взаимно дополняющих, как бы уравновешивающих друг друга свойств, — несомненно сакральна, так же как и группировка этих *дэ* по тройкам. Впрочем, принцип этой группировки не рас-

шифрован. Видимо, качества группируются в том порядке, в котором они перечислены; но логически возможны, а принимая во внимание принципы комбинаторики *И цзина*, — вероятны и другие варианты группировки [14]: набор троек из произвольно выбранных свойств или в соответствии с какой-то графико-топологической схемой с девятипольной основой, очевидно, предшествовавшей сквозному пятеричному структурированию знаков письменного языка [15]. Нельзя также исключить, что последовательность свойств в данном тексте основывается непосредственно на какой-то девятичной схеме.

Смысловая, содержательная характеристика девяти *дэ* определяется в речи Гао Яо следующим образом: «Снисходительность вместе со строгостью, уступчивость — с непреклонностью, искренность — с почтительностью, распорядительность — с осмотрительностью, простодушие — с бережливостью, упорство — с неприступностью, мощь — со справедливостью, — ясно, что иметь [такие] принципы (= правила, этические нормы) — благоприятно!» [16].

Прежде всего бросается в глаза, что каждое *дэ* образовано парой качеств противоположных или дополняющих друг друга. Многозначность иероглифов, составляющих эти пары, явилась следствием длительной истории употребления данных знаков. Ее этапы и последовательность расширения или смены семантического поля для каждого из 18 этих знаков еще предстоит выяснить в подробностях, но такая работа может быть плодотворно проделана лишь в рамках общей системной концепции, определяющей принципы изменения и развития всего лексического фонда, связанного с иероглифическим описанием китайской духовной культуры на разных хронологических срезах ее историко-культурного бытия.

Такая работа находится пока лишь в стадии становления. Ее первые шаги отмечены созданием компьютерных конкордансов словоупотреблений в нарративных источниках разного времени и различной духовно-идеологической направленности [17]. Ныне из отдельных сравнений можно сформулировать несколько групп частных сопоставлений, которые, несомненно, займут должное место в общей системе. Так, в характеристику «таинственного *дэ*» (*сюань дэ*) Шуня (гл. «Шунь дян» [18], о котором услышало Небо, благодаря чему он взошел на императорский престол, входят знаки «обходительность», «почтительность», «неприступность» (*вэнь, гун, сай*), занимающие соответственно позиции 12, 6 и 16 в общем списке качеств, характеризующих

«девять *дэ*». Это позволяет думать, что троичная группировка действительно соответствует порядку *дэ* в «*Гао Яо мо*».

Однако порядок признаков в характеристике Шуня свидетельствует о возможности другой последовательности записи троек. Впрочем, перечисление вариантов уже из трех (а не девяти) *дэ* имеется в главе «*Хун фань*», хотя там представлены также знаки из разных частей общего списка: соответственно позиции 11, 15, 3. Правда, их качественные соотношения оказываются совершенно иными, чем в тексте *Гао Яо мо*. Различается сам принцип подхода. Гао Яо говорит, что три *дэ* дают человеку, обладающему ими, право власти над коллективом родственников [19], обладающему шестью *дэ* — над уделом (*бан*) [20]. Девять же *дэ* — это полноправие в пределах Поднебесной [21]. Таким образом, принцип данного контекста можно охарактеризовать как пространственно-административный (отчасти — пространственно-демографический) [22]. Принцип «Великого плана», основанный, казалось бы, на тех же Юевых установлениях [23], оказывается исключительно политико-административным в пределах всей Поднебесной. Каждое из трех *дэ* в этой системе равноправно и равноценно по отношению к двум другим, что находится в противоречии с системой, начертанной Гао Яо. Соответственно возникает предположение, что составитель раздела «Великий план» пользовался совершенно иным источником для своей разработки, чем Юевы книги *Шуцзина*. Оно выглядит еще более убедительным в связи с тем, что в основе этого документа лежит распределение проявлений материально-духовного мира по системе пятериц [24], хотя и сочетающейся с девятиричной системой счисления [25].

Принцип «девятой *дэ*» является составной частью политической концепции, основные положения которой обусловлены общей целью достижения «мудрого и вместе с тем милосердного» императорского правления. Задачей императора ставится отбор чиновников, основанный на знании их духовных и моральных качеств, что в тексте выражено формулой «знание людей». Эти чиновники распределенные по управленческим постам в соответствии со своими духовными качествами, определяющимися количественными наборами *дэ*, должны были осуществлять политику «умиротворения народа, утешительную для черноголовых» (*Гао Яо мо*, § 2). Таким образом, каждое *дэ* и сам чиновник, обладающий определенным их набором, становятся как бы медиаторами между милостивым правителем и управляемым народом. Однако составляющие каждого *дэ*, из которых одно обращено к народу, а другое — к правителю, объединяясь, дают сово-

купно слитные характеристики, определяющие уже не внешние проявления природы обладающего ими, но его внутренние сущностные особенности. Таким образом, речь должна идти не о самостоятельных проявлениях качественных альтернатив, а о слиянии их в новое, особое качество, которое и составляет содержание каждого *дэ*.

Следовательно, в отношении этой системы неправомерно использование двоичного количественного принципа. Ее сближение с ним, начавшееся с работ Г.В. Лейбница [26], ошибочно уже потому, что китайская система счисления, даже геометрических процедур [27], ориентирована на операции не с абстрактной числовой и линейной символикой, а с разнообразными наборами вещей-понятий и их преобразованиями, также не связанными с типичным представлением западной логики о переходе количества в качество вследствие кумулятивных процессов. Преобразование же становилось прямым следствием столкновения единичных альтернативных начал [28]. Такое столкновение одномоментно порождало единое нерасторжимое целое, полностью поглощающее в оптимальных условиях свои альтернативные составляющие. Оно противостоит им как равноправная, самостоятельная единица (а не число высшего порядка, как в рациональной абстрактной двоичной системе), что уже само по себе лишает оснований сопоставления с рациональной двоичной системой, ибо в каждой операции представлены как минимум три равноправные величины. В данном случае — каждое из девяти *дэ* и пара его составляющих.

Однако в этих девяти сочетаниях и их вариациях представлены лишь положительные, «благоприятные» случаи исхода, возникающего при столкновении альтернатив, сопоставимые с «сильной чертой» — «девяткой» *И цзина*. Но тогда закономерно было бы считать, что столкновение альтернатив, не порождающее новое качество, должно соответствовать «слабой черте» («шестерке» *И цзина*), выступающей, несмотря на свою графическую, геометрическую двучленность, также как самостоятельная единица, неблагоприятные и благоприятные свойства которой определяются ее позицией в общей системе. Но из признания за «шестеркой» значения равноправной единицы неизбежен вывод, что мы имеем дело даже не с троичной, а как минимум четверичной мантической счетно-логической системой [29].

Возможность сближения концепции «девятой *дэ*» с мантикой *И цзина* может, как представляется, дать основания для еще более глубоких сопоставлений. Ведь гадание на черепаших пан-

цирях имеет в своей основе принцип позиционных вариаций попарно симметричных знаковых полей. Последние образовывались подготовленными к гаданию сверлинами с сопутствующими им нарезками на оборотной стороне черепашьего панциря. При осуществлении процедуры гадания на лицевой поверхности панциря в пределах знакового поля появлялись трещины, которые толковались затем гадателями как знаки, выражающие волю Неба [30]. Реальные особенности этих знаков, взаимное положение составляющих их трещин, характерные особенности последних, соотношение их в образующихся соседних знаках, т. е. те особенности, которые и служили прямой предпосылкой для объяснения воли Неба, до сих пор специально не изучались. Хотя сам способ подготовки панцирей к гаданию (углубления и нарезки) и получения трещин исследован даже экспериментально, нет данных о непосредственном сопоставлении вида лицевой и оборотной стороны **одних и тех же** знаковых полей, а тем более сведений о том, как влияли форма и расположение-ориентация трещин на характер записей-расшифровок гадателя.

Это, впрочем, типичная ситуация в работе с древними предметами, на которых обнаруживаются надписи, не вызывающие сомнения с точки зрения возможностей их смысловой интерпретации: специалисты-филологи уже не нуждаются для подкрепления своих выводов данными контекста «предмет — знаковая система» и пренебрегают им, хотя весь смысл древней записи определяется самими особенностями предмета, и цель, назначение текста от предмета неотделимы [31]. Пространственно-позиционная решетка, определяющая размещение текстов на предмете, даже дукт самих письменных знаков уже стали предметом изучения, но выявление символики знаков-трещин в связи со смыслом сделанных по ним заключений, конкретные сравнения знаковой решетки панцирей со схемами «Хэту» и «Лошу» — это все вопросы, которые требуют последовательного тщательного изучения, причем непосредственно на живом материале коллекций гадательных костей.

Без такого исследования движение вперед в познании древнейшей китайской прогностической футурологии остается лишь предметом гадательных предположений и слабодоказуемых гипотез. Ведь уже ко времени записи текста *И цзина* определенно была утрачена отчетливая связь между расшифровкой непосредственных результатов гадательных действий и их интерпретацией, ибо ответы, представленные в мантических формулах, сгруппированных Ю. К. Щуцким [32], строятся не менее чем на шести

ключевых знаках и их отрицательных позициях, хотя формально — лишь на двух разновидностях черт. Здесь, конечно, надо иметь в виду (это учитывали все позднейшие интерпретаторы [33]), что влияние на каждую позицию предшествующих и следующих за ней знаков в пределах одной позиции не ограничивалось простой единичной альтернативой. А тогда механическое сведение всего многообразия вариантов ответов к двоичной системе счисления оказывается неправомерным. Бинарная оппозиция как принцип имела большое значение, но качественные варианты противопоставлений могли быть многообразны и выходили за рамки двоичного счета.

Подводя итог рассмотрению концепции «девяти дэ», можно утверждать:

1) эта система действительно связана с более древним периодом развития политических концепций, чем время создания традиционной историко-политической классики;

2) трактовка дэ в этой системе является частным случаем конструирования морально-этических и поведенческих эталонов, необходимость которых вызвана к жизни монархической системой управления, основанной на принципе: цель управления — благо народа;

3) содержание дэ включает в себя только положительные моменты, внутренне присущие каждому человеческому существу, но представленные в каждом индивидууме в разных количествах; и хотя общая их мера девять, социально значимые различия качеств наступают лишь с добавлением сразу трех дэ;

4) сочетание в каждом дэ альтернативных или дополняющих друг друга качеств формирует, в свою очередь, уравновешенное, стабильное качество более высокого порядка, положительное, как и его составляющие;

5) общий положительный характер качеств исключает верификацию свойств личностей посредством мантических процедур, но сама система качественных оценок выработана в пределах тех знаний и технических предписаний, которые действовали в гаданиях-предсказаниях.

Примечания

1. Кожин П. М. От жречества к философии // 25-я научная конференция «Общество и государство в Китае»: тезисы и доклады. М., 1994. С. 177—180; Schipper K. Le corps taoïste. Corps physique — corps social.

P., 1982. P. 122—125 ; Graham A. S. Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China. La Salle, 1989. P. 273—274 ; Sikorski J. S. On Standards of Analogical Reasoning in the Late Chou // Journal of Chinese Philosophy. 1975. Vol. 2. P. 325—357.

2. См.: Переломов Л. С. Конфуций : жизнь, учение, судьба. М., 1993. С. 161—183 ; Wright A. Chinese Language and Foreign Ideas // Studies in China Thought. Chicago, 1953.

3. См.: Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов. М., 1976. С. 21.

4. По сути, ни один доханьский текст, для которого отсутствует архетипная или авторская запись, не может считаться полностью аутентичным, так как его «перевод» в «ханьскую» знаковую систему мог нарушать логику и смысл изложения, не говоря уже об авторском стиле, неизбежно терявшемся (во всяком случае, искажавшемся) при переложении. Так что условно за аутентичный текст приходится принимать ханьский протограф, служащий основанием последующей «издательской» традиции. Связь же этого протографа с архетипной формой текста чаще всего может быть выявлена лишь частично с помощью индивидуализированного, неформального анализа.

5. Опыт такого подхода является работа Ю. К. Щуцкого «Китайская классическая “Книга перемен”» (М., 1993). Используемый в ней принципиальный метод определяется одним из постулатов учения о языке Н. Я. Марра, согласно которому в источнике непосредственно отражаются различные слои мышления и соответствующие уровню мышления нормы языка. Источник представлен Ю. К. Щуцким как отражение последовательных напластований усложняющихся структур.

6. См.: Nylan M. A Modest Illustrated by Original «Great Plan» and Han Readings // 30th European Conference of Chinese Studies. Roma, 1977. P. 251—264.

7. Сами по себе вводные обороты каждой из четырех «Юевых книг» свидетельствуют о длительности их разработки.

8. Еще Дж. Легг начал эту работу, привлекая данные китайских комментаторов, но возможности ее расширения и углубления многократно увеличились за последнее столетие благодаря многочисленным археологическим открытиям письменных памятников и совершенствованию методик критики и реконструкции текстов.

9. Подробнее о нем см.: Сыма Цянь. Исторические записки / пер. с кит Р. В. Вяткина и В. С. Таскина. М., 1972. Т.1. С. 248, прим. 123 ; с. 249, прим. 125 ; с. 273, 274. Оценка степени историчности этого персонажа полностью зависит от определения историчности Юя.

10. Кроме вводного оборота в данном тексте имеется большая глосса, связанная с пояснениями, касающимися роли Неба в жизни страны и людей, и построенная на пятеричных группировках качеств.

11. Вероятнее, впрочем, что Сыма Цянь лишь отредактировал ранее выполненную в знаковых формах, присущих ханьской эпохе, транскрипцию данного текста.

12. Кобзев А. И. Дэ // Китайская философия : энциклопедический словарь.. М., 1994. С. 119—120.

13. Цзягувэнь бянь : Словарь гадательных надписей. Пекин, 1989. С. 74 (0199) ; ср. Канси цзыдянь : Словарь Канси. Пекин. 1958. С. 299. Ранне-чжоуский аллограф знака *dao* (Karlgren В. *Grammata serica*. Stockholm, 1940. P. 400, 401. Знак № 1048 а—с) композиционно аналогичен древнейшей графеме *дэ*. Только в центре его находится рисунок головы человека. Представляется, что графика утверждает объединение этих знаков в устойчивую взаимозависимую пару в «Даодэцине».

14. Кобзев А. И. Китайская Книга Книг // Китайская классическая «Книга перемен» / Ю. К. Шуцкий. М., 1993.

15. Кожин П. М. *Disciplina sinica* // 16-я научная конференция «Общество и государство в Китае»: тезисы и доклады. М., 1985. Ч. 1. С. 7.

16. Шуцзин // Гучжу у цзин : Пятикнижие в древнем толковании. Тайбэй, 1961. Т. 1. С. 012 ; Переводы см.: Legge J. *Chinese Classics*. Vol. 3. P. 1. P. 71. *Couvreur S. Chou King*. P., 1897, P. 45—46 ; Сыма Цянь. Исторические записки. Т.1. С. 159, 274 ; ср.: Karlgren В. *The Book of Documents* // *Bulletin / Museum of Far Eastern Antiquity*. Stockholm, 1950. P. 8 (перевод), 6, 10 (текст). § 3. Ch. «Гао Яо мо»

17. См.: Nikkilä P. *Early Confucianism and Inherited Thought in the Light of Some Key Terms of the Confucian Analects*. Helsinki. Vol. 1 : *The Terms of Shu Ching and Shih Ching*. Vol. 2 : *Terms of Confucian Analects*.

18. Legge J. *Chinese Classics*. Vol. 3. P. 1. P. 29.

19. Быть может, в этом контексте не следует сужать значение цзя (семья) только до «знатного дома», а понимать ее как родственную территориально-иерархическую единицу (ср.: Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 1. С. 274, примеч. 149 ; Переломов Л. С. Конфуций : жизнь учение, судьба. С. 20, 21).

20. *Бан* в данном контексте — территориально-популяционная единица, превышающая по объему *цзя*. Из множества подобных единиц (*Вань бан*) состояло государство Яо. Впрочем, параграф «Яо шу» (Legge J. *Chinese Classics*. Vol. 3. P.1. P. 17) в целом рисует структуру «черноголового народа» (населения страны), состоявшую из 9 *цзу* = 100 *син* = 10 000 (множества) бан. (ср.: Крюков М. В. *Формы социальной организации древних китайцев*. М., 1967. С. 107).

21. Из контекста ясно, что «девять *дэ*» — это набор внутренних качеств высшего правителя, но, очевидно, в данном случае имела место сложная редакция в связи с тем, что диалог отнесен ко времени, когда Юй не был еще единовластным правителем.

22. Ср.: Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. Гл. 3.

23. См.: Древнекитайская философия. М., 1972. Т. 1. С. 104—113 ; Legge J. Chinese Classics. Vol. 3. P.1. P. 320—344.

24. См. Кобзев А. И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М., 1983. С. 24—25.

25. См.: Кобзев А. И. Пространственно-числовые модели китайской нумерологии // 17-я научная конференция «Общество и государство в Китае»: тезисы и доклады. М., 1986. Ч. 1. С. 29—45.

26. Leibnitz G. W. Zwei Briefe uber das binare Zahlensystem und die chinesische Philosophie. Stuttgart, 1968.

27. См.: Needham J. Science Civilization in China. Cambridge, 1957. Vol. 3.

28. На этот принцип опирается вся система преобразования «пяти элементов», их превращений при парных взаимодействиях.

29. Частные практические примеры см.: Шуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». С. 182, 242—245. См. также: Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1994. С. 87—88.

30. См.: Keightley D. N. Sources of Shang History. Berkeley, 1978.

31. Такое разделение филологических и историко-археологических задач уже давно ясно и отрицательно сказывается в проблематике локализации прародины индо-европейских, семитских, тюрко-монгольских, тунгусо-манчжурских, тибето-бирманских и других народов и соответственно языковых семей, а также путей их древнейшего расселения по доисторической ойкумене.

32. Шуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». С. 183—186.

33. Там же. С. 282.

§ 3. «Сыновья и внуки будут вечно пользоваться...»

В 1975 г. в уезде Цзюйнань близ Дадяня (пров. Шаньдун) были вскрыты две могилы времени позднего Чуньцю, относящиеся к государству Цзюй, с «жертвоприношениями людей» [1, с. 317—336, табл. 1—8]. Они лишь частично были затронуты грабителями. В них сохранились человеческие останки и сравнительно большое число предметов погребальной утвари. Цзюй — это небольшое удельное владение в бассейне р. Сихэ, вассальное по отношению к Чжоускому царству, а в 431 г.

до н.э. покоренное царством Чу. Раскопки двух относительно хорошо сохранившихся склепов, принадлежавших представителям правящего клана этого владения, могут способствовать разрешению значительного числа историко-археологических проблем, касающихся завершающих моментов периода «Весен и осеней». Отмечу лишь некоторые из них.

Положение о том, что в склепах помимо основного захоронения знатного человека помещены люди, принесенные в жертву при совершении погребальных обрядов, ничем не подтверждено. Напротив, наличие в обоих склепах входов и некоего подобия погребального храмового комплекса указывает на проведение здесь неоднократных захоронений и обрядовых жертвоприношений. Размещение погребенных в специальных гробах-саркофагах также лишает оснований предположение о захоронении вокруг знатного лица полностью бесправных людей. Более реалистично оценивать «доминантные» захоронения (в склепе № 1 оно почти полностью уничтожено грабителями) как погребения глав коллективов, а «рядовые» саркофаги (в склепе № 2 они со всех сторон окружают центральный, а в склепе № 1 — сгруппированы в юго-западной части могилы) как место упокоения членов того же коллектива. Лишь дополнительные данные могут позволить решить вопрос о том, были ли эти последние сородичами знатного лица или его служителями, которые могли быть захоронены в склепе гробницы как до захоронения господина, так и после него. Такими служителями могли быть, в частности, те лица, кого в некоторых надписях указывали как «части дара», которым правитель наделял особо отличившегося подданного или лицо, обязанное исполнять определенные административные, культовые, военные и прочие распорядительные функции. Думаю, что давний спор, реанимированный В.М. Крюковым [2, с. 137—139], о том, что подразумевалось в надписях о дарениях и пожалованиях на ритуальных сосудах под формулировками «дарю тебе...» (то-то и то-то) — конкретные дары или «право иметь» определенные вещи, — попросту беспредметен. Явно имело место сочетание обоих видов даров. Однако, когда речь идет о передаче в распоряжение какого-то вельможи семей *чнь* («подданных», что является весьма условным переводом) или наложниц, то, несомненно, подразумевались какие-то конкретные семьи и лица, которые, переходя в социальную структуру, замыкающуюся на данном вельможе, должны были включаться и в кланово-религиозную систему нового для них коллектива. И вопрос о формах этого включения приближается к своему практическому

разрешению благодаря исследованию данных склепов и им подобных (например, могила 1 в Линьцзяжуане, Шаньдун). Обращает на себя внимание также и то, что уже в *Лунь юе* (XI, 7) четко зафиксирована взаимосвязь между саркофагом, гробом и колесницей. Речь, правда, идет о продаже колесницы для покупки гроба, но почему-то нельзя было для этой цели продать какую-нибудь другую ценную вещь (здесь возможна иная интерпретация текста: «Янь Лу попросил колесницу учителя, чтобы из нее сделать саркофаг»).

Колесница вряд ли могла служить средством доставки к месту погребения тел рабов, ритуальных жертв, а в склепе № 1 обнаружено около 20 наосников (их приходилось по два на каждую ось), т. е. даже в случае использования четырехколесных колесниц последних должно было быть не менее пяти, а следовательно, не только саркофаг правителя доставляли к склепу на колесницах с металлическим убранством. Пары наосников к тому же различаются между собой, что, очевидно, указывает на неодновременность, даже значительный хронологический разрыв в проведении похорон отдельных лиц, ибо при налаженном в этот период массовом производстве колесничного убранства одновременно производившиеся изделия были стандартны, а их разнообразие указывает на их принадлежность к нескольким производственным циклам. (Конечно, нельзя исключить, что предметы изготовлены в разных производственных центрах, но это весьма сомнительно.) В обоих склепах, в том их отделении, где размещалась погребальная утварь и, очевидно, совершались заупокойные службы, обнаружены наборы из девяти подвесных колоколов разного размера. В склепе № 2 они расположены в ряд вдоль стенки, к ним примыкает еще и треугольный каменный гонг.

Сведение разновеликих колоколов и гонгов в единый колокольный орган отражено даже в изображениях ритуальной жизни государства (вернее, отдельных мелких владений) на бронзовых кувшинах из некрополей Сычуани, Хэнани и других мест (эти сосуды с гравированными изображениями сцен бытового и ритуального цикла заслуживают специального исследования как историко-этнографический источник эпохи Чжаньго). Количественно, размерами, орнаментацией, размещением на органной раме в один или несколько рядов подчеркивался (и даже определялся) ранг того лица, которому был дарован данный музыкальный комплекс, хотя в зависимости от эпохи могли меняться и ранги, и правила дарения, и употребление таких музыкальных

приспособлений. В данных склепах обнаружены колокола, несколько различающиеся по формам и орнаментации. Причем во втором склепе колокола снабжены надписью от имени первоначального их владельца, который «сам» их отлил, сам являлся их собственником и от своего имени сделал на них посвящение: «Сыновья и внуки будут вечно (постоянно) пользоваться его (колокола. — *П.М.*) защитой»*.

Надписи на колоколах подразумевают использование их сыновьями и внуками. Однако эти колокола обнаружены в могиле, где больше уже не совершались захоронения. Это подтверждает специальное захоронение собаки, сделанное близ входа. Почему же тогда колокола, предназначенные для «вечного» пользования, оказались захоронены в данном склепе? Обычно не вызывает вопросов появление кладов, в которых на ритуальных сосудах и колоколах обнаруживаются надписи с аналогичной заключительной частью. Считается, что подобные клады связаны с некими чрезвычайными обстоятельствами, когда какая-то из генераций сановников не могла поддерживать культ своих предков и была вынуждена переехать в другую местность. Находки надписей с подобными благопожеланиями в могилах заставляют посмотреть на данную проблему несколько иначе. Сыма Цянь указывал (см.: гл. V «Основные записи дома Цинь»), что после прекращения власти дома Чжоу жертвоприношения чжоуским предкам прервались и лишь впоследствии при ханьской династии, через 80 лет после падения Чжоу, жертвоприношения были возобновлены благодаря тому, что потомку правившего в Чжоу рода были дарованы титул *лехоу* и определенный земельный удел, на территории которого и стало возможным восстановление культа. Пожалуй, этот факт объясняет причину помещения в землю ритуальных изделий с благопожелательными надписями, содержание которых, казалось бы, не подразумевает их сокрытия. Лишившись титула и права владения определенной территорией, подданный лишался и права держать у себя (и тем более использовать) не соответствующую его положению ритуальную утварь. Из той же главы (*Шицзи*) Сыма Цяня известно, что после установления законов царства Цинь все принадлежащие частным лицам книги, касающиеся прежних установлений, должны были быть сданы соответствующим чиновникам для по-

* Такая надпись сделана на каждом колоколе набора. Традиционный перевод окончания этой фразы: «...будут постоянно использовать его как драгоценность».

следующего их уничтожения, чтобы не возникало толков и не могли на бытовом уровне действовать одновременно имперские установления Цинь и законы, правила, нормы и традиции предшествующих царств.

Большое число вновь раскопанных чжоуских памятников дают значительный материал, позволяющий строить историю династии уже не только (и не столько) на нарративных источниках, но с учетом тех поправок, которые вносят в устоявшиеся схемы реальные фактические данные.

Примечания

1. Цзюйнань Далянъ Чуньцю ды цы Цзюйго сюнь жэнь му : [Могины с человеческими жертвоприношениями эпохи Чуньцю из Цзюйнань, уезда Далянъ времени удела Цзюй] // Каогу сюэбао. 1978. № 3 ; Li Xueqin. Eastern Zhou and Qin Civilizations. New Haven, L. 1985. P.149—151.

2. Крюков В. М. Ритуальная коммуникация в древнем Китае. М., 1997.

§ 4. Шицзин и начала китайской идеологии

Казалось бы такая классическая книга, как *Шицзин* не требует предварительной оценки, что, в свою очередь, позволяет сразу перейти к сути обозначенной темы. Однако это было бы не вполне правомерно, ибо историография книги, как китайская, так и европейская, настолько многообразна, что возникает необходимость прежде всего определить в ней место данного подхода и способа рассмотрения.

Как **государственный документ** *Шицзин* рассматривался на протяжении всего периода «Чуньцю», если, конечно, признавать аутентичными свидетельства соответствующих летописей. Во всяком случае данные о *Шицзине* очень органично вписываются в контексты *Цзочжуани*. Ориентируясь на этот текст, получаем указание на использование «Книги песен» в политических ритуалах владений, сопричастных чжоускому домену в этот период. Значение ее в эпоху *Чжаньго* подтверждается многообразным набором источников. Ее включение в «индекс» канонической литературы, «подлежащей уничтожению» в период унификации и стандартизации, проводившейся циньскими властями, понятно: она воспринималась как набор далеко не всегда аутентичных

государственных документов (песни исполнялись государственными оркестрами на официальных торжествах, приемах государственных деятелей, послов соседних владетелей и т. д.), полностью созвучных эпохе взаимного противоборства самостоятельных княжеских владений, так как могла иметь разные версии, отражающие «законные» притязания на власть правителей одних владений перед другими (причем аргументация этих притязаний могла различаться в трактовке историографов разных царств) и утверждение молодой еще Империи, могла из-за этого встречать дополнительные политические трудности как в управляющей элите, так и в народном сознании на территориях, прежде входивших в состав соответствующих независимых суверенных владений. Однако не надо забывать, что «Книга песен», как и *Шуцзин*, в политическом сознании связывалась с периодом полновластия Чжоуской династии, а потому можно быть уверенными в том, что она, как и все общие принципы политической организации и чжоуского правопорядка, либо была бы включена в циньскую политическую систему (в очищенном от каких бы то ни было проявлений сепаратистских настроений, нелояльности к имперским властям и их узаконениям, виде), либо ее бы заменил какой-то письменный эквивалент, столь же активно и положительно способный воздействовать на эмоции и умонастроения народных масс вновь провозглашенной Империи. К сожалению, слишком коротким оказался исторический путь этой империи и даже ее монументальные свершения не получили материального завершения, а тем более справедливой безупречной оценки в последующих веках. Обнаруженный в 1974 г. в Сиани храмовый комплекс при захоронении первого китайского императора — Цинь Шихуанди (если отвлечься на момент от стройных величественных рядов войска глиняных скульптур, вызывающих тривиальные экспрессии и мысли о том, что эта галерея предназначена всего лишь для того, чтобы продемонстрировать мощь и силу вновь созданного государства) порождает массу вопросов, касающихся тогдашней китайской действительности, но пока еще в основном даже и не поставленных, касающихся особенностей государственного строя страны, ее политической и хозяйственной жизни, ее реальных идеологических и стратегических установок [1]. Конечно, о чем-то успели сказать Ханьфэйцзы и Ли Сы, но и их высказывания ждут еще материального подтверждения. У Сыма Цяня образ первого императора и его творений во многом навеян фольклорной традицией и ропотом недовольных, который всегда утверждается в истории легче, чем

положительные итоги преобразований, затерявшиеся к тому же в последующей Великой Смуте. (Она и сама изучена пока еще недостаточно, ибо все нити сложнейшей исторической ситуации находились в руках единственного историка, художника-монументалиста, создававшего свой исторический шедевр в условиях своего жестокого времени, где политические интриги, местничество, борьба за власть над властителем — императором У-ди — порождали чудовищные коллизии, заслоняющие порою реальный ход исторического процесса, позволявшие историку видеть недавнее прошлое в искаженном свете тяжелых дней, переживаемых им самим.)

Эпоха Хань придает *Шицзину* общеимперское звучание, превращая его в историко-культурный монумент традиционного общерегионального единения. Восстановление утраченного текста канона кладет начало обширнейшей многовековой комментаторской работе над ним. Комментирование затронуло все доступные исследованию и критике особенности текста, но первым и ведущим здесь становится акцент созвучности буквально каждого стиха «Книги песен» каноническим положениям конфуцианской традиции, которую возводят непосредственно к самому Конфуцию. Западные синологи, начиная с М. Гранэ, пытаются использовать в отношении этого текста те приемы изучения, которые создаются новыми направлениями собственно европейских гуманитарных наук — социологии и психологии, отягощенной туманными воззрениями психоаналитиков. Однако как можно судить хотя бы по комментарию Юн-чжэна (1724 г.) к «Священному Эдикту» императора Канси (1671 г.), текст *Шицзина* (как и *Шуцзина*) продолжал восприниматься (и так был рекомендован всем четырем законопослушным сословиям страны) во всей его полноте и непосредственности как основное средство для достижения (и поддержания) гармонического состояния общественного устройства и самой жизни. Таким образом, *Шицзин* по-прежнему оставался идеологическим государственным документом, служившим пособием для приобщения масс «к добродетельным нравам (дэ) и добрым обычаям».

Однако в самом построении книги есть моменты, которые не получили внятной трактовки, а порою могут вызвать сомнения в ее понимании в качестве именно идеологического документа. Действительно, «Великие оды» («Да я») и «Гимны» («Сун») полностью соответствуют своему идеологическому назначению (здесь представлены и наставления правителям, и ритуалы торжественных приемов, и священная история династии

Чжоу, прославление предков и их деяний). Несколько иначе выглядят первые разделы канона (*Сяо я* и, особенно, *Гофэн*). Особенно сложен по своему составу, содержанию и настроениям песен первый раздел — «*Гофэн*», что в русском каноническом переводе обозначается как «Нравы царств», тогда как знак *фэн* имеет прямое значение «ветер, дуновение». Переводчик, А.А. Штукин, увидел в нем связь с понятием «дух» (по аналогии, кстати, с европейскими переводами и трактовкой древнееврейского термина для обозначения души — *руах*), хотя вероятнее предполагать более непосредственное соответствие: дуновение — дыхание, и допускать здесь возможный смысл: «напевы». Исходя из такого понимания, проще установить связь этого раздела с самим процессом исполнения этих мелодий. Получается тогда, что раздел многообразных песен из районов Хэнани, Шэньси, юга Хэбэя, Шаньси, Шаньдуна и даже Ганьсу, где первоначально локализовалась территория Чжоуского племени (это вся территория древнейших уделов, составлявших основной чжоуский домен), мог как бы задавать мелодику всему объему музыкального оформления песен. Здесь сохранены, в частности, песни владений, определенно уже исчезнувших ко времени составления канона. Отсюда, быть может, проистекает меньшее внимание к идеологической и эмоциональной нагрузке, отраженной в сохраненных тут песнях. В целом заметно, как от раздела к разделу возрастает значение именно государственных идеологических установок, которые уже безраздельно доминируют в «Гимнах». Содержание «Напевов царств» действительно в наибольшей степени отражает народный дух раннего песенного творчества, приближая его к бытовой семейной жизни общинных и семейных коллективов земледельческого населения, когда понятия *бан* (территориальный округ, общинное землевладение) и *цзя* (большие и малые семьи и их естественные объединения) еще не стали обозначением чисто административных социальных группировок, какими они предстают в чжоуской документальной исторической традиции. Отсюда, видимо, и ощущается в этих ранних песнях та простая мудрость земледельческого народа, тот натурфилософский подход к доступным и ясным представлениям о добре и зле, о взаимосвязи природных сил и гуманитарных представлений и эмоций, которые складываются в естественный комплекс «бытовой философии» земледельческих общинных коллективов, присущий древнему Китаю с неолитических времен и фрагментарно сохранявшийся в нем в течение всей традиционной истории страны.

Примечания

1. См.: Комиссаров С. А., Хачатурян О. А. Мавзолей императора Цинь Шихуан ди. Новосибирск, 2010. — Это в основном формальное описание.

§ 5. Значение «Даодэцзин» (первый параграф) для древнекитайской теории познания

Контакт двух духовных культур, не связанных общностью происхождения и начавших взаимодействовать в весьма развитом состоянии и сразу же в активной форме, первоначально разрешается в весьма сложных, стрессовых видах взаимодействия. Одно из наиболее сложных проявлений этого взаимодействия — начало создания двуязычных словарей, отражающих не только бытовую лексику, но и сложные понятия духовной культуры. В процессе этой работы идет постепенное накопление данных для перехода от приблизительного толкования, перевода понятий к их адекватной или наиболее точной по смыслу трактовке. Этот процесс в отношении русской и китайской духовных культур длится уже в течение почти трех веков. Русско-китайские и китайско-русские словари достаточно полно отражают лексику духовной культуры, используемую во взаимном общении. Многие понятия, характеризующие китайскую духовность, обретают в русской культуре двух последних веков, как, впрочем, и в западноевропейской, свое устойчивое понимание. Однако степень полного соответствия понятий достаточно сложно определима, в связи с чем особо показательно представление о *дао*, которое часто в русскоязычных текстах дается уже без перевода. В целом это, конечно, облегчает взаимопонимание и сам процесс духовного общения, однако длительная история развития понятия *дао* в недрах самой китайской культуры исключает возможность прямого всеобъемлющего, адекватного его перевода. В связи с этим возникает проблема неизбежной степени относительности в переводе этого понятия и других лексем, аналогичных ему. Но если само адекватное толкование отдельных лексем признавать зыбким, далеким от исчерпывающего взаимопонимания, то это еще более активно проявляется в толковании и адекватном переводе текстов, включающих соответствующие лексемы-понятия.

Такой памятник, как *Даодэцзин*, получил толкование в европейских духовных культурах лишь ближе к середине XIX столетия. Комментированные переводы *Даодэцзина*, выполненные

С. Жюльеном и Дж. Леггом, представили европейскому читателю достаточно монолитное изложение этого сложнейшего текста и несколько исторических уровней его комментирования и объяснения. С одной стороны, учтен комментарий китайских ученых, сложившийся за последние два тысячелетия, с другой — предложена интерпретация этого уже синтезированного комментария европейскими специалистами-синологами [1]. Сравнительно недавние находки древнего текста *Даодэцзина* в могиле № 3 Маваньдуя, Хунань, указывают, что уже в начале ханьской эпохи основные параграфы этого текста имели форму, близкую к последующей канонической [2]. Можно полагать, что текст этот в послесельское время был сохранен в сравнительно аутентичной форме, т. е., что он был переведен из планочной «эпиграфической» записи в последовательную книжную, нарративную запись непосредственно путем переписывания (причем последовательность параграфов могла нарушаться) всего иероглифического памятника с планок на шелк или бумагу. А это заставляет признать, что основная трактовка текста, устойчивое его понимание к ханьскому времени уже сложилось в окончательном виде, что все комментарии этого текста, относящиеся к более позднему, чем ханьское время, периоду, — это уже новые, как бы модернизирующие формы его интерпретации. И действительно, если обратиться к ханьскому комментарию Ван Би, то в нем обнаруживается наибольшее соответствие между непосредственной трактовкой знаков и самим контекстом. Дальнейшая разработка комментария так, как она осуществлялась в раннем средневековье и в танско-сунское время, усложняясь, как представляется, отходит от изначальной адекватности. Работа, проделанная А.М. Карапетьянцем и А.А. Крушинским [3], по графической пофразовой разбивке всего текста *Даодэцзина* привела автора к заключению, что часть текста глав, во всяком случае та, где между парными фразами не проявляется параллелизм и противопоставление, или сами фразы не являются парными, может быть сама по себе более древним, чем ханьский, комментарием.

Большое число переводов *Даодэцзина* на русский язык отличается огромным смысловым разнообразием, и представляется, что само это разнообразие смыслов закладывается уже трактовкой первого параграфа памятника, в котором наряду с сущностной характеристикой начал учения Лао-цзы представлены методологическая его основа и некоторые определяющие термины. Конечно, всякий перевод любого текста чужой духовной культуры, тем более древнего, является интерпретацией. Интерпретацию

можно усложнять беспредельно, чему, собственно, и имеется очень большое число примеров в прозаических и стихотворных [4] переводах *Даодэдзина*.

Поэтому я хотел здесь вернуться к познаковому переводу текста с минимизированной его трактовкой. В таком случае перевод первого *чжана* должен выглядеть следующим образом (в круглых скобках указываются допустимые варианты значений соответствующих знаков [5]):

§ 1 «*Дао*, могущее быть путем, не является постоянным (нормативным, закономерным) *дао*. Наименование, могущее служить именем, не является постоянным (нормативным, закономерным) наименованием.

Неназванное есть основа Неба и Земли. Имеющее наименование — начало (мать) всех (десяти тысяч) вещей.

Поэтому беспристрастное (без вожелдений, без желаний) постоянство [используют], чтобы обозреть (оценивать) все (это) тайное.

Постоянство со страстями (вожелением, желаниями) [используют], чтобы обозреть все обыденное (скользить по поверхности).

[А] эти оба [понятия] имеют общее происхождение, но различные наименования.

Темное (сокровенное, потаенное) считается [для них] общим [6]. Раскрытое (?) сокровенное в сокровенном вход («ключ» иероглифа — *дверь*) ко множеству тайн».

Как можно заметить, основой всех осмысленных русскоязычных переводов данного текста является перевод Ян Хиншуна, опирающийся, в свою очередь, в наиболее значительной степени на перевод Дж. Легга. Учитывая ту тщательность и полноту, с которой осуществлял свои переводы этот выдающийся английский синолог-миссионер, пользовавшийся всем основным объемом китайской комментаторской традиции [7], такая основа для перевода стала большой удачей. Трудности перевода сводились к тому, что синтаксическая структура текста, близкая к синтаксису древнекитайских эпиграфических памятников, с большим трудом укладывается в современные нарративные формы записи текста, нормативные для русской литературной традиции.

Наибольшую сложность в первых же фразах вызывает знак *кэ* — «мочь», соединяющий два знака *дао*. Полагаю, что здесь вряд ли может быть найден аналог конструкции, создающий норматив для перевода, хотя смысл конструкции сам по себе достаточно прозрачен: здесь *дао* как расширительный феномен

противопоставляется его частной возможной трактовке. Из чего следует заключение, что последняя не является нормативной. Вопрос о нормативе (постоянстве — *чан*) представлен и в параллельной фразе о наименовании. Но таким образом сразу же задается сущность смысла следующих двух фраз. Небо и Земля представляются как Космос, со всеми его составляющими, находящийся вне пределов прямого оперативного человеческого познания, на что прямо указывает отсутствие для **тайнственного**, **потаненного** наименования, тогда как все то, что имеет имена, включается в познанный и познаваемый мир человека, образуя основу, устойчивый для этого мира норматив.

Указанные здесь «все вещи» (*вань*) подразумевают весь тот вещный мир, который окружает человека и который он, назвав его, может воспроизводить в своей непосредственной производственной и ментальной деятельности.

Следующая фраза, касающаяся беспристрастного рассмотрения, опять же возвращает нас в беспредельную космическую сферу явлений, не имеющих наименований. А далее вновь происходит переход в ограниченную сферу человеческой деятельности, которая здесь при подстановке значения, данного в словаре *Шовэнь*, трактуящего знак «предел» как «обыденное», получает значение, подразумевающее опять же сферу человеческих интересов, за пределы которой не выходит человеческое знание.

Следующая фраза трактует о двух явлениях, имеющих общее происхождение, но разные наименования, и вот здесь двустигшие разрывается глоссой, комментирующей тот субъект, которым определяется общность этих двух понятий — *сюань* (сокровенное), тогда вторая часть двустигших поясняет тот метод, которым происходит проникновение человеческой мысли в сферу космических явлений. Значение знака *ю*, приравненного в *Шовэне* к знаку *шоу* (рука, мастер), здесь словарными примерами не определяется для данного контекста. В нем, судя опять же по материалам *Шовэня* выявляется некое соотношение с понятием «мастерства», и поэтому здесь возможен только приблизительный перевод — «понятое», «познаваемое», а вовсе не «повторяющееся». Таким образом, весь текст двустигших подразумевает соотношение двух понятий *сюань* и *мяо* — «тайное», когда темное и неведомое, мистическое при проникновении в его суть может расширить горизонт человеческого познания, объясняя тайны (*мяо*), прежде не доступные ему.

В итоге мысль Лао-цзы может быть выражена так, что, отвлекаясь от самого себя, от своих пристрастий и интересов [8],

человек способен постигать неведомое ему, таинственное и скрытое от поверхностного взгляда, но для этого он должен обрести определенные качества мудреца, который своим холодным умом может вторгаться в космическую сферу непознанного, расширяя границы человеческого познания.

Ключевые знаки-понятия § 1

Номера знаков даются по «Китайско-русскому словарю» под редакцией И. М. Ошанина (См.: Список сокращений)

кэ — О, 2979; К, № 1 — мочь

чан — О, 3879; К, № 725 — постоянство

у — TSO, 1744. P. 244 — вещь, изделие

ши — О, 1439 — начало, возникновение

му — О, 4758; К, № 947 — мать, материнское (производящее) начало (О, С. 452)

мяо — О, 4068; К, № 1158 — тайна

цзяо — О, 6224; К, № 1162 — граница, рубеж, исследовать.

Согласно Ш. соответствует иероглифу

сюнь — О, 1690 — обыденный, «идти проторенным путем» (О, С. 165. Б. Карлгрен осмысливает этот знак в пределах понятия *цзяо*).

сюань — О, 8683; К, № 366 — темный, мистический, сокровенный

ю — О, 5916, 6407 — современное значение «раз, раз за разом», и т. д., однако есть и значение «правая рука». В контексте переводится лишь приблизительно. Значение в Ш — *шоу* — рука, мастер, и т. п. (О, 3262)

Список сокращений

О — Китайско-русский словарь / под ред. проф. И.М. Ошанина, М., 1952.

Ш — Шовэнь ицзянь. Шанхай, 1917, Т. 1,2

TSO — E.D.H. Fraser. Index to the TSO chuan, L., Oxford University Press, 1930.

К — В. Karlgren. Grammata Serica, Stockholm, 1940

Примечания

1. Facets of Taoism / ed. by H. Welch and A. Seidel. New Haven, 1979 ; Schipper K. Les corps taoiste : corps physics-corps social. P. 1982 ; Graham A. C. Disputers of the Tao : philosophical arguments in ancient China. La Salle, Illinois, 1989 ; Ян Хин-шун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М. ; Л.,

1950. ; Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов. М., 1976 ; Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций : философия Дао. М., 1998 ; Кобзев А. И. Дао // Китайская философия : энциклопедический словарь. М., 1994. С. 90—95 ; Его же. Дао // Новая философская энциклопедия. М, 2000. Т. 1. С. 583—586 ; Торчинов Е. А. Даосизм : опыт историко-религиозного описания. СПб., 1998.

2. Мавандуй Ханьму чуто «Лао-цзы» шивэнь // Вэньу. 1974. № 11. С. 8—14. Текст транслитерирован сокращенными иероглифами: § 1 в середине текста, столбцы 93—94) ; см.: Карапетьянц А. М., Крушинский А. А. Современные достижения в формальном анализе «Даодэцзина» // От магической силы к моральному императиву : категория *дэ* в китайской культуре. М., 1998. Приложение II : Новые методы в синологии. С. 340—406.

3. Карапетьянц А. М., Крушинский А. А. Указ. соч. С. 398—406. Принципы не сформулированы, но выводятся из графиков и описания формальной методики на с. 344—345.

4. Отдельные примеры перевода § 1: Торчинов Е. А. Указ. соч. С. 226 ; Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина» / пер. и исследование А. А. Маслова. М., 1996. С. 215. Здесь же на с. 174 текст § 1 в юаньском ксилографе ; Ткаченко Г. А. Люйши чуныцо : Весны и осени господина Люя ; Дао дэ цзин : Трактат о пути и доблести / Лао-цзы. М., 2001. С. 459.

Этот список мог бы быть продолжен, но не в этом суть. Главное отношение переводчиков к древнему тексту. Наиболее ярко его выразил В. В. Малявин. Запутавшись в многообразных принципах и подходах своих предшественников по переводу «Чжуан-цзы», он раздражается гениально-банальным пассажем, полностью соответствующим духу постмодернистской «науки»: «Когениальность перевода и оригинала, единство умозрения и поэзии здесь не могут быть заданы в формулах, они должны быть постигнуты (кем? — П.К.) как результат духовного искания (где? в переводе? — П.К.), как живой опыт, оправдывающий человеческое существование (что? зачем? как? — П.К.). В конце концов *перевод “Чжуан-цзы” требует от переводчика найти свою правду* (выделено мною — П.К.)». Гений более двух с половиной тысяч лет назад (я солидарен в датировках и идентификации личности Лао Дая с Л. Н. Меньшиковым, обосновавшим свои выводы на 16 международной философской конференции в честь корейского философа Тё-гё, Москва, 1990) сформулировал свое учение о мире, обществе и человеке. В словах, понятиях, грамматических конструкциях, присущих его времени, он довел до части «Народа Поднебесной», которая владела традиционным научным опытом страны и бережно хранила его (Кожин П. М. От жречества к философии // 25-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1994. С. 177—180 ; Его же. Этно-культурные константы китайской философии // 27-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1996. С. 234—236), свое оригинальное учение. Тысячи специалистов-книжников в разные века неустанным трудом охраняли и сохраняли это учение, не дав ему раствориться в безликом общенародном бытовом и общественном сознании. Им удалось донести до наших дней отблески того живого огня,

который породил «холодный разум» древнего философа. Его творение (как и книга «Чжуан-цзы») сохранило индивидуальные черты, распознаваемые через века. Истины, которые он провозглашал, имеют общегуманитарное значение. И вдруг «кузнечик, встав на пути колесниц» решает поискать в Великом учении «свою правду». «Свою правду» ищут на собственном Пути, выражают в собственных сочинениях. Подлинный переводчик — это ученик автора и обязан оберегать и хранить в чистоте (это обеспечивает добросовестная интерпретация и надежные комментарии) **истины, провозглашенные учителем**. Они должны сохраняться общепонятными.

5. Я сознательно не даю ссылок на словарь Канси, уклоняющийся от даоских сочинений. Сожалею, что не имел возможности пользоваться последним многотомным тайваньским словарем китайской классики. В приводимых трактовках знаков я руководствовался древними достоверными словоупотреблениями и выбирал для перевода понятия, укладывающиеся в семантическом поле (или полях) соответствующих глосс. (Ср. мнение В.М. Алексеева о качестве современных китайских словарей : Алексеев В. М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982. С. 362.)

6. Это единственные четыре иероглифа, лишённые параллельной фразы. Очевидный древний комментарий. Это меняет конфигурацию графика, отражающего фразовую разбивку данного текста (Карапетьянц А. М., Крушинский А. В Указ. соч. С. 398). Трактовка термина *сюань* : Китайская философия : энциклопедический словарь. С. 295.

7. Кожин П. М. Дж. Легг // Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 382.

8. Это же методическое требование предъявлял к «феноменологу» Э. Гуссерль (Идеи к чистой феноменологии. М., 1994. С. 50—51).

§ 6. «Дао грабителей» у Чжуан-цзы

Трактат Чжуан-цзы многократно переводился на европейские языки и дважды на русский. Этот уникальный в истории китайской литературы текст представляет огромное поле возможностей для постановки серьезнейших исследований, связанных с историей китайской науки, китайской литературы, философии и, наконец, самими условиями и основами китайской народной жизни и быта. Однако текст неоднороден, что позволяет строить различные гипотезы о времени его создания в целом и тем более о времени написания отдельных его частей, глав.

В традиционном варианте этого текста, представленном в собраниях китайской классики, насчитывается 33 главы. Однако далеко не все из них признаны аутентичными. Первое, что бросается в глаза при общей оценке текста, это его четкая даоская

направленность. Причем, даосизм Чжуан-цзы это не механический комментарий учения и трактата *Даодэдзин*, а ясная демонстрация глубокого проникновения в суть учения и разъяснение этого учения на массе ярких, запоминающихся конкретных примеров. Яркость текста достигается его парадоксальностью, обилием притч и анекдотов, изощренностью и свободой мысли. В лучших своих главах автор не ограничен ничем. Он творит образы, идеи и ситуации, на которых легко просматривается все многообразие творческих возможностей человеческого ума. Каждая история, каждый анекдот, рассказанный Чжуан-цзы, — это яркая, запоминающаяся картинка, которую он сам рассматривает в разнообразных ракурсах, заставляя читателя проявлять самостоятельное творчество, искать новые возможности прочтения «картинки» и переданных в ней ситуаций. Однако за всем этим просматривается очень жесткое и глубоко логичное философское построение, позволяющее погрузившемуся в тенета текста читателю осознавать определенный набор принципов, идей и умозаключений, которые связывают обыденную жизнь с необозримыми горизонтами творческих возможностей, с космической шириной природы.

Чжуан-цзы не навязывает знания. Все его тексты имеют целью дать человеку понимание тех фрагментов Мира, с которыми он соприкасается непосредственно, и возможность суждения о мироздании в целом в той мере, в какой оно постигнуто даоской философией. Такой подход требует постоянного переориентирования читателя от бытовых банальностей к проблемам мироздания, от привычных соотношений и масштабов обыденных событий к отражению их в каких-то иных сферах, где тропы знаний еще не проложены и где пылливый ум философа пытается нащупать определенность и неустойчивое равновесие в путях надбездной.

Характерно, что те простенькие истории, которые рассказывает Чжуан-цзы, — это все истории-перевертыши. Он сам наводит читателя на мысль о возможности преобразований своих текстов из бытовых в назидательные, из назидательных в познавательные, нравоучительные и остраерегающие. На западный мир особое впечатление произвела история о поваре, нож которого от резки мяса не тупился, а, напротив, заострялся потому, что он пользовался им правильно [1], о сне, в котором Чжуан-цзы приснился себе бабочкой, и в конце концов уже не мог понять, снилась ли Чжуан-цзы бабочка или бабочке снился Чжуан-цзы. В китайской литературе, хотя ей глубоко присуща ироничность,

юмор и тонкая насмешка, столь же яркая литературная фигура объявилась лишь в XVIII в. Это был Пу Сунлин (Ляо Чжай), значительная часть творческого наследия которого переведена академиком В.М. Алексеевым, однако из сравнения этих двух литературных величин не трудно убедиться, насколько древний автор превосходил своего изящного последователя.

Притчи и анекдоты Чжуан-цзы никогда не замыкаются внутри себя. Они всегда имеют многообразные выходы на сложные проблемы действительности, с которыми человек сталкивается постоянно, но часто неосознанно. И вот осознанию сложности проблем часто и способствуют простые истории Чжуан-цзы. И казалось нету истории проще, чем история о «дао грабителей». Именно ее простоту зафиксировал один из создателей трактата *Хуайнаньцзы*. Он воспроизвел эту историю, лишив того сложнейшего дидактико-исторического конвоя, которым снабдил ее в своем изначальном тексте Чжуан-цзы. И история действительно проста.

«...сподвижник [Разбойника]¹ Чжи спросил у Чжи: Есть ли *дао* у воровства? Чжи сказал: «Как можно действовать успешно и не иметь *дао*? Ведь в доме по наитию² угодить в сокровищницу — мудрость (*шэн*). Проникнуть [в нее] первым — смелость (*юн*). Уходить сзади (последним)³ — долг (*и*). Знание, пусть злобное (*ни*)⁴ — [все равно] знание (*чжи*). Делить [добычу] поровну — справедливость (*жэнь*)⁵. Если не соблюсти этой пятерицы, может прекратиться Большое Воровство, чего в Поднебесной еще не бывало» (2, С 75).

Примечания к переводу

¹ Сохраняю эту форму как типичную для русских переводов кличку разбойника [3, 4, 5]. Основное значение иероглифа *дао* — кража, воровство, хотя в иных контекстах его можно трактовать как «разбой» за счет распространенной в иероглифике синонимичности знаков, возникшей вследствие длительной традиции словоупотребления. Характерно, что в «Священном эдикте» Канси и разъяснение к нему Юнчжэна (§§ 7, 15 и др.) для полного спектра противоправных действий используется устойчивое словосочетание *даоцзэй*, при этом для *дао* комментарий Юнчжэна подчеркивает значение «воровство, кража», основной смысл термина *цзэй* — разбой, т. е. нападение на определенных лиц с целью ограбления с применением оружия и физического насилия. Минское законодательство придерживается тех же определений

[6]. Как «хищение» объясняется *дао* в танском законодательстве [7]. Приводить эти данные приходится потому, что в *Цзочжуани* к понятию *дао* примешан и «разбой, бандитизм». В исследуемом тексте речь идет именно о «краже, грабеже», а не о разбое. Кстати, оба иероглифа *дао* — путь и кража — в современном языке произносятся в одном и том же тоне, но, думаю, что это не имело значение во времена Чжуан-цзы, учитывая все последующие изменения китайской речи. И еще, название гл. 10 (у Малявина: «Взламывают сундуки» [4. С. 115] требует уточнения. С.И. Кучера [5], заметив, что речь идет о небольшой коробке, использовал слово ларцы, но иероглиф *цэ* — это обозначение короба. В его детерминативе стоит «бамбук», что напоминает об известных из археологических памятников плетеных коробах. Тогда *цюй цэ* следует перевести «вскрывает короба».

² Использованное здесь словосочетание *ван и* оказалось непонятным для комментатора Ван Фучжи. Он произвел замену знака, которая вовсе не нужна. С.И. Кучера прочел — «чутьем угадать», я предлагаю чтение — «по наитию, по догадке».

³ В скобках слово, употребленное всеми переводчиками, но сади — это в арьергарде, не обязательно самым последним.

⁴ Все согласно читают здесь *чжи кэ фюу*, последний знак имеет инструментально-грамматическое значение. В *Цзочжуани* и других ранних памятниках это существительное «зло» (*ни*).

⁵ Обращает на себя внимание, что знак *жэнь* по контексту не может читаться здесь как человеколюбие, а если рассматривать его по составляющим, то «человек» и «двойка» вполне логично могут быть поняты как «справедливость» (разделить поровну).

В данном отрывке нет, судя по окружающему его контексту, никакого иронического, комического или условного подтекста. Здесь прямо сказано, что «деятельность» воров подчиняется тем же правилам, которые применимы к любой деятельности в коллективе. Это подчеркнуто в *Хуайнаньцзы* [8. С. 228] и отсылка здесь к § 19 Лао-цзы вполне правомерна. Однако обращает на себя внимание, что «пятерица постоянств» (*у чан*) помимо обычных в поздних памятниках качеств *и*, *чжи*, *шэн* включает также *юн* и *жэнь*. По этому одиночному примеру трудно судить о том, типичен ли сам порядок перечисленных качеств, а также их набор. Данный пример представляется важным потому, что логика составления пятеричи должна подчиняться тем же правилам, которыми подчинялись системы построения «пяти первоэлементов» (*у син*) [см.: 9]. Причем наличие разных систем и схем и построения указывает на необходимость более полной аналитической

работы, которая могла бы объяснить генезис этих систем, последовательность их употребления в мантической, философской, научной практике, а тем самым позволила бы глубже проникнуть в мир доханьских систематизаций, в котором происходил переход от эмпирических классификаций «мира вещей» к догматическим устойчивым схемам ханьских систематиков. К сожалению, пока направленность исследований скорее указывает на стремление еще более догматизировать системы пятерич, рассматривая их на уровне танско-сунских построений.

Примечания

1. Billeter J.-F. Ding, der Koch, zerlegt ein Rind // *Asiatische Studien*. Bern-Frankfurt a/M., 1982. Bd. 36. № 2. S. 85—101.
2. Чжуанцзы цзуань цянь. Сянган, 1962.
3. Чжуан-цзы // *Атеисты, материалисты, диалектики : древность Китая / пер. Л. Д. Позднеевой. М., 1967. С. 178.*
4. Чжуан-цзы, Ле-цзы / пер. В. В. Малявина. М., 1995. С. 116.
5. Чжуан-цзы. Гл. 10. О взламывании ларцов // *Древнекитайская философия. М., 1972. Т. 1. С. 265—268.*
6. *Законы Великой Династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений. М., 1987. Ч. 1. С. 518, 523.*
7. *Уголовные установления Тан с разъяснениями. Цзюани 1—8. пер. В. М. Рыбакова. СПб., 1999. С. 360.*
8. *Философы из Хуайнани : [Хуайнаньцзы] / пер. Л. Е. Померанцевой. М., 2004.*
9. Лукьянов А. Е. У син // *Духовная культура Китая... Философия. М., 2006. С. 451—457.*

Глава 3

СВОЕОБРАЗИЕ, САМОБЫТНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

§ 1. Этнокультурные константы китайской философии

Представление о различных путях сложения региональных цивилизаций до сих пор не конкретизировано полностью, хотя идея о духовной специфике в пределах региональных этнокультурно-государственных единств сформировалась еще в XIX в., а вывод об их независимом самобытном материально-духовном развитии обоснован А. Тойнби в 1934 г. Разработка особенностей и показателей такого развития наиболее полно затронула лишь комплекс «гидравлических цивилизаций».

Первичная региональная цивилизация всегда бывает связана с областью устойчивого и компактного расселения, определенным образом группирующихся человеческих коллективов, чья материальная и духовная культура в наивысшей степени адаптирована к природно-географическим и экологическим в самом широком смысле условиям занимаемой территории. Среда проживания должна быть оптимальной для основной массы популяции (а следовательно, и для составляющих ее индивидов), обеспечивая возможности расширенного воспроизводства населения, повышения его хозяйственного благосостояния, размеренного быта, равномерного социально-культурного развития на базе выработанных эмпирическим путем однородных бытовых, хозяйственных, духовных, социально-политических традиций, составляющих в своем систематизированном комплексе основу этниче-

ской и этнокультурной спецификации популяции. Экспансия развивающейся и крепнущей цивилизации выводит ее из рамок единого этнического пространства за счет столкновения и затем сосуществования (совсем не обязательно неизменно мирного) с окружающими этносами, подчас неродственными, складывающимися во вторичные цивилизации или образующими общее с первичной цивилизацией единое информационно-коммуникационное и технико-экономическое поле (формы социальных структур, быта, глубинных пластов духовной культуры могут при этом оказаться весьма разнообразными).

Однако единое целенаправленное развитие культуры, присущей данной региональной цивилизации, проходило в рамках ее первоначальной этнической популяции (изменения направленности развития культуры как раз и маркировали размежевание первичных и вторичных цивилизаций). Это вовсе не значит, что в процессе длительного развития не происходили частичные переориентации культурных ценностей и перемены в их соотношениях (в области китайской духовной культуры такие моменты связаны с неоднократными изменениями способов записи эпиграфических и нарративных текстов, с переходом к всеобъемлющей системе пятериц и т. п.). Единство этнической популяции поддерживалось стройным комплексом показателей, которые, с одной стороны, образовывали всеобъемлющую систему жизнеобеспечения взаимосвязанных человеческих коллективов, а с другой — формировали основанную на вере в сочетании с позитивными рациональными знаниями сумму убеждений, объясняющую, утверждающую, оправдывающую существующий мир- и «правопорядок», традиционно передаваемый от поколения к поколению.

Древнейшее мировоззрение было всеобъемлющим и синтетичным, но все операции мышления замыкались на потребности человека, безопасности и интересах коллектива, утверждались неоднократно повторяющимся практическим опытом. От умений оперировать имеющейся суммой знаний не в меньшей степени, чем от хозяйственных успехов (впрочем, и они являлись итогом практического приложения знаний), зависели жизнь и благоденствие коллектива. Миф, абстрактные «религиозные» идеи были лишь частью системы практических знаний. Их роль определялась видимой полезностью. Поэтому окостенелый консерватизм мифа и незыблемость традиции, ставшие базой представлений о мифологическом состоянии сознания, о «мифологической» стадии его развития, возможны лишь в оптимальных

для вида гомо экологических условиях: в «земном раю» Южных морей и в тропических оазисах, где и наблюдали их этнологи-мифологи.

Усложнение структуры человеческого общества при расширении жизненного пространства цивилизации и на фоне резкого демографического подъема порождает, наряду с интеграционными процессами в области духовной культуры (единство принципов законодательства, правосознания, ритуально-религиозных правил, иерархии власти и т. п.), дифференциацию уровней сознания и соответствующих им форм духовной культуры. (Проблема единства, различий материальной культуры в пределах локальных цивилизаций, так же как и специфики лингвистической среды в их пределах, не могут решаться однозначно: они находятся в прямой зависимости от исторических судеб тех человеческих коллективов, которые включались в цивилизационное пространство по мере его экстенсивного расширения.)

Определив три формы коллективистского сознания человека как бытовое, массовое и общественное (соответствующие им формы культуры различаются пространственно, а также глубиной и устойчивостью), естественно попытаться выяснить, как и в каких пропорциях каждая из них участвует в формировании абстрактных форм мышления (научных, философских) и их закреплении в коллективных представлениях этноса, социума, цивилизации. В независимых евразийских «конгломератах человечества», базовых для региональных цивилизаций, значение указанных факторов оказывается равноценным.

Однако при работе с данными единой, самодостаточной, с позиций материального самообеспечения и прогрессивного развития во всех сферах бытия и деятельности, цивилизации вопрос о подосновах и стимулах прогресса, а тем более о его специфической направленности и поддающихся оценке уровнях в разных сферах жизнеобеспечения и его объяснительного моделирования на различных синхронных срезах, связанных с участием всех трех видов коллективного сознания, наиболее полно может быть поставлен и продуктивно подготовлен к решению при выяснении этнокультурных цивилизационных составляющих (констант) и их воздействия на все области прогресса.

Значение единства духовной культуры как фактора консолидации коллективов и унификации их жизненных условий и быта не подлежит сомнению. При этом, впрочем, имеет место двустороннее достаточно подвижное соотношение: чем более однородной и неизменной оказывались хозяйственная деятельность кол-

лектива и его быт, тем более устойчивыми (и настойчивыми) становились направления духовных исканий его членов. Трудоемкое земледельческое хозяйство Древнего Китая с его, по преимуществу, ручным зерновым производством требовало приложения огромных энергетических усилий, а расширенное воспроизводство популяции стремительно увеличивало потребление: перенаселенность оказывалась неизбежным итогом. Это вызывало необходимость жесткого регулирования индивидуально-групповых отношений в коллективе. Именно в сфере унификации, устойчивости человеческих отношений, в поисках единообразной морали; ритуальных догм, упорядочивающих людское поведение; цикличного в соответствии трудовыми сезонами года характера коллективных акций (*Шицзин*); неизменного общественного порядка при периодичной смене поколений и правящих династий (*Шицзин*, *Ляоши Чуньцю*), — сосредоточивались основные духовные искания. Практическая неизменность в регионе на протяжении тысячелетий соотношений человек — природа (космос) — хозяйственно-бытовая жизнь закрепила в коллективном сознании априорную модель структуры космоса и унифицированную характеристику взаимодействия Неба с населением земли.

Таким образом, от догматической непоколебимой натурфилософии без рационального исследования переходных ступеней (разновидностей *дао*) философская мысль, уже в исследовательско-дидактических формах, непосредственно обращалась к резко ограниченной онтологической тематике (полный круг онтологических проблем затрагивали в Китае лишь буддизм и, отчасти, учения, испытавшие его трансформирующее воздействие). Быть может, с устойчивой сакрализацией Неба связано неизменное доминирование в культуре вертикали над горизонталью, отразившееся в построении письменных текстов, перспективе картин, форме поминальных таблиц. Определенно, эта этнокультурная константа ведет начало от духовной, а не материальной культуры страны. Углубленное внимание к эмпирике бытия, подчас интуитивное признание каждого жизненного события, ситуации, конкретного процесса следствием уникального действия полифакторного набора слагаемых (фиксируемая определенным иероглифом, знаком, группа предметов/действий — полностью стабильна; стабильна трехмерная пространственная ориентационная решетка космическо-земных связей, с которой может быть соотнесен каждый письменный знак; несколько стабильных состояний имеет временной цикл. Все остальное — кон-

кретные вариации, подчиняющиеся логике сиюминутных операций) вело к отказу не только от абстрактных законов в области межличностных, равноправных и даже иерархических, отношений, но и к утверждению конкретных счетных конструкций в языке (счетные слова) и к конкретизации до уровня реального объекта всех арифметико-геометрических инженерных операций. Данные примеры, как и масса других, указывают, что духовная культура китайской цивилизации при построении своих самобытных философских систем не нуждалась в методологиях идентичных (и даже аналогичных) тем, которые сложились на Западе.

§ 2. Древнекитайское общественное сознание как основа религиозного и философского мировоззрения

Подлинное проникновение в древнекитайскую духовную культуру становится возможным с момента становления в Северном Китае шан-иньского государства. Утвердившаяся государственность, огромный потенциал общественных коллективных работ, появление организованных ремесленных сообществ, создание регулярной армии, строго иерархической вертикали государственной власти и регулярное употребление письменного языка предоставляют многообразные возможности для изучения материальной, а в основном через нее и духовной культуры Древнего Китая. Благодаря дешифровке интерпретации древнекитайской письменности уже 100 лет как существует возможность непосредственного изучения первоначальных эпиграфических аутентичных письменных документов. Однако содержание этих документов в той мере, в какой они могут быть ныне прочитаны, связывается почти исключительно с гадательными акциями, гадательной практикой иньских жрецов и представителей государственной администрации. Хотя набор употребляемых знаков письменного языка достаточно обширен и свидетельствует о том, что этот язык разработал понятия, характеризующие большинство сфер человеческой деятельности того периода, все же в интерпретациях доминируют несколько моментов, связанных с определением состава правящей династии, с определением хронологии проводимых гаданий, их содержанием и констатацией результатов. Такой подход в общем-то сильно ограничивает возможность выхода непосредственно на проблемы сути и

смысла духовной культуры населения Иньского царства. Религиозные и философские представления этой эпохи, даже если признать, что они уже в это время складывались, пока не поддаются «прочтению». Конечно, некоторое расширение интерпретации базы духовных представлений дает многообразная культовая утварь иньских памятников, хорошо сохранившаяся благодаря ее исполнению в виде бронзовых и каменных изделий.

Какие-то данные об иерархической структуре общества, а следовательно, и представлениях о власти, ее сакральном значении и ее духовном воздействии, складываются благодаря огромным наборам и комплексам ритуальных изделий, помещавшимся в иньские захоронения, и по материальным остаткам древних дворцовых и культовых сооружений. Но это все создает лишь возможность для реконструкции по аналогиям, взятым из других культур и общественных образований, изученных на всем пространстве ойкумены.

Прямые реальные данные о содержании древнекитайской духовной культуры появляются уже лишь с момента, когда становятся известны древнейшие нарративные тексты и отчасти дополняющие их пространственные эпиграфические записи. Древнейшие такие тексты, если опираться на китайскую историческую традицию, — это «Книга песен» (*Шицзин*) и «Книга документов» (*Шаншу*). Если сравнивать эти памятники с гадательными текстами иньского времени, то первое, что бросается в глаза, — их необычайная для древних времен четкая рациональность. Да, в них есть фантастические детали, есть образы, выходящие за рамки земных представлений, и многое другое, что может свидетельствовать об образовании в духовном наследии каких-то особых, внелогичных, фантастических представлений и схем, структурируемых обычно в систему религиозных воззрений. Само наличие этих воззрений подсказывает и значение их в общественной жизни и в общественном сознании. Однако говорить об образовании в древнекитайском обществе какой-то устойчивой религиозной системы, обособленной от рациональных и позитивных знаний о природе, обществе, человеке, космической сфере, на основании этих памятников весьма затруднительно. Скорее, складывается впечатление, стоящее в противоречии с общеизвестными мифологическими теориями выработки общественного сознания, что весь образ жизни человека на древнекитайской равнине был связан с медленным, но прогрессивным накоплением огромного объема позитивных знаний, находивших свое место в общественной деятельности, коллективном

труде и духовном общении. Представляется, что здесь мы имеем дело с реальным процессом познания окружающего мира, когда весь зарегистрированный разумом опыт собирался в одну общую копилку и приобретал значение в широком смысле норм жизни и поведения для всего «народа Поднебесной». То есть можно говорить о том, что разделения духовной культуры на религиозные и светские знания на практике не было. Был один целенаправленный процесс познания и фиксации знаний, имеющий своей целью организацию жизни, быта, коллектива, общества, опыта. Собственно все последующие сочинения древнекитайской письменной традиции, вошедшие в каноническое «Тринадцатикнижие», свидетельствуют именно о таком процессе движения и развития материальной культуры, когда весь опыт суммировался, классифицировался, получал иерархические оценки и так или иначе вторгался в жизненную практику коллектива. То есть не приходится говорить об особом религиозном сознании или развитии науки, а следует обратить внимание на единство, монолитность общественной культуры, берущей на вооружение весь объем культурного опыта и пытающейся осмыслить его практическую полезность.

Представление о накоплении опыта, о соблюдении традиций, о передаче опыта в пространстве и во времени в вышепредложенных формулировках представляют чисто абстрактную академическую картину. Конечно, вопрос о всем объеме специфики этой передачи скрыт от нас благодаря малочисленной документации, незначительному числу соответствующей текстовой информации и слабости пока тех возможностей, которые бы позволяли строго устанавливать все существовавшие страты и иерархию общественных отношений в пределах древнейшей китайской государственности, начиная от шан-иньской до эпохи Хань. Однако некоторые общие положения и наброски возможных макрообъединений могут быть получены из синтеза археологических и письменных данных. Конечно, проще всего поддается изучению тот аппарат, государственный и общественный, который был связан с исполнением административных функций любого рода как в ритуале, так и в непосредственном управлении обществом, и в этом периоде всегда имел прямые выходы на оперативное использование письменной культуры. Фактически этот аппарат, как и во всех древних монархиях, разбивается на две привилегированные группы: непосредственно правящий класс, имеющий харизматические и генетические права на правление, и класс «чиновников»-исполнителей, которые организу-

ются в формах, близких к сложившемуся уже в это время принципиально и фактически ремесленному коллективу. Ремесло в древности очень далеко по своей сути от тех его проявлений, которые мы имеем в последующие эпохи и особенно в начальных периодах капитализма, когда ремесленник — это всего лишь производитель определенных видов продукции, технический исполнитель заданий, требований, удовлетворяющий своим квалифицированным физическим трудом потребности определенных элитных и широких гражданских слоев. Ремесло в период ранней государственности — это область, связанная с очень широким кругом знаний, постижения технологий, которые требовали от каждого индивида, оторвавшегося от непосредственно физического труда, обеспечивающего определенные материальные потребности общества, постоянного интеллектуального совершенствования, позволяющего творить новые формы и создавать новые сферы, расширяющие возможности «господства» человека над природой. Поэтому в число ранних ремесленных производств входит и такая профессия, как писцы и жрецы. Это группы внутренне стойко организованные, иерархичные по принципу работы, которые заняты непрерывным совершенствованием, упорядочением и распространением прежде всего духовного опыта коллектива. В Китае, начиная с иньской эпохи, определенно наметилось совмещение жреческо-писцовых функций. В то же время этот большой неразделенный ремесленный массив в силу своей многочисленности, востребованности в процессах управления обладал достаточно жесткой иерархией и определенно имел узкие формы специализации. Эта специализация отражена уже в наиболее ранних памятниках письменной культуры, в разделении проточиновничества на определенное число управлений («министерств»), ответственных за земледелие, за военное дело, городскую жизнь, организацию ритуалов, обслуживание двора правителей и элиты и т. п. Характерно, что профессионализация и специализация первоначально распределяются в пределах широких семейных коллективов, в некотором роде соответствующих патронимическим, клановым объединениям. Именно эти коллективы хранят в своей памяти и передают своим потомкам тот систематизированный позитивный опыт, который организуется во всеобъемлющую китайскую традицию.

Однако политическая жизнь Древнего Китая, подразумевая под последним территорией изначального иньского, а потом чжоуского доменов, и пространственно охватывавшим средние части бассейна Хуанхэ, не была стабильна. Падение Иньского царства,

Чжоуская консолидация и ее длительное затухание вели к тому, что кланово-ремесленные корпорации первоначальной иньской культуры со временем могли либо приходить в упадок либо подстраиваться к вновь организующимся административным механизмам, таким, как автономные царства «Эпохи Чуньцю» и «Чжаньго». При этом, сохраняя специализацию, члены таких ремесленно-административных кланов начинали ее переориентировать в соответствии с рациональными потребностями своего времени. На первый взгляд жреческо-писцовые административные функции оставались прежними, однако менялись отношение самих групп и их представителей с правителями царств и сами отношения отдельных групп. Тот эталон организации административно-бюрократической культуры, который был представлен в чжоуском домене, сохранял преимущественно формальное внешнее значение для отдельных кланов и причастных к ним индивидов. Специализация в таких областях, как, в частности, жречество, знание правил и законов общежития и умение их применять позитивно в повседневной управленческой практике, постепенно начинала уклоняться от первоначальных государственных эталонов, предписанных чжоуской политической культурой. В связи с тем, что большинство принципиальных положений этой культуры имели достаточно жесткую письменную иероглифическую фиксацию, сами представители бюрократических кланов начинали вносить в трактовку этих фиксированных, но не пространственных документов, какую-то специфику, определенные особенности, подсказывавшиеся местными условиями, сиюминутными требованиями управления, индивидуализированными запросами правящей элиты и определенными политическими установками и целями.

Именно такая ситуация, сложившаяся в доциньскую эпоху, привела к тому, что создание автократической единой империи потребовало тотального пересмотра всего духовного наследия и его приведения в новую, единую для всей страны систему. Этим и объясняется сожжение политической административно-бюрократической и прочей общественно-значимой литературы предшествующего времени и опыты замены этих ранее общепризнанных канонов единым их систематическим изложением. На это у первых правителей просто не хватило времени, однако сам замысел материализовался в создании единой системы мер, весов, единого административного аппарата, начиная от центрального и кончая провинциально-уездным. То есть здесь имела место тотальная унификация духовных условий и предписанная

общность всех проявлений политической культуры на всем пространстве империи. В таком виде при существовавшем тогда информационном обеспечении эта система практически оказывалась утопичной и не могла существовать в течение длительного времени, точнее, дольше времени, когда империей управляла и направляла ее единая воля правителя. Собственно, в истории Евразии мы имеем немало примеров такой жесткой унификации, которая очень быстро, уже на уровне второго поколения правителей, лишаясь этой единой политической воли, начинала распадаться, каждый раз оставляя за собою на всем пространстве загнивающей империи определенные четкие монументальные следы этого запрограммированного духовного единства. Такую ситуацию мы могли наблюдать в Древнем Египте, в Древнем Риме до образования империи, в Иране эпохи ранних Ахеменидов и т. п. Однако, акцентируя момент духовного развития, следует отметить одну основную особенность общественной культуры, функционирующей в условиях таких монолитных ранних монархий и их дериватов, — это невероятно интенсивное сближение функций писцовой, административно-бюрократической и жреческой религиозной культуры. Фактически, это не были полярно различимые функционально-независимые формы общественно-политической культуры, они были и оставались единым, неразделимым проявлением духовности и выражением того гигантского накопленного столетиями, а то и тысячелетиями духовного опыта, где усилием творческой мысли в общую иерархию понятий и представлений включался весь тот вековой багаж, который древняя элита и администрация считали положительным и важным для выживания управляемой той или иной династией страны. Именно на этом периоде, по всей видимости, и происходит разделение Западного и Восточного миров на сферу господства религиозной мысли (Запад) и административной мысли (Восток). Фактически, традиционный Китай, сохранивший непрерывную линию развития государственности и ее администрации, наиболее четко демонстрирует монолитность научно-религиозной культуры, и ее динамическое включение в политические культуры последовательно доминировавшие на пространствах, объединявших две великие водные артерии Восточной Азии — Хуанхэ и Янцзыцзян.

Часть III

ДРЕВНЕКИТАЙСКОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЕГО ОТРАСЛИ

Глава 1

КЕРАМИКА КИТАЙСКОГО НЕОЛИТА

§ 1. Технический аспект

Изучение керамики — это область, имеющая целый ряд специфических, часто независимых аспектов. Не перечисляя их здесь, остановлюсь лишь на проблеме изучения керамики как выражении определенных форм ремесленной и технической деятельности, или, более обобщенно, на технике керамического производства.

Изготовление керамики начинается и складывается как чисто домашнее производство, обеспечивающее определенные бытовые и хозяйственные нужды. Керамика как форма обеспечения хозяйственной деятельности представляет собой достаточно уникально явление. Запасы глины, необходимые для производства керамических изделий, существуют на земле почти повсеместно.

В разные периоды и в разных культурах различаются приемы работы с глиняной массой, способы выделки керамических контейнеров и организация работы мастеров (от их обучения до выполнения ими особо сложных работ, в частности, изготовления литейных форм для металлического производства).

В связи с археологической керамикой следует оговорить ограниченность наших знаний об основной части всех вышеуказанных процессов. Мы имеем дело с уже готовым изделием, прошедшим все перечисленные фазы работы, и часто такое изделие еще и намеренно руками мастера лишалось каких-то определенных признаков, свидетельствующих о способах его изготовления.

Произведение, которое вышло из рук мастера, следует оценивать с позиций того производственного мастерства, которым владел древний гончар, т. е. по готовому изделию восстановить и процесс производства, и квалификацию мастера и, отчасти, круг возможных функций изучаемых керамических изделий. Как всякое традиционное производство гончарное дело при всей его однообразности непрерывно медленно развивалось. Но судить об этом развитии можно лишь по тем фрагментарным данным, которые попадают в наши руки из памятников, подвергшихся археологическому исследованию. Здесь приходится несколько расширительно посмотреть на соотношение археологического объекта и обнаруживаемых в нем материалов. Археологические объекты, даже относящиеся к памятникам одной культуры, могут быть разделены и большими расстояниями, и большими хронологическими промежутками. В нашем распоряжении оказываются данные, образующие достаточно дискретное полотно, в котором связи между изделиями и процессами их изготовления приходится намечать со значительной степенью условности. Только большое число однозначных повторений дает возможность судить о производственной картине, связанной с определенной археологической культурой, а тем самым, с популяционной группой, которой принадлежало данное производство.

В круг рассмотрения при работе с массовым материалом попадает, прежде всего, керамическая посуда, и именно на этой составляющей керамического комплекса должно быть сосредоточено внимание. Керамическая посуда — это наборы очень разнообразных и функционально различающихся контейнеров-емкостей. Эти емкости предназначались для хранения жидких, сыпучих и застывающих в определенной консистенции запасов. Для приготовления разнообразных видов пищи и для ее употребления служила специальная столовая посуда. Еще один набор керамических изделий достаточно часто выявляется в поздних доисторических памятниках, когда посуда начинает служить специальным культовым целям. Кроме этого могут существовать отдельные виды посуды с узким функциональным использова-

нием, скажем, специальные сосуды для воды (особенно — питьевой), рукомойки и т. п.

Весь комплекс материальной культуры, используемый населением в определенный, узкий промежуток времени, составляет то, что следует именовать функциональным комплексом. То есть такой набор предметов, инструментов, бытовых орудий и т. п., находящийся в постоянном употреблении у совместно проживающего населения. Фрагментарные функциональные комплексы представлены в отдельных группах употребляемых изделий, в частности, такой комплекс может образовывать керамика. Существование поселения, обширного могильника и, как более крупных классификационных разделов, каждого определенного периода археологической культуры бывает связано с полностью устойчивыми функциональными комплексами. Их изменения означают собой какие-то перемены либо в составе населения, либо в производственных технологиях. Такая смена функциональных комплексов — это более дробные подразделения в истории археологической культуры, чем этапы, периоды, но они могут характеризоваться определенным типологическим развитием. Смена технологий и изменения в составе самого функционального комплекса являются внутриархеологическим показателем развития материальной культуры в пределах изучаемой исторической популяции, которую обозначают обобщенным, условным понятием «археологической культуры».

Переходя непосредственно к технической проблематике, следует сразу разбить ее на несколько взаимосвязанных подотделов и уровней. Первый уровень работы с глиняным сырьем — это подготовка керамической массы, так как в производстве употребляется не та глина, которую непосредственно выкапывают из земли, а специально подготовленная различными способами. Ее могут вымачивать, отмучивать, освобождая от ненужных примесей, очищать механическим путем. В зависимости от условий производства и его технических задач процессы подготовки гончарной массы могут занимать различные периоды времени. Хотя именно эта область исследований увлекла работников Института археологии, вообразивших не только мнимые шкалы примесей, но и возлагающих на примеси навоза, пуха, перьев и прочей органики надежды при определении датировок и периодизации доисторических объектов. Впрочем, малоперспективными оказались и опыты новосибирских специалистов (в основном геологов) по определению месторождений глины, которыми пользовались древние мастера. Однако эта часть производствен-

ного процесса остается для нас абсолютно неизвестной. Все сведения, которые восходят к самим керамическим изделиям, связаны либо с исследованием готовой продукции или производственного брака, либо, что случается много реже, — с находками остатков древних гончарных мастерских.

Изучение самих гончарных изделий с целью определения по ним производственных, технических процессов и реакций — процедура двухуровневая. Она включает визуальный осмотр готового изделия и визуально-инструментальный их анализ. Выявленные в процессе этих наблюдений следы производственных техник могут быть подвергнуты интерпретации на основе различных технических аналогий, известных по этнографическим наблюдениям над изготовлением керамики, и по опытам и экспериментам получения на глине соответствующих следов. Не буду описывать здесь последовательность указанных наблюдений, а перейду сразу к стандартной процедуре, которая в основном, пусть и с вариациями, может характеризовать весь цикл работ по изготовлению гончарной емкости.

Вообще керамические изделия могут быть представлены и в виде игрушек, и культовых предметов, различных архитектурных деталей и украшений. Керамика, т. е. изделия из обожженной глины, — это одна из важнейших составляющих древних археологических культур. Самой важной составляющей в общем наборе гончарных изделий являются именно те, которые могут служить контейнерами, емкостями для жидких, сыпучих продуктов и запасов. И значение ее в дописьменных памятниках от неолита до эпохи бронзы крайне велико. Ибо сохранность изделий из обожженной глины в культурных слоях памятников и в погребениях, даже в случаях механических нарушений, бывает сравнительно хорошей. Более того, при ограблении древних памятников керамические остатки, гончарный бой обычно остаются в пределах культурного слоя, тогда как другие виды изделий материальной культуры, изготовленные из тленных материалов, или имеющие, как большинство металлических предметов, какую-то устойчивую материальную ценность, обычно последующим населением изымаются из культурного слоя.

Первая операция, которая производится гончаром (так можно назвать каждого человека, занимающегося изготовлением керамических изделий, вне зависимости от его квалификации и степени постоянной вовлеченности в процесс выделки керамики. Человек может изготавливать глиняные изделия для своего личного, домашнего хозяйства, используя навыки, полученные

путем обучения или даже простого наблюдения за работой профессионалов или случайных лиц, занимающихся изготовлением керамических изделий в коллективе, к которому он принадлежит), — это лепка заготовки контейнера. Здесь очень многое зависит от тех техник, которые разработаны именно в данной культуре данным населением. В неолите применяют ручные безкруговые методы изготовления керамических изделий. Для этих целей используются при выполнении первоначальной заготовки сосуда несколько стандартных и в разных культурах достаточно последовательно применяемых приемов. Обычно, лепка выполняется из глиняных жгутов, которые по спирали могут последовательно надстраиваться один над другим, либо над рядом широких раскатанных глиняных лент, собранных в окружность, надстраивается следующий ряд, этаж таких же лент, но с большим или меньшим диаметром. Они в процессе наложения плотно склеиваются с верхним краем ленты нижнего яруса. При наблюдениях над керамическим боем наличие спаев верхних и нижних лент обычно дает очень много сведений о первоначальной лепке, а затем и формовке будущего сосуда.

По заветренности, смятости и характерному виду поверхности иногда можно судить о том, с какой именно лентой мы в каждом отдельном случае имеем дело. С нижней, к которой прилепливалась верхняя, или с верхней, которая была прилеплена, при этом нижняя лента часто бывает подготовлена к прилепливанию следующей и образует как бы позитив, в то время как прилепленная лента, ее спай, оказывается негативом. Обычно спаи лент оформляются под углом к внешним поверхностям самих лент уже в заготовке. В керамическом производстве применяется одна из двух техник — спирального или горизонтально-ленточного налета. Использование и той и другой техники совместно чаще всего является указанием на крупную, сложную, смешанную культуру, где гончарство уже достигает определенного технического совершенства, становясь профессиональной деятельностью. Очень часто в ранних культурах слепленная заготовка лишь с размятыми пальцами или каким-то инструментом спаями лент или жгутов, при простейшей же обработке поверхности, могла сразу идти в обжиг и использоваться как контейнер.

Чаще за этапом лепки следовала достаточно обширная фаза формовки изделия. Количество используемых в ней операций могло быть велико. Учитывая климатические условия, в которых проживала популяция определенной археологической культуры, количество фаз формовки могло быть ограничено. В силу того,

что глина при высоких температурах и сухости воздуха очень быстро застывала, в значительной мере теряя свои пластические свойства, увеличение фаз формовки требовало постоянного поддержания определенного уровня влажности глиняной заготовки, что достигалось в условиях сырых, прохладных мастерских, а также с помощью укутывания заготовок влажными тканями. Формовка посуды, изготовлявшейся в основном без применения гончарного круга, придавала сосуду специфические формы, увеличивала его объем, уплотняла глиняное тесто по всей поверхности его стенок и донных частей, предохраняла от растрескивания и других возможных видов брака (в частности прорыва глиняных стенок). Она могла осуществляться в простейшем случае просто обрезкой излишков глины, или с помощью замазывания видимых швов и разрывов. Однако и более сложные приемы формовки связаны с использованием достаточно простого, но характерного инструментария. Формовкой можно было достигать полного преобразования формы заготовки. Так, гончары в селениях горной Индии исполняли цилиндрическую заготовку, с достаточно толстыми стенками, на примитивном гончарном круге, а затем эту заготовку начинали обрабатывать с помощью простейших приспособлений, которые в англоязычной литературе получили наименование «наковальни» и «лопатки». Изнутри цилиндра к его стенке прижимался тяжелый камень с уплощенной поверхностью, снаружи по этому самому месту производились удары деревянной плоской лопаточкой с узкой ручкой, за которую ее держал гончар. Таким образом, перемещая камень, находящийся в цилиндре, по кругу вдоль стенок по вертикали, но смещая его постепенно в горизонтальном направлении, можно было значительно истончить стенки заготовки и придать ей уже не цилиндрические, а скорее бомбовидные очертания. При этом заготовка оказывалась открытой и сверху, и снизу, причем иногда либо верхнюю, либо нижнюю сторону оставляли без обработки, т. е. на заготовке образовывалось более узкое устье, когда противоположный ее край воспринимался как придонная часть, которую закрывали отдельно заготовленной миской, также лепившейся либо из лент или спиральным налепом, либо из отдельного большого куска глины, который затем подвергали такой же обработке наковальней и лопаткой с условием, что по диаметру он точно подгонялся под диаметр открытой придонной части будущего сосуда. При изучении готовых изделий наиболее слабой частью сосуда, местом, по которому он при употреблении может раскалываться, оказывается именно этот придонный

шов. Такого рода технику описывают китайские этнографы по наблюдениям над малыми этническими группами в Юньнани. С этой техникой связана такая специфическая особенность гончарной массы, как ее равномерная консистенция без крупных примесей, способных прорывать стенки.

Подробное описание именно этих приемов объясняется тем, что они широко применялись в изготовлении неолитической посуды в отдельных культурах северного Китая и из неолитического гончарства перешли в гончарные техники Иньской столицы в эпоху бронзового века. В гончарстве Инь использовались гончарный круг в качестве основного инструмента гончарного производства, техника «выбивки» (наковальни и лопатки) и техника лепки из обширных кольцевых лент, применявшаяся для изготовления особо крупных сосудов. При этом гончары имели обыкновение подчеркивать на этих сосудах места спаев лент с помощью налепа на внешней поверхности рельефных валиков. Ими отмечались даже места спаев самой кольцевой ленты. К сожалению, находок гончарных кругов в китайских памятниках не наблюдается, а инструментарий для выбивки сохраняется в большом числе. Здесь характерно использование глиняных широких дисков, имеющих с вогнутой их стороны специальную округлую ручку, за которую гончар держал этот диск. Само изделие из обожженной глины оказывается очень тяжелым, что было необходимо, чтобы при работе гончар не отбивал себе руки, так как сопротивление расплющиваемой глины было достаточно значительным. Внешняя выпуклая поверхность диска покрывалась сетчатой, как бы вафельной нарезкой, которая обычно отпечатывается на стенках изделия, в том числе и снаружи, так как гончар работал двумя дисковыми колотушками, из которых одна подставлялась к стенкам изнутри, а второй ударяли снаружи. По моим наблюдениям, случаев применения форм для изготовления частей сосудов в доисторическом материале нет. То есть здесь отсутствует ускоренная техника изготовления керамики на «болванке» или в «емкости», иногда встречающаяся в культурах Сибири и Ближнего Востока. Это свидетельствует о том, что развитие гончарной техники в раннеисторическом Китае не подвергалось каким-то резким переменам. Спрос на керамику не расширялся в определенные периоды очень значительно, а потому и не возникало необходимости в ускоренном изготовлении определенных видов посуды. В преувеличенном интересе к моделированию посуды на «болванке», в «емкости», а иногда и другими, порой даже комичными способами (лепка в специальной яме

и т. п.), есть некоторый элемент снисходительности к «древним» людям, эдакое бодрое, самоуверенное утверждение «ну куда им!», чем довольно часто грешат исследователи древности, забывая о том, что древний человек был практиком в тех областях, где современный человек защищен от индивидуальной, самостоятельной практики всем объемом современной индустриальной культуры. Древний человек обладал лучше выверенным глазомером и массой других физических и психомоторных способностей, не доступных современному специалисту, изучающему культуру древности. Мне представляется это очень важным методологическим замечанием, действенным в отношении многих подходов и оценки практической деятельности древних людей, их представлений об окружающем мире, о собственной работе, условиях жизни, отношениях с природой и другими людьми.

Следующий момент технического исполнения посуды ручной лепки связан с тем, что формовка изделий может осуществляться, как мы это уже отметили в отношении присоединения донных частей к сосудам, отдельно для разных крупных частей будущего единого изделия. Так, отдельно может изготавливаться какая-то часть корпуса контейнера или одевающаяся на него горловина, отдельно могут выполняться ручки, которые разными способами прилепливались к бокам сосуда. Часто на этом уровне работы определялось основное различие керамических традиций на круглодонные (сюда может входить и керамика с уплощенным, примятым дном) и плоскодонные формы, когда плоское дно четко отделялось от стенок толщиной и особой обработкой. Сборка из частей предшествовала окончательной формовке изделия и его доработке перед помещением в печь. Эта доработка состояла обычно из заглаживания поверхности, часто уничтожающей следы предыдущих производственных действий, лощения, орнаментации.

Вопросы орнаментации в отношении древнекитайской керамики в основном связаны с использованием росписи, хотя здесь присутствует и нарезной орнамент, и гребенчатый штампованный. Впрочем, применялись эти приемы далеко не повсеместно. Что касается росписи, то южный степной пояс Евразии в неолитическое время оказывается связанным с распространением большого числа земледельческих культур, в которых широко представлена крашенная, или расписная, керамика. Для нанесения росписи на сосуд обычно использовался такой прием, как ангобирование: для этого приготавливался жидкий раствор из чистой, мелко отмученной глины, куда полностью или частично

окуналось изготовленное изделие, т. е. на поверхности его создавался сплошной слой ангоба; высыхая, он покрывал прежде всего внешнюю поверхность равномерной, гладкой коркой. Эта поверхность могла быть еще перекрыта сплошным слоем краски, служившей фоном будущей росписи.

Роспись наносилась, по-видимому, какой-то примитивной кистью, во всяком случае, следы такого инструмента наблюдаются на изделиях ближневосточных гончаров. Специально о применении кисти в китайском материале по имеющейся литературе сведений нет. Хотя для уяснения этого вопроса нужен всего лишь последовательный визуальный осмотр всех стилей расписной керамики. На готовых изделиях роспись бывает черного, коричневого, красного цветов. Желтый и белый могут также присутствовать, вопрос только в том, насколько минеральные краски, употреблявшиеся для росписи, были подвержены цветовым изменениям под действием температуры, т. е. получал ли древний гончар, выполняя роспись, окончательное представление о ее виде на обожженном изделии или же он должен был мысленно определять эстетические особенности будущего готового изделия. Употребляя слово «эстетические», следует помнить, что использование его является значительной условностью, что уверенно можно говорить лишь об определенных предпочтениях, которые проявлял человек древности, как и люди разных этнических культур, к тем или иным цветам, их набору и сочетаниям. Учитывая, конечно, то, что в руках гончара был достаточно обширный выбор красителей: каолиновые, белоглиняные месторождения, достаточно характерные для Китая, содержат в виде примазок, особенно на краях месторождения, большое число разноокрашенных минеральных красителей, достаточно стойких и пригодных для использования в росписи посуды, подвергающейся обжигу. Особым преимуществом пользовались красители, связанные с черным цветом, которыми, как известно, наносились на криволинейную, выпуклую поверхность сосуда разметка будущего орнамента или контуры сюжетной композиции. Черный цвет получался благодаря применению окислов марганца и железа, причем окислы железа, в силу их особой встречаемости, применялись особенно активно. При этом учитывалась их специфика, связанная с тем, что по мере повышения температуры и длительности обжига, интенсивная черная окраска как бы погружалась в полированную поверхность сосуда, становилась менее яркой, приобретала вначале коричневатые, а потом и серые оттенки. К сожалению, опытов в этом направлении на евразийском мате-

риале исследователи умудрились не проводить. Приходится пользоваться данными, полученными при исследовании доисторической керамики юго-запада США и, отчасти, Центральной Латинской Америки, которые тщательно анализировала крупный специалист по истории керамического производства Анна Остер Шепард (1956 г.). Впрочем, даже данные по разметке намечаемого орнамента, помимо выполнившихся мною (1981 г.), представлены лишь небольшими китайскими исследованиями на материалах культуры Мацзяю.

Последняя проблема, связанная с керамическими комплексами, — это состав функциональных комплексов. Функциональные комплексы, начиная с неолита, хорошо представлены в погребальных памятниках, но эволюцию их проследить невозможно, пока нет уверенности в том, что они связаны в каждом из наблюдаемых случаев с одной и той же системой производства, которая непрерывно, последовательно развивалась, сохраняя среди производственных навыков весь основной, единый набор традиционных ремесленных приемов. Без учета этого последнего обстоятельства самостоятельная типологическая шкала развития керамического производства в Китае в доисторической и раннеисторической эпохах, построена быть не может. Это тем более ясно, когда исследователь приходит к заключению, что источником раннеисторической керамики могли быть памятники типа Луньшань. Исключить этот культурный массив из рассмотрения в качестве прямого предшественника шан-иньской керамики у нас нет оснований, но сам по себе этот массив неоднороден, не представляется воплощением единой производственной системы, требует территориального и хронологического расчленения, уточнения многих производственно-технических и этнокультурных особенностей, а потому может быть учтен при разрешении проблемы лишь предварительно. Более того, даже неполные публикации материалов памятников свидетельствуют о возможности включения в состав ранних комплексов изделий, относящихся уже к эпохе бронзы, когда ручная лепка даже при широком применении гончарного круга по-прежнему могла встречаться.

Говоря об эпохе бронзы, приходится обращать внимание на особую область производства керамических контейнеров. А именно, изготовление и использование керамических литейных форм. Китайские литейщики, как можно судить по имеющимся образцам самой бронзолитейной продукции, так и по данным, полученным при раскопках бронзолитейных мастерских, в совершенстве освоили работу с глиняным тестом и твердо установили

для себя все режимы и возможности его применения. В китайском бронзолитейном производстве очень рано сложилась система многократного воспроизведения однородных, аналогичных и даже идентичных изделий. Для этого требовалось изготовление литейных форм, пригодных для неоднократных отливок. Лучшим материалом для таких форм оказалась глина: на глине возможно было рисовать, писать, вырезать различные формы и фигуры, а также и оттискивать определенные виды изделий, получая негативные их оттиски. Последнее, а именно оттискивание, было очень важной процедурой, ибо, как уже говорилось, глина при обработке высыхает и с какого-то момента достигает такого уровня твердости и поверхностной прочности, что поддается обработке слабо или даже с трудом. Однако в том периоде сырого, пластичного состояния глиняного теста, который и использовали металлургами для создания форм, хорошо отмученная глиняная масса позволяла получать точный до мелочей оттиск готового изделия, или его макета-модели, который можно было использовать как составную часть будущей литейной формы.

Отдельные находки литейных форм встречаются в памятниках, однако крупных местонахождений, стоянок, мастерских не так много и относятся они, по преимуществу, либо к поздней поре династии Инь, либо к различным этапам Чжоу (Аньянские находки). Некоторыми данными мы располагаем по Чжэнчжоу, где представлен, кажется, один из древнейших периодов бронзолитейной техники в Китае. И крупный металлообрабатывающий центр, близкий к середине первого тысячелетия до н.э., обнаружен на поселении Хоума (Хэнань). Последний центр характерен тем, что он показывает не только развитие традиционной бронзолитейной техники земледельческих, собственно китайских царств на рубеже эпох Чуньцю и Чжаньго, но и предоставляет данные о взаимодействии этих территорий с окружающим кочевым миром, в который, по всей видимости, отсюда поставляли отдельные, стандартные предметы, связанные с украшениями и вооружением.

Специально разбирать здесь наборы форм изготавливаемых изделий, особенности их орнаментации, ее изменений, вопрос об источниках медного сырья, который пока может разрешаться лишь гипотетически, и многие другие проблемы, очевидно не следует. Основное, что связано с техникой обработки глины, может быть обозначено в следующих положениях. Во-первых, полностью из глины изготавливались литейные формы и все снаряжение, связанное с выполнением отливок. Глиняные формы разви-

вались в направлении все большего дробления их частей, которые могли набираться в различных сочетаниях, что давало возможность достаточно свободно варьировать способы их соединения при изготовлении различных видов изделий [2], в частности, ритуальной посуды, служившей в качестве инструментария при жертвоприношениях и одновременно выполнявшей функции ранговых отличий для представителей разных слоев Чжоуской администрации, ибо посуда эта выполнялась по прямым указаниям вана (в период Западного Чжоу) и только в соответствии с его указаниями распределялась между подданными высоких рангов. Во-вторых, из бронзы же изготавливались наборы музыкальных инструментов, которыми первоначальным велением чжоуского вана наделялись управители областей и земель высокого ранга, а может быть, также и главы крупных патронимий, владевших значительной земельной собственностью. В-третьих, изготавливались наборы вооружения для различных армейских частей, начиная от колесниц и кончая стрелами для луков и арбалетов. Работа литейщиков в этой области, отчасти, отражена в трактате *Каогунци*, описывающем правила, которыми должен был руководствоваться мастер высокой квалификации, чиновник, совершающий административную проверку качества и состояния изделий, производившихся в государственных мастерских [1].

Примечания

1. Кожин П. М. Неолитические прообразы шан-иньской ритуальной посуды // 36-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2006. С. 8—11 ; Его же. Значение керамики в изучении древних этнокультурных процессов // Керамика как исторический источник. Новосибирск, 1989. С. 54—70 ; Его же. Значение орнамента керамики и бронзовых изделий северного Китая в эпохи неолита и бронзы для исследований этногенеза // Этническая история народов Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и средние века. М., 1981. С. 131—161 ; Его же. Типология древней материальной культуры Евразии (неолит — железный век) // Типология основных элементов традиционной культуры. М., 1984. С. 201—220 ; Его же. Значение материальной культуры для диагностики процессов доисторического этногенеза // Историческая динамика расовой и этнической дифференциации населения Азии. М., 1987. С. 80—107 ; Его же. О древних орнаментальных системах Евразии // Этнознаковые функции культуры. М., 1991. С. 129—151 ; Его же. Керамика Гонур-депе // Труды / Маргианская археологическая экспедиция. М., 2008. Т. 2. С. 180—195 ; Кожин П. М.,

Иванова Л. А. Океанийская керамика в собраниях МАЭ // Культура народов Австралии и Океании. Л., 1974. С. 112—126.

2. В предложенную ранее классификацию видов металлообработки, состоящую из пяти различающихся по степени сложности и совершенству процессов типологических уровней металлообработки (Кожин П. М. Этнокультурные контакты населения Евразии в энеолите — раннем железном веке // Палеокультурология и колесный транспорт. Владивосток, 2007. С. 81—82) необходимо ввести еще и шестую типологическую ступень: набор сложно-составных литейных форм из неограниченного числа стандартных деталей, изготовленных из обожженной глины. Соединение этих деталей может осуществляться различными способами, что позволяет значительно варьировать формы размеры и оформление цельнолитых изделий. Очень характерный крупный **раннечжоуский комплекс** литейной мастерской обнаружен в 2000—2001 гг. в окрестностях Аньяна (2000—2001 нянь Аньян Сяоминьтунь дуньнаньди Иньдай чжунун ичжи фацзюэ баогао : [Отчет о раскопках бронзолитейной мастерской Иньского времени в Сяоминьтунь, Аньян] // Каогу сюэбао. 2006. 3. С. 351—384.)

§ 2. Неолитические прообразы шан-иньской ритуальной посуды

Неолитические памятники на севере Китая, т. е. в бассейне Хуанхэ и прилегающих районах, группируются в несколько крупных археологических культур, различных по территории и хронологии (последняя определяется преимущественно методом радиоуглеродной датировки). За годы существования КНР обширные полевые археологические изыскания проводились на многих памятниках и в различных частях территории, но их исследованность не достигла еще того уровня, когда новые находки дают преимущественно серии устойчивых стандартных форм керамической посуды, а ведь именно она является основным материалом культурных слоев неолитических поселений и могильников. Своеобразие новых находок остается порой еще настолько значительным, что напрашивается мысль о возможностях выявления на исследуемой территории новых археологических культур и уж во всяком случае о постоянном уточнении ареалов и пограничий ранее обнаруженных культур. К сожалению, современные публикации не дают возможности выявлять четкие **функциональные комплексы** отдельных культур и на основании стратиграфических условий их залегания строить надежные, археологически обоснованные **типологические колонки**, прослежи-

вающие эволюцию формальных особенностей и технологических характеристик входящих в состав таких комплексов изделий. Здесь следует оговориться, что под функциональным комплексом подразумевается набор предметов, одновременно находившихся в бытовом, социальном и хозяйственном употреблении тех или иных коллективов и стойко консолидированных групп населения. Фактически набор изделий (а также сооружений, материализованных следов обрядов и ритуалов) является прямой основой характеристики этнической культуры древних коллективов, а последовательная хронологическая смена таких комплексов способствует установлению закономерных изменений, отражающих динамику этнокультурного традиционного развития древних групп и коллективов, оставивших соответствующие памятники материальной культуры. Такой идеальной картины непрерывного (без лакун в характеризующем ее археологическом материале) развития всей свиты неолитических культур на китайском материале пока получить не удастся. Поэтому приходится ограничиваться гипотезами, позволяющими с определенной степенью надежности устанавливать последовательность развития неолитических культур от яншаоско-мацзяоского пласта, через определенные (прежде всего хэнаньские) варианты луншаня, корреспондирующего каким-то образом с культурой давэнькоу (особое внимание к последней привлекает наличие там одиночных могил, где в погребальной камере находилось еще и какое-то подобие гроба, вокруг которого, как и в инь-чжоуское время, размещали погребальный инвентарь, и находки триподов с ножками-емкостями), к памятникам шан-иньско-сичжоуского населения, т. е. к культурам, освоившим бронзолитейное ремесло и широко применявшим его в производстве военной техники, вооружений, бытовых и ритуальных изделий. Чтобы не возвращаться здесь к безнадежно запутанной проблеме о возможностях распространения на территории Китая в древности пришлых культур, отмечу лишь два момента, подтверждающих всем историческим прошлым страны.

Во-первых, неолитическое заселение было настолько плотным, что уже в ту эпоху не могло стоять вопроса о его полном исчезновении и замене его какой-то другой, чуждой популяцией. Во-вторых, все внешние инвазии (и инфильтрации) в Китай даже крупных и организованных потоков или единовременных приходов населения кончались растворением прежних групп в мощной туземной среде, что не исключало воздействия культур пришельцев на туземную культуру, где фрагменты и даже целые комплексы

этой пришедшей культуры обретали новую жизнь, все ту же «китайскую специфику». Можно не приводить исторические примеры — они общеизвестны. Поэтому появление на территории Китая культур неолитической «крашеной керамики», бронзолитейного производства и других внешних инноваций лишь деформировало некоторые раннеремесленные отрасли, но не уничтожило хозяйственно-техническую традиционную базу материальной культуры, шире — материального производства. Устойчивость ее коренилась в самой аграрно-хозяйственной основе, определявшей быт и все основные сферы деятельности местного населения. Не оторвав его от земледельческих работ с их монотонно-напряженным непрерывным годичным циклом, нельзя было переменить его психологию, поведение, градостроительную технику и прочие формы культуры. Только мысленный взор ученого-горожанина, оторванного от земли и сельских забот, может углядеть в прошлом те яркие массовые катаклизмы, о которых повествуют летописцы, склонные преувеличивать беды своего времени.

Итак, учитывая стойкость и прочность традиционных основ хозяйственной и производственной жизни древних китайцев, можно прийти к ряду заключений по рассматриваемой тематике. Прежде всего, для китайских неолитических керамических изделий характерны формы с ножками-подставками (при этом почти нет форм, снабженных поддонами, типичных для энеолитических и раннегосударственных культур центра и запада Евразии). Рассматривая северокитайские неолитические культуры обобщенно (считая, что все северные культуры в те или иные моменты находились в разных формах взаимодействия), можно заметить, что повсеместно намечается медленная смена культур, применявших расписную посуду, иными, луншаноидными, использовавшими керамику черного и серого цвета. Это связано с изменением конструкции печей и повышением температуры обжига. Роспись посуды — это сложный процесс, и, учитывая то, что она требует определенных минеральных красителей, больших (для своего времени) физико-химических знаний, ибо минеральные краски меняли при обжиге окраску и плотность, их применение подразумевает использование окислительного обжига и в неолитических условиях, т. е. при невысоких температурах. К тому же расписная посуда появлялась там и тогда, когда земледельческие коллективы, занимаясь освоением новых больших территориальных пространств, вели поиск новых видов и месторождений полезных ископаемых. Оседая на месте, переходя к более стойкой оседлости (земледелие отнюдь не подразумевало абсолютной оседлости),

население начинало пользоваться привычными месторождениями до их полного истощения, а цветные минеральные керамические красители (кроме окислов железа в виде огромного набора легкодоступных минералов, дававших при обжиге черную, разной яркости коричневую и бледно-серую окраску) обычно сопровождали крупные залежи каолиновых глин и при интенсивной эксплуатации месторождений исчерпывались задолго до завершения добычи основного каолинового сырья. Но, конечно, прекращение использования и изготовления крашеной керамики вызывалось прежде всего быстрым ростом популяции и необходимостью интенсификации всех видов подсобного (по отношению к земледелию) ремесленного труда. Вряд ли резко росло производство посуды на душу населения, но душ становилось все больше, и скорость изготовления отдельных изделий росла. До сих пор не ясно время появления гончарного круга в Китае. В шан-иньское время он уже применялся вместе с большим числом сверлильных и различных токарных инструментов, служивших для обработки нефрита, по-видимому, дерева, подготовки керамических форм для отливок крупных бронзовых изделий. Однако интенсивность обработки гончарной глины, ускорение в изготовлении керамики достигались и другими средствами.

К сожалению, в современных методах изучения древнего гончарства (это касается и гончарства неолитических культур на территории нашей страны) в силу объективных причин сложилась ориентация на этнографическое производство с применением гончарного круга и на различные формы моделирования изделий в соответствии с принципами и приемами, «подсказанными здравым смыслом». Вообще, такого рода установка, позволяющая наметить лишь определенный круг возможностей протекания исторических и технических процессов, крайне типична для постмодернистской науки: главное — найти логичное решение. Но логика современного исследователя и древнего жителя земледельческих поселений неравнозначны. Древний человек искал в продукции своего труда надежность, прочность, удобство в применении и все это соотносил с возможностями своей производственной техники.

В технике же гончарства китайского неолита можно отметить следующие стойкие особенности:

- 1) производство посуды путем лепки изделий техникой кольцевого налепа;

- 2) применение к заготовкам, полученным лепкой, техники «наковальни и лопатки», когда с помощью соответствующих ин-

струментов вся поверхность заготовки как бы проковывалась (как при изготовлении металлических чаш и кувшинов переднеазиатскими мастерами), и тем самым изделие обретало новую форму и больший объем;

3) сборка сосудов из частей: отдельно изготавливали части тулова, горловину, дно, а затем все эти части соединяли в единую форму, которую окончательно дорабатывали;

4) широкое применение резки заготовок, в том числе по вертикали. Так поступали с сигарообразными, крупными, узкими сосудами для хранения зерна. Не завершив обработки изделия, у него вырезали один из боков, а затем такие сосуды с вырезанными боками соединяли по трое, и в результате получался треножник-трипод с выпуклыми полыми ножками, верхняя его часть интенсивно дорабатывалась «ковкой».

Собственно, именно эта форма сосудов достаточно точно воспроизводится в бронзе. Ножкам придают порой форму слоновьей или бычьей головы, хотя в неолитических прообразах это решение явно не намечалось.

Характерно также и то, что керамические изделия эпохи бронзы, особенно серии керамики с городища иньской столицы в Аньяне, выражают два направления развития. Одно четко продолжает неолитические традиции: кольцевой налеп, техника «наковальни и лопатки», для которой применялись крупные, массивные грибовидные предметы из обожженной глины с зарубками, покрывающими сеткой рабочую часть — шляпку гриба. Оттиски такой сетки сохраняются на внешних поверхностях стенок глиняных сосудов. Другое направление — это воспроизведение в глине металлической ритуальной посуды.

Однако есть уверенность, что сам процесс изготовления глиняных форм для отливки бронзовых сосудов сохранял многие технические особенности гончарного мастерства неолитической эпохи.

Глава 2

ОБРАБОТКА КАМНЯ

Обработка камня в Китае имеет очень выразительные особенности, связанные с тем, что в древних культурах она обязательно включалась в любые производственные и хозяйственные действия. Но это период, когда камень был основным производственным сырьем и на него ориентировалось все древнее производство, и в частности производство инструментов. В исторический период производство каменных изделий может сохранять ту традиционную специфику обработки сырья, которая сложилась еще в доистории, но основные виды работ с камнем относятся уже к архитектуре, где камень оказывается одним из престижных, долговечных строительных материалов. Либо к прикладным ремесленным производствам, связанным с изготовлением бытовых поделок, хозяйственного, утилитарного или культурно-эстетического, культового назначения. Китай в силу специфики своего геологического строения оказался областью, где очень слабо представлены различного рода кремневые материалы, которые с эпохи каменного века служили в основном для производства каменных орудий труда, инструментов и т. п. В Китае для этих целей употреблялись сланцевые породы, кварциты и прочие материалы, хуже, чем кремний, поддающиеся систематической обработке. Зато среди каменного сырья широко распространены минералы, пригодные для изготовления всевозможных эффективных поделок, имевших обычно культовое, ритуальное назначение: змеевик (серпентин), агальматолит, аргиллит, жадеит, яшмы и нефриты. Эти материалы очень резко различались по способам возможной обработки. Прежде всего, из-за различий в их твердости и особенностях их структуры. Если первые два вида каменного сырья отличались невысокой твердостью (не выше двух баллов по шкале Мосса), то они обладали очень равномерной структурой

и легко поддавались достаточно изощренной художественной обработке. Остальные же указанные здесь виды каменного сырья характеризуются сложной жилватой структурой, создающей внутри самого материала переплетающиеся узлы, благодаря чему заготовки из этих камней, несмотря на их относительно большую твердость (от пяти до семи баллов), способны легко раскалываться от ударов или чрезмерного давления, что затрудняет их обработку. Но именно эти материалы, и особенно нефрит, получили широчайшее распространение в различных видах ритуально-прикладного искусства, начавшего складываться в Китае еще в неолитическое время. В частности, одной из характерных особенностей южных китайских неолитических культур является изготовление различных фигурок и массивных жезлов из нефрита. Фактически уже в неолите достигается достаточно высокий уровень стандартной производственной техники, употребляющейся при работе с нефритовым сырьем. Здесь используется прежде всего пиление, с помощью которого из крупных желваков нефрита получают различного рода столбчатые заготовки, по преимуществу, четырехугольного поперечного сечения, которые затем обрабатываются с помощью пропилов, прорезей, шлифовки и сверления. Эти четыре производственные процедуры сохраняются и совершенствуются в течение всего периода изготовления ремесленных нефритовых поделок. Одной из характернейших черт, связанных с обработкой нефрита, является то, что как редкий и ценный материал его особо берегут, а потому каждая производимая с ним операция предваряется соответствующими точными замерами и разметкой. Причем можно полагать, что в этом производстве складывается своя, автономная система мер, прежде всего линейных, и отчасти площади, за основу которой принимается ширина лезвий применяемых инструментов или диаметр сверл. Если на неолитических изделиях все эти моменты может быть и не так ярко и выразительно заметны, то на продукции эпохи бронзы они отразились очень ясно. Дело в том, что очень рано нефрит, в силу его социальной престижности, начал использоваться для имитации металлических изделий. Так, значительную серию нефритовых предметов, подражающих металлу, можно видеть среди материалов из гробницы Фу Хао. Именно в этом погребальном памятнике видно, что обработка нефрита стала в некотором роде эталоном для работы не только с другими видами каменного сырья, но и для работы с костяным сырьем, со слоновьей костью. Очевидно, все эти производства в период иньской столицы были объединены в группу единых мастерских, произво-

дящих большие объемы престижной продукции, необходимой для обслуживания правящей верхушки иньского государства. Явно, что производимые здесь предметы, помимо ритуального значения, в большинстве своем были и знаками определенных социальных и управленческих рангов. В Китае на всем протяжении письменной истории постоянно заметно подчеркивание ранговых и чиновных различий с помощью своеобразных материальных знаков. При этом знаки, изготовленные из камня, всегда занимали особое место.

Говоря о воспроизведении в камне металлических прототипов, особо следует обратить внимание на определенные специфические особенности этих металлических изделий. Так, из камня выполняются разные виды сосудов, подражающих металлическим, и в группе сосудов на поддонах можно увидеть, как на боковых стенках поддона с двух противоположащих сторон прорезаются сквозные, крестовидно размещенные щели, вертикальные и горизонтальные. На металлических изделиях такие щели достаточно типичны, ибо они отмечают места, где тело сердечника формы должно опираться на внешние створки этой самой формы для того, чтобы между сердечником и внешней формой получать равномерный зазор, определяющей толщину стенок будущего литого изделия. Так, крестовидные вырезы, выполненные на бронзовом изделии, уже не несут на себе никакой функциональной нагрузки, но их сохраняют, по-видимому, считая, что само по себе их наличие является каким-то признаком высокого качества, престижности и полезности изделия. Собственно, этот момент очень отчетливо продолжал проявляться при начале на Востоке производства европейских изделий, когда какие-нибудь шнуры или узлы из промышленной упаковки, использовавшейся для пересылки, воспроизводились, к примеру, на изготавливаемых в Японии копиях этих изделий [2]. На каменных изделиях с невероятной дотошностью воспроизводится орнамент, обычный для бронзовых сосудов. Впрочем, история этого орнамента, типичных многорядных завитков, размещенных в квадратном поле, связана с еще более глубокими проявлениями заимствований, ибо эти завитки первоначально выполнялись на дереве, а затем стали воспроизводиться на глиняных литейных формах. При изучении нефритовых изделий, в частности, нефритовой скульптуры (птицы, люди и т. п.), можно отметить, что в основе всякого изделия, как и ранее, лежит брусок заготовки, которая подвергалась различным пропилам, формировавшим будущую поверхность скульптуры. Наиболее значительные углубления в рельефе

скульптуры получались сочетанием сверлин с глубокими пропилами или прорезами. В этом смысле крайне важно отметить, что техника иньских гаданий на панцирях черепах и лопаточных костях крупного рогатого скота, полностью была связана с предварительной обработкой костного материала с помощью сверлин, каждую из которых обязательно сопровождал выполненный рядом глубокий прорез или пропилил [3]. Видимо, технически работа с камнем и костью развивались в тесной взаимосвязи.

Примечания

1. Наблюдения выполнялись, преимущественно, по материалам памятников Иньской Столицы в окрестностях Аньяна.

2. Титаренко М. Л. Глобализация : проблемы становления глобальной цивилизации и взаимоотношений цивилизаций Западного и Восточного типа // 7-я всероссийская конференция «Философия Восточно-Азиатского региона и современная цивилизация». М., 2001. С. 10.

3. Кожин П. М. *Disciplina sinica* // 16-я научная конференция «Общество и государство в Китае». 1985. Ч. 1. С. 3—7.

Глава 3

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РИТУАЛОВ

§ 1. Об иньских и чжоуских бронзовых ритуальных котлах

Некоторые проблемы технологии

Разнообразие форм и разновидностей иньской и чжоуской бронзовой ритуальной утвари крайне велико. Обширна и литература, посвященная разным аспектам ее изучения. Уже с глубокой старины особое внимание привлекали многочисленные разновидности бронзовых сосудов и котлов. Их изучение, благодаря разного рода текстам на них, отразилось в древнейших исторических сочинениях (*Шан шу* и др.). Использование их в различных ритуалах, связанных с культом предков, начиная от государственных обрядов и кончая сельскими родовыми, способствовало появлению многообразной специальной терминологии, что нашло отражение в древних ритуальных книгах *Лици* и *Чжоули*.

С изучением ритуальных сосудов связан широкий круг исследований:

1. Технологическое направление исследований. Его задачи и важнейшие аспекты уже давно сформулированы Н. Барнардом [1] и состоят в изучении: состава древних бронз; способов изготовления форм и моделей; процесса литья; обработки готовых изделий; разновидностей изделий, их пропорций, соотношений орнаментов и пр.

2. Типолого-искусствоведческое направление имеет своей целью изучение: вариантов формы и орнамента в их развитии; хронологии стилей орнаментации; сюжетов и композиций; смы-

слового содержания скульптурных и барельефных изображений на сосудах.

3. Историко-лингвистическое направление связано с изучением в первую очередь надписей на сосудах с целью: уяснения или выявления исторических фактов или событий; проверки сообщений поздних исторических источников; определения этапов развития письменного языка; эволюции древней письменности; реальной политической структуры общества эпохи бронзы.

4. Этнографическое направление. Его задачами являются: выяснение соотношения ритуальной посуды с другими видами древнекитайской материальной культуры; выяснение этнографических особенностей обрядов и ритуалов, в которых эта утварь применялась, а также способов и значения применения данных сосудов; установление происхождения указанных обрядов, а также их судеб в последующем этнокультурном развитии Китая, т. е. в некотором роде выяснение этнокультурной непрерывности в сложении и развитии древнекитайской цивилизации; выяснение социальных корней и культурно-хозяйственных основ обрядовой специфики.

Этот схематический и далеко не полный обзор проблематики можно дополнить еще одним крайне важным, но малоразработанным вопросом, касающимся установления источников происхождения и прообразов бронзовой посуды. Выяснение данной проблемы может способствовать разрешению вопроса о начале бронзового века в Китае — о его самостоятельном, автохтонном возникновении либо о каком-то сложном процессе заимствования извне металлургии бронзы и ряда связанных с нею культурных достижений.

Трудности в определении происхождения бронзовой культуры в бассейне Хуанхэ в значительной мере обусловлены состоянием археологических исследований в Китае, где систематические раскопки археологических памятников начались сравнительно недавно, материалы публикуются в незначительном количестве, качество полевых работ неодинаково, а обследование территории далеко не равномерно. Не равноценен и методико-теоретический уровень интерпретаций и обобщений, что, в свою очередь, затрудняет правильный выбор перспективных объектов для будущих полевых исследований [2]. Эти обстоятельства при каждой новой постановке проблемы о происхождении бронзовых котлов, а следовательно, и металлургии бронзы, вынуждают обращаться к рассмотрению некоторых формальных и технологических моментов, которые могут быть установлены и прове-

рены на материале самих этих котлов, а также путем сравнения полученных данных с развитием бронзолитейного производства других территорий.

Прежде всего, необходимо определить основные особенности ведущих форм иньских и раннечжоуских бронзовых сосудов, которые в целом образуют сравнительно монолитную группу изделий, в значительной мере отличных от позднечжоуских и прочих предциньских форм.

Для крупных форм сосудов сравнительно часто бывают характерны высокие массивные ручки, выступающие над верхней закраиной сосуда и имеющие U-образную форму. Многочисленны сосуды прямоугольных и квадратных форм, причем преобладают среди них сосуды, стоящие на четырех массивных ножках. Встречаются формы и в виде сундучка на подставке, а также сложные формы, состоящие из верхнего сосуда и отлитого вместе с ним столика, на котором он утверждён. Стенки прямоугольных в плане котлов представляют собою плоские панели с барельефными изображениями на них; сундучки могут иметь стенки, набранные из нескольких плоских панелей, расположенных друг над другом и разделенных по горизонтали желобчатыми пазами; на углах панелей в месте их сочленения друг с другом выступают узкие вертикальные стойки, иногда расчлененные на несколько вертикальных частей сквозными прорезами. Такие же стойки встречаются и на серединах панелей, а иногда располагаются и в верхних частях ножек треножников. Круглые в плане сосуды обычно представляет собою глубокий таз, миску, горшок с низким туловом и прямой невысокой шейкой. Особые виды образуют высокие узкие бокалы с раструбами наверху и внизу, а также колоколовидные формы. К числу последних помимо крупных экземпляров принадлежат и мелкие сосуды с устьем сложной конфигурации, получающейся за счет оформления на них слива, а также в связи с тем, что к ним плотно пригоняется крышка, представляющая собою обычно скульптурное изображение птицы. Особую разновидность сосудов представляют триподы.

Украшения делятся на скульптурные, барельефные, резные на плоской поверхности. Эти виды могут встречаться как совместно на одном изделии, где они дополняют друг друга, так и изолированно. Скульптура и барельефы связаны с зооморфными сюжетами. Плоскостная орнаментация в основном абстрактно-геометрична.

Этот многообразный набор бронзовых изделий сложился не сам по себе, у всех этих изделий должны быть прототипы, и

было бы вполне закономерно искать эти прототипы в керамических изделиях, относящихся к эпохам, предшествующим бронзовой. Отсутствие на керамике ручек-ушек вполне естественно. Эти ручки, выполненные в глине, не могли быть эффективны при транспортировке крупных глиняных сосудов с помощью продетых в ручки шестов. Глиняные ручки обламывались бы от чрезмерной нагрузки. Более значительным показателем отличий является отсутствие в ранней керамике форм с прямоугольными и квадратными очертаниями. Практически нельзя подыскать в древней керамике прямых прототипов и колоколовидным формам бронзовых-сосудов и формам горшковидным. Лишь бокалы с раструбами да триподы имеют некоторые аналогии в неолитических и энеолитических культурах.

Еще большие различия в некоторых технических особенностях древней керамики и ее украшениях. Так, изготовление сосудов из отдельных частей, а не просто ленточным налепом — наиболее характерно для китайской древней керамики, к тому же при ее производстве широко применялась выделка с помощью наковальни и лопатки (количество обнаруженных керамических наковален с плоской и рубчатой поверхностью сравнительно велико). Именно эти приемы выделки и лепки определили особенности некоторых форм керамических изделий в культуре Луньшань и ее разновидностях и дериватах: многие изделия, выполненные в этой технике, похожи на подражания металлической кованой посуде. Довольно редко в центральных внутренних районах Китая изготавливались составные формы керамики, исключая триподы. Восточные же разновидности составных неолитических сосудов, ведущие происхождение в основном из приморских провинций, совершенно не похожи на бронзовые сосуды (см., например, плоские блюда на высоком цилиндрическом ажурном поддоне из Давэнькоу и других пунктов). Ничто, кроме каннелюр, не сближает орнаментацию ранних бронзовых изделий с геометрическими, спирально-волнистыми или угловато-ломаными разновидностями расписных и рельефно-налепных орнаментов на керамике. Таким образом, можно утверждать, что в керамическом производстве прототипы бронзовой ритуальной посуды найдены быть не могут. Это утверждение тем более убедительно, что с момента появления бронзовой утвари ее очень активно начинают копировать в глине. Очевидно, вопрос о прототипах бронзовых котлов и причинах их появления в качестве ритуальной утвари пока приходится решать лишь на основе изучения самих сосудов.

Для бронзолитейного производства древности, как, впрочем, и большинства древних производств, связанных с определенными этническими традициями, характерно сохранение в оформлении изделий в течение очень длительного времени следов различного рода производственных приемов, давно уже вышедших в данной категории изделий из употребления, но сохраняющихся как реликтовый орнамент или детали, потерявшие конструктивное назначение, а потому постепенно претерпевающие самые разнообразные, подчас бессмысленные трансформации. Так, в курганах пазырыкского типа на Алтае встречаются украшения, выполненные из распрявленного рогового покрова конского копыта. Это сравнительно крупные овальные пластины с рельефным орнаментом на них. Они украшали сбрую лошадей. Начало массового изготовления сбруйных наборов для похоронных кортежей горноалтайских племенных вождей вызвало необходимость в замене некоторых дефицитных материалов, каким, в частности, являлись конские копыта (по указанию Павсания пластины из них шли также на изготовление панцирей), более дешевыми и легче обрабатываемыми. Заменителем стал кедр, из которого резали аналогичные по форме и размерам детали сбруи. Характерно, что и некоторые металлические украшения повторяют все ту же конфигурацию развернутого конского копыта. Рукояти отдельных карасукских кинжалов украшены рядами выпуклин. Эти выпуклины воспроизводят в литье заклепки, применявшиеся ранее для закрепления рукояти. Дуги «моделей ярм» карасукской культуры украшены рядами овальных выступов по выпуклому краю. Это реликт, оставшийся от времени, когда эти дуги клепали из свернутого в трубку бронзового листа и затем закрепляли на центральной пластине с помощью особо массивных и высоких заклепок. Монтелиус приводит пример, когда проволочная обмотка, закреплявшая топор на деревянной рукояти, по мере совершенствования производства превратилась во втулку топора с ребристой поверхностью. Что же касается бронзовых литых изделий с различными рельефными украшениями, то это неисчерпаемый свод технологических наблюдений, основанных на реликтах технологий. В связи с этим очень важной представляется сравнительно давняя попытка связать бронзовые чжоуские колокола с деревянными прототипами. Она позволяет оценить возможности происхождения инь-чжоуских ритуальных сосудов от деревянных прототипов.

Во-первых, это подтверждает прямоугольная «ящичная» форма отдельных котлов. Характерно, что именно котлы-«ящички»

бывают украшены по боковым и нижним краям каждой стенки-панели рядами круглых высоких выступов, которые могут восприниматься как имитация головок гвоздей, укреплявших обивку стенок. Во-вторых, на такую возможность указывает необычное оформление углов котла вертикальными планками, выступающими наружу. Вопрос о заделке углов у деревянных срубов и изделий решался до окончательной выработки стандартных приемов деревообработки более разнообразными способами, чем ныне. В частности, монументальные срубы курганов скифского времени в Центральном Казахстане характерны тем, что их стенки поддерживаются вертикально вбитыми вдоль них с двух сторон (и, в частности, по углам) столбами. Друг к другу эти стенки прислонены, но не перевязаны. Вертикальные стойки на котлах позволяють реконструировать способ сочленения стенок довольно различными способами — и с помощью вставных шипов, и с помощью пазов. В-третьих, о наличии деревянного прототипа непосредственно свидетельствует столик, отлитый совместно с шаровидным сосудом на поддоне и с низкой шейкой. Массивные ножки этого столика связаны под столешницей еще и бронзовыми пластинами, воспроизводящими деревянную обрешетку. В-четвертых, сам способ укрепления ножек под днищем котлов напоминает формы распространенных в кочевом мире низких деревянных столиков для еды. В-пятых, на это могут указывать некоторые особенности изображений масок таоте — низкий рельеф изображений, их отделка резьбой, наличие плоских граней у некоторых личин, выступающих над поверхностью основных рельефов, и т. д.

Отметим, что резные деревянные панно с барельефами обнаруживаются на Кавказе и в Калмыкии, в курганах бронзового века, где они украшают стенки повозок. Характерно, что многовитковые меандры и спирали, напоминающие те, которые образуют фон многих барельефных композиций на бронзовых сосудах, имеют параллели в различного рода аппликациях, выполняющихся кочевым населением на различных изделиях. Но особенно большое значение при исследовании прототипов и происхождения бронзовых котлов приходится придавать так называемым маскам *тао-те*. Соединение в них лицевого изображения с двумя профилями фигуры, что практически не имеет аналогий в изобразительном искусстве Китая, заставляет опять же вспомнить о приемах изготовления различного рода аппликаций из кошмы, распространенных в евразийских кочевых обществах. Эти аппликации часто затем копировались на деревянных предметах. Именно для такого рода произведений характерны

зеркальная симметрия изображений и довольно однообразный набор персонажей — быков и баранов. А при типологическом анализе звериных масок на сосудах эпохи Инь-Чжоу именно бык и баран выявляются в качестве основных прообразов этих масок; в *Шицзине* также бык и баран оказываются основными видами жертвенных животных.

Очень важное наблюдение можно сделать при сравнении способа начертания надписей на глиняных моделях для котлов и выполнением орнаментальных мотивов. Знаки надписей прочерчиваются, что является обычным приемом работы по сырой и пластичной глине. Именно благодаря использованию для письма пластичного материала вырабатывается свободная и мягкая форма знаков, отличная от надписей на гадательных костях. Прием прочерчивания, а не гравирования знаков проходит почти через всю чжоускую эпоху, а гравирование в новых, отличных от гадательных костей, формах возрождается с появлением надписей, выполненных уже непосредственно на металле стальным резцом. Орнаментальные же узоры на глиняных моделях бронзовых сосудов вырезывались по подсохшей глине, а затем некоторые их части подвергались шлифовке, лощению. Эти приемы находят близкие аналогии, в частности, в выполнении в глине архитектурных украшений, восходящих по своим формам и узорам к деревянным прототипам.

В керамическом производстве Древнего Китая, да и вообще в его земледельческой культуре неолитического и энеолитического времени отсутствовали основные предпосылки, на основе которых могли сложиться специфические формы бронзовых котлов и их украшений, появляющиеся в эпоху Инь-Чжоу. Некоторые моменты (скотоводческая символика, характер прототипов котлов, техника бронзового литья) позволяют связывать происхождение этих котлов с евразийским степным кочевым миром. Не противоречит такому мнению и самое применение котлов в ритуальных целях. Например, отливка котлов для девяти областей Китая вполне может быть типологически сопоставлена с отливкой котла, символизирующего единство скифского народа, или с котлами, применявшимися в ежегодных скифских дружинных празднествах. Именно в евразийской кочевой среде котлы очень рано приобрели особое социальное значение — не только как символы государственного единства и знаки территориально-воинской инвеституры, но и как символический показатель единства крупных семейных объединений, так или иначе сходных с патронимией. Вся символика котлов в высшем соци-

альном плане, связанная с обрядами возжигания огня, с молениями о дожде, о прекращении эпидемий, с воинскими объединениями, восходит к семейно-родовой символике кочевых коллективов.

Примечания

1. Barnard N. Bronze Castings and Bronze Alloys in Ancient China. Tokyo, 1961.

2. Стратанович Г. Г. Проблемы истории «Китая» и культуры «китайцев» периода Чжоу : историческая периодизация, достоверность источников, генезис южной бронзы // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977. С. 258—264.

§ 2. Разновидности бронзовой ритуальной посуды шан-чжоуской эпохи

В указанной тематике за последние десятилетия не намечается заметного прогресса [1]. Конечно, появилось немало публикаций, посвященных новым находкам котлов и разнообразных комплексов с котлами, много внимания было уделено изучению эпиграфических текстов на котлах [2], открыты новые памятники, характеризующие процесс производства бронзовой ритуальной утвари [3], но многие принципиальные вопросы, касающиеся этой массовой продукции [4], по-прежнему не разрешены, а многие, возникающие в связи с появлением новых фактических материалов, даже не поставлены. В частности, никакого серьезного развития не получили темы происхождения китайской культуры бронзовой эпохи, начала обработки меди в Китае, происхождения местных ритуалов и культов, связанных с использованием металлических изделий. Сейчас, когда количество бронзовых изделий, обнаруженных преимущественно при систематических научных раскопках, возросло на порядки по сравнению с данными сводок Чжэнь Дэкуня и Ли Цзи, очевидно, предстоит возвращаться к непосредственному изучению самих новых находок, к анализу условий, в которых они обнаружены, к сопровождающему их инвентарю, к индивидуальным особенностям комплексов, их временной и территориально-региональной специфике. И вряд ли новые находки могли не отразиться на значимости авторитет-

ных заключений специалистов прошлого, не обладавших той мощной фактологической и вещественной базой, которую создали археологи КНР.

Конечно, одним из основных требующих уточнения, а порою и нового принципиального решения вопросов остается хронология ритуальной посуды, которая строится поныне на схеме, заданной еще исследованиями Го Можо [5], где в общем плане определения возраста опирались на специфику форм сосудов, стилистику орнаментации и отчасти содержание эпитафических текстов. Этот несомненно перспективный и рациональный путь исследования (уже в период публикации его следовало дополнить палеографическими наблюдениями и анализом ритуально-административных формул надписей) требовал последовательной комплексной проработки данных по каждому ритуальному изделию и тщательного изучения групп сосудов, входивших в единые функциональные комплексы (как показывают материалы кладов бронзовой посуды из у. Фуфэн, Шэньси, в их состав могли входить изделия, значительно различающиеся по времени изготовления) [6]. Однако в исследовании Го Можо наибольшее внимание было уделено самой расшифровке и толкованию надписей, которые искусственно были отделены от вопросов специфики оформления сосудов и их возможного ритуального и социального значения. Во всяком случае и ныне нельзя быть уверенными в несомненной принадлежности ко времени того или иного вана (тронные или какие-то иные имена их в текстах не указываются) всех, даже датированных годами царствований изделий. Собственно, в самом общем плане должен быть поставлен вопрос о том, с какого именно правления прекращается практика регулярных инвеститурных пожалований от имени вана, а также исчезает упоминание вана в надписях на сосудах, жалуемых подданным за особые заслуги, наряду с переходом от прославления предков к пожеланиям благоденствия сыновьям и внукам [7]. Возможно, именно эти изменения маркируют переход к Восточному Чжоу, к эпохе Чуньцю. Причем нельзя исключать, что начало обособления удельных владений от Чжоуского домена, период, связанный с активными проявлениями политической смуты, мог сопровождаться изготовлением поддельных инвеститурных и наградных ритуальных изделий (что неизбежно отразилось на текстах, в частности, могли разрушаться стереотипы в формулах дарения, почетных наименованиях и т. п.), что должно было повышать самооценку вновь выдвинувшихся полузаконных сюзеренов (обычно состоявших в ранге *гун*ов, а в эпоху Чжаньго присвоивших себе в

основном ранг *ванов*, уравнивающий их по статусу с чжоуским правителем) и, как им могло казаться, их престиж в ряду аналогичных феодальных правителей [8].

Металлическая посуда так или иначе была представлена во всех дворцовых и храмовых ритуальных действиях правящей верхушки всех уровней. «Девять *динов*» [9] символизировали китайское государство с древности, а их опрокидывание, т. е. прекращение династийных жертвоприношений, означало смену династии вследствие потери ею «небесного приказа на управление» (*тяньмин*). Однако данные о реальном виде этих сосудов отсутствуют. Возможно, они были описаны в шестом, утраченном, разделе *Чжоули*. Также возможно, что каждый крупный административный регион обозначался котлом особой формы (косвенно на это, возможно, указывают иероглифические обозначения стран света).

Особо важным остается вопрос о самих функциональных комплексах этой посуды и принципах их формирования. Здесь необходимо оценивать вероятность достаточно большого разнообразия подходов к формированию таких комплексов в связи с очевидными изменениями ритуалов и обрядов на протяжении более чем тысячелетней шан-чжоуской истории. В связи с этим приходится учитывать: а) определялся ли набор посуды тем кругом ритуалов, которые с помощью именно этих сосудов осуществлялись; б) были ли различия в комплексах посуды, скажем, между храмами, посвященными отдельным божествам, стихийным силам, предкам, Небу, Земле, Плодородию и т. д.; в) был ли какой-то столичный общегосударственный храм, в котором могли быть представлены все синхронные (в пределах актуальных для каждого отдельного исторического этапа обрядов) разновидности ритуальной посуды; г) распределялась ли посуда в таком храме по отдельным алтарям или одни и те же сосуды употреблялись по мере надобности в разных обрядах; д) в какие храмы помещали инвеститурные, наградные, мемориальные, содержащие законодательные и владельческие инскрипции сосуды, особенно после того, как их надписи перестали исключительно посвящаться прославлению предков. Практически, ни на один из вопросов этого далеко не исчерпывающего списка мы пока не можем получить однозначного ответа (а если брать весь тысячелетний исторический период, то однозначного ответа могло и не быть вовсе).

Аналогичные неопределенности возникают при любой попытке подробной классификации разновидностей форм самих ритуальных сосудов [10]. Если исключить из общей классификацион-

ной шкалы достаточно однородную группу треножников из комплексов Эрлитоу (их можно учитывать в качестве прообразов отдельных более поздних форм) и группы тонкостенных позднечжоуских сосудов на низких конусовидных поддонах и с туловом, в профиль напоминающем сплюснутый шар (основная масса их уже приходится на эпоху Чжаньго), а также формы посуды, подобные находкам из могилы 1, Лейгудун, Хунань (могила Цзэнского хоу И), то в основу классификации можно положить несколько основных принципов: сосуды можно различать по формам их емкостей, по форме дна емкости (круглое, уплощенное или плоское дно), по наличию различных видов ножек-подставок, по использованию поддонов и, наконец, по оформлению горловины или, в целом, верхней части емкости-тулова. Если максимально сузить количество показателей, на основе которых выделяются отдельные виды сосудов, то можно свести количество этих основных видов не более чем к десяти основным формам (сразу оговариваюсь, что основное внимание уделялось особенностям формы самого тулова, остальные признаки рассматривались как различия второго порядка).

Итак, при вышеуказанном подходе можно выделить следующие наиболее общие разновидности ритуальной посуды:

1) прямоугольные в плане и профиле, напоминающие ящик, часто очень большие сосуды на четырех ножках, располагавшихся под плоским основанием по краям. Сосуды имели на противоположащих коротких сторонах массивные ручки-скобы. Сами ножки явно воспроизводили в скульптуре головы крупных животных, видимо, быков, уткнувшихся носами в пол. Со временем скульптурная рельефность сглаживалась и оставался лишь геометрический орнамент, который быстро деградировал. До недавнего времени единственными евразийскими аналогиями этой форме сосудов оставались каменные жертвенники значительно более поздней скифско-савроматской эпохи. Теперь глиняные «модельки» жертвенников, близких по форме и украшенных по боковым стенкам головами баранов и извивающимися змеями, обнаружены в могильнике «раннего бронзового века» в Юго-Западной Туркмении (могильник Пархай II) [11]. Естественно, здесь не может идти речь о прямом заимствовании китайских котлов из Западной Азии, но это первое ясное указание на наличие в Средней — Центральной Азии какой-то протокультуры, породившей как западную, так и восточную ветви развития этих изделий. Наличие белых пятен в археологическом обследовании огромных территориальных пространств сухих степей, пустынь,

полупустынь и предгорий Азии подтвердили недавние открытия в Кара-кумах, в дельте и бассейне реки Мургаб памятников новой вторичной цивилизации, тесно связанной своими корнями и постоянными контактами с основными синхронными культурами Древнего Востока от Сирии до Северной Индии [12];

2) четырехугольные сосуды в виде высоких коробок с «двухскатной» крышкой и слабовыраженным поддоном [13];

3) круглодонные, с полушарным основанием, часто переходящим в цилиндрические стенки, и, обычно, тремя ножками, различным образом оформленными. Это могут быть треугольные в сечении и заостренные на концах ножки, и круглые прямые, и пластинчатые фигурные (Шс, 20, 25, 88, 104, 115 и др.);

4) сосуды, составленные из трех соединенных воедино емкостей, каждая из которых напоминала голову слона, обращенную хоботом к земле [14]. Над вышеуказанной емкостью могла располагаться горловина или даже котловидная емкость значительного размера;

5) некрупные сосуды на трех высоких ножках либо котловидной формы с круглым дном, либо имеющие в нижней части невысокую плоскодонную емкость с сужающимися от дна боками, переходящими в высокую воронку, расширяющуюся к устью. В плане венчиковая часть сосуда (собственно устье) имеет с одной стороны длинный клювовидный, открытый сверху слив, а с противоположной ему стороны верхняя часть воронки имеет треугольное расширение, таким образом, при взгляде сверху, устье сосуда смотрится, как круг, у которого по линии диаметра с одного боку размещен длинный желобчатый выступ, а с противоположной ему стороны окружность переходит в глубокий треугольный выступ. При взгляде сбоку противоположные по этому диаметру края устья возвышаются над его средней частью. По обе стороны от слива расположены гвоздевидные вертикальные выступы, завершающиеся широкими круглыми шляпками — это «художественно оформленные» обрубки литников. Сбоку на сосудах вертикально располагается скобчатая ручка. Эта форма сосудов часто снабжалась крышкой в виде скульптуры полуфантастического хищника [15]. Именно эта форма является типологическим развитием бронзовых сосудов из Эрлитоу (Шс, 12, 46, 49, 54, 85, 117, 121 и др.);

б) высокие трубчатые сосуды. Верхняя часть трубки является емкостью, а нижняя — поддоном, в котором всегда имеются крестообразные отверстия, оставленные распорками, удерживавшими сердечник литейной формы в правильном по отношению к е

внешней «мантии» положении, т. е. таким образом, чтобы между сердечником и «мантией» оставался равномерный зазор, который беспрепятственно заполнялся расплавленным металлом. Эти сосуды имеют две легкоразличимые разновидности: широкую, относительно низкую, и узкую высокую. Первоначально я считал, что обе они воспроизводят соседние колена бамбука, а дно сосуда подобно внутренней горизонтальной перегородке между коленами. Эта версия вполне закономерна, но в оформлении узких трубчатых форм угадывается какая-то связь с формой слоновьего хобота. Характерно, что верхние части этих сосудов снабжены графическим орнаментом в виде высоких узких треугольников с выпуклыми боковыми сторонами. При просмотре больших серий изделий становится ясно, что они схематично воспроизводят слоновьи головы, на которых с боков, опять же очень схематично, переданы слегка выступающие за линию треугольников бивни. На поздних экземплярах треугольники обретают прямолинейные очертания, а «клыки» в боковых сторонах исчезают. Вопрос о частом появлении скульптурных изображений слонов (причем нередко весьма реалистичных) в оформлении многих видов ритуальной утвари (см.: Elephant Tomb и другие находки) может оказаться столь же значимым для выяснения происхождения «бронзовой культуры Древнего Китая» (так называлась одна из монографий епископа Уайта) [16], как распространение раковин каури, обработки слоновой кости и инкрустации бирюзой врезанных линейных орнаментов. Небольшое расширение в средней части сосудов, под которым обычно начинается поддон, сближает форму их емкости (исключая устьевую часть, представляющую собою раструб круглый в плане) с профилями емкостей предыдущей, пятой, формы (Шс., рис. 71, 118, 69, 95 и др.);

7) кувшинообразные высокие сосуды, либо плоскодонные, либо на поддоне, чаще всего снабженные барельефным либо графическим изображением «масок *таоме*». Некоторые из них имеют квадратное сечение в плане и сложную конструкцию верхней части и крышки (Шс., рис. 331 и др.);

8) горшковидные сосуды с невысокой расширяющейся к устью шейкой и туловом в виде приплюснутого шара, могут иметь либо три ножки, либо круглый невысокий поддон, либо поддон в виде квадратного ящичка (Шс., 1У, 34, 55, 112 и др.). Эта форма ближе всего соответствует центральноазиатским и сибирским сосудам, происходящим из комплексов культур, так называемого «карасукского круга», в которых встречаются также ножи, кинжалы, «модели ярм», сопоставимые и часто сопостав-

ляемые с инь-чжоускими изделиями [17]. К этому же виду могут быть отнесены горшки с шарообразным туловом и невысокой шейкой, снабженные плотно закрывающей устье крышкой, с прямым высоким краем, охватывающим устье сосуда, и округлым сводчатым верхом, в середине которого располагается на невысоком штыре пуговицеобразная или катушкообразная ручка. У этих сосудов имеются два противоположащих маленьких скобчатых ушка, через которые продета толстая изогнутая ручка из скрученной проволоки (Шс., рис. 249);

9) плоские широкие круглые или овальные блюда на поддоне (Шс, рис. 24 и др.).

Возможны, конечно, и более дробные деления, выявление дополнительных разновидностей в вышеуказанных видах, фиксация уникальных образцов, которые в дальнейшем, при пополнении коллекций новыми полевыми материалами, смогут образовывать новые серии, выделение которых ныне представляется мне преждевременным. Полагаю, что предложенная достаточно обобщенная разбивка ритуальной шан-чжоуской посуды на виды и разновидности поможет сформировать серии, в которых выявятся типологические ряды, являющиеся прямыми индикаторами развития производственной и технологической культуры населения Северного Китая в эпоху бронзы [18].

Примечания

1. Кожин П. М. Об иньских и чжоуских бронзовых ритуальных котлах / некоторые проблемы технологии // 9-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1978. Ч. 1. С. 40—49.

2. Крюков В. М. Ритуальная коммуникация в древнем Китае. М., 1997 ; Его же. Текст и ритуал. Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. М., 2000 ; Shaughnessy E. L. Sources of Western Zhou History : inscribed bronze Vessels. Berkeley. L.A., 1991.

3. В том числе крупная бронзолитейная мастерская к юго-востоку от д. Сяоминьтун, Аньян.

Благодарю М. Е. Кузнецову-Фетисову за предоставление данных об этом памятнике: 2000—2001-нянь Аньян, Сяоминьтун дуннань ди Иньдай чжунтун ичжи фачжань баогао : Отчет о раскопках в Аньяне, к Ю.-З. от д. Сяоминьтун иньской литейной мастерской в 2000—2001 гг. // Каогу сюэбао. 2006. 3. С. 351—384.

4. Сам по себе рост числа находок указывает на большую численность этой продукции в древности. Существуют определенные корреляционные

соотношения между произведенной и бывшей в употреблении продукцией и численностью случайных и археологических находок, но они определяются особо для отдельных археологических культур, территорий и временных периодов, с учетом демографических и хозяйственных факторов последующих за изучаемым периодом эпох и интенсивности современных научных полевых исследований. Ряд факторов, имеющих отношение к показателям массовости этих изделий, могут быть уточнены при анализе социального строя в данной территориальной популяции и функций этой продукции в административно-бюрократической и ритуальной практике правящей верхушки тогдашнего общества. См.: Кожин П. М. Этнокультурные контакты населения Евразии в энеолите — раннем железном веке : Палеокультурология и колесный транспорт. Владивосток, 2007. С. 23, 236.

5. Го Можо. Лян Чжоуцзиньвэнь цы даси : Свод надписей на бронзе времени обоих Чжоу. Пекин, 1958. Т. 1—8 ; Его же. Инь Чжоу цинтунци миньвэнь яньцзю : Исследование Инь — Чжоуских надписей на бронзовых изделиях. Пекин, 1961.

Следует, конечно, отметить, что ко времени публикаций работ Го Можо количество находок комплексов бронзовых изделий, связанных с одновременным их захоронением, было еще сравнительно небольшим.

6. Крюков В. М. Надписи на западножоуских бронзовых сосудах из Фуфэна (КНР) // Вестник древней истории. 1988. Т. 1

7. Кожин П. М. «Сыновья и внуки будут вечно пользоваться ...» // 30-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2000. С. 19—22.

8. Я не использую здесь термин «феодализм» в расширительном значении показателя какой-то особой государственно-политической и социально-экономической «формации», а сохраняю за ним изначальный смысл, подразумевающий создание относительно устойчивой в пространстве и во времени системы владений (уделов, феодалов), находящихся хотя бы под номинальной юрисдикцией верховного сюзерена, при условии, что все владельцы феодалов имели общепризнанные в пределах данного территориально-политического единства определенные ранги, указывающие их статус среди других владельцев, по отношению к которым они обладали соответствующими вассальными обязательствами или сюзеренными правами. Уже Ван Тао, китайский консультант Дж. Легга, стал проводить прямое сравнение между этой системой политических отношений средневековой Европы и Китаем периода Восточного Чжоу, делая вывод об историческом превосходстве политического строя своей страны, которая преодолела феодальную раздробленность более чем за два века до н.э. Вряд ли здесь уместно обращаться к последующим «марксистским» дискуссиям о незыблемом порядке смены «социально-экономических формаций».

9. В дальнейшем при описании металлических сосудов я не использую иероглифическую терминологию. Это объясняется тем, что, в частности, термин *дин*, переводимый как «треножник, треножный котел», объединяет сосуды и на четырех ножках, и с различной формой тулова-емкости. Каки-

ми могут быть изменения обозначений в отношении других достаточно многочисленных видов сосудов — это вопрос, который должен стать предметом специального исследования.

10. О классификации орнаментальных схем (ср.: Каогу сюэбао. 1990. 2. С. 137—168) и их фракций, пока не выполнена рациональная обработка форм, просто преждевременно говорить.

11. Хлопин И. Н. Эпоха бронзы Юго-Западного Туркменистана. СПб., 2002. С. 84—97, табл. 1, 3, 10, 17, 18, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 42, 53, 56.

12. Sarianidi V. Necropolis of Gonur. Karon Editions. Athens, 2007.

13. См., например: Шэньси чу ту Шан Чжоу цинтунци : Бронзовая утварь Инь — Чжоуского времени из раскопок в Шэньси. Пекин, 1981. Т. 1. Рис. 125, 126.

В дальнейшем сноски в тексте на этот альбом даются так: Шс. — Т. 1 и Шс, IV — Т. 4.

14. Кожин П. М. Неолитические праобразы Шан-Иньской ритуальной посуды // 36-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2006. С. 11 ; Образцы: Шс, рис. 56, 93 (одна разновидность), 66—68, 82.

15. Кожин П. М. Иньские и чжоуские колесницы как палеокультурологическая проблема // 35-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2005. С. 10.

Здесь показана линия типологического развития, которая привела к появлению у драконов бутылкообразных рогов.

16. White W. C. Bronze Culture of Ancient China. Toronto, 1956.

17. Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. С. 119, 120 ; Кожин П. М. Этнокультурные контакты... С. 250, 251.

18. Именно благодаря наличию обширного китайского материала проявляется методическая неправомерность деления бронзового века на такие условные подразделения, как ранний, средний, поздний, часто еще и финальный, распространяя это разделение на все евразийское пространство.

Заключение

Человек как мера вещей

Трактат «Каогунци»

С началом орудийной деятельности людей, т. е. с момента, когда человек сознательно начинает использовать для добычи пищи, сооружения убежищ, хранения запасов, защиты мест обитания какие-то пригодные для этих целей естественные или специально подготовленные предметы, его мыслительная деятельность в сочетании с непрерывной жизненной практикой оказывается ориентирована на совершенствование этих, ставших уже необходимыми, орудий, на рационализацию их использования, на подбор и изобретение новых орудий, облегчающих труд и уменьшающих затраты энергии, времени и материалов для получения **необходимого положительного результата**.

Орудия, дополняющие и усиливающие естественные рабочие органы человека (руки, ноги, зубы), способствуют расширению сферы труда в образе жизни человека. В свою очередь, полезный труд влияет на повышение качества жизни человеческого коллектива, и в нем все отчетливее структурируются индивидуальные и коллективные формы труда, сознательно и бессознательно ведущие к прогрессу человеческой культуры, хозяйства, быта.

Употребление орудий не только относительно быстро преобразует их в специализированные инструменты, различающиеся функционально, но и ведет к их конструктивному усовершенствованию. Сужается функциональное поле отдельных инструментов, появляется серия однотипных орудий для первичной, грубой и, наконец, тонкой обработки предмета труда, т. е. обрабатывае-

мого материала, который также начинают специально подготавливать для последующей обработки. Если отвлечься от небольшого набора инструментов, необходимых для аграрных и скотоводческих работ [1], который, очень рано сложившись, оставался тысячелетиями почти неизменным (лопаты, сохи, ножи, серпы), то в отличие от орудий обработки земли, ухода за скотом и его забоя, инструментарий, применяемый для обработки камня, кожи, растительных и шерстяных волокон (пряжение, тканье, плетение), дерева разных пород, наконец, глины и металла (фактически, человек вовлекал в свое производство все естественные природные материалы и постепенно начал создавать искусственные, такие, как керамические изделия и чистый металл), развивался и совершенствовался быстро и разнообразно. В нем появлялись комплексные приспособления, целые агрегаты — такие, как ткацкий, токарный станок, гончарный круг, печи для обогрева, термической обработки пищи, специальные сооружения для обжига глины, различных операций с металлом.

Человек создавал свою очень многообразную материальную культуру, используя повсеместно те возможности, которые давала природа ареала его обитания (позднее, с ростом культурных контактов, появляется возможность для обмена и торговли с целью получения новых, неведомых в данной местности материалов, но они, конечно, не составляют основу предметного многообразия, а главное, не образуют основную товарную массу производимой продукции), действовал разными приемами, разработанными в среде местных жителей (этническая специфика производства). Однако все многообразие производств, все их региональные, этнические и этнокультурные особенности всегда были подчинены одной вневременной и внетерриториальной общей цели — обеспечивать возможно более полноценно, надежно и эффективно все мыслимое многообразие потребностей человека. Таким образом, человек всегда был суверенным субъектом производства, стоял в его центре и твердо указывал (коллективу, самому себе, наконец), что еще для него должно быть создано, улучшено, изменено. Ум человека всегда задавал производству архетипные замыслы (как, например, быстро перемещаться в пространстве, летать по воздуху, влиять на природу и т. п.). И по мере совершенствования инженерных, технических, научных, хозяйственных возможностей реализовывал их. Ясно, что эта многообразная деятельность начиналась с **замысла**, выбора приемов работы и соответствующего инструментария. Последние два момента контролировались и определялись постоянной практикой. Эта практика

строго фиксировалась и запоминалась, постепенно складываясь в **систему коллективного производственного опыта**.

Появление устойчивых наименований для рабочих инструментов уже само по себе указывает на внимание коллектива, мастеров ко всем тонкостям выполняемой работы. Особое значение придавалось качеству инструментария и эффективности исполняемых с его помощью трудовых операций. Конечно, большая часть опыта передавалась прямым конкретным научением. Но по мере роста коллективов, появления общинных, а затем государственных производственных организаций возникла потребность в письменном обобщении трудовых операций, оценок целей труда, его качества и оптимальных способов работы. Остается сожалеть, что не сохранились разделы, трактующие способы бронзового литья, потому что до сих пор во всех трудах, касающихся бронзовой металлургии, непомерно много места занимает обычно «рассказ» о применении восковой модели для литья художественных бронз в древности. Это наследие ранних исследований (первая половина XIX в.) бронзовой металлообработки: археологи получили соответствующую консультацию, обратившись к парижским ювелирам, использовавшим именно эту технику (*cire perdue*) для отливки индивидуальных художественных изделий. Сделанная из воска модель заключалась в огнеупорную оболочку, выполнявшуюся из глины. После того как форма затвердела, воск выплавляли, затем заливали в форму расплавленный металл. Потом форму разбивали, а изделие обрабатывали. Именно так ювелиры-эксперты и описали этот процесс. Но они не учли, что целью литейщиков бронзового века было получение серий одинаковых изделий, которые отливали в разъемных формах, пригодных для многократного использования. В применении восковых моделей не было необходимости.

Так, в Древнем Китае, очевидно, в эпоху Чуньцю (здесь я не рассматриваю те данные, которые получены при сравнении письменных сведений, с особенностями реальных изделий китайских мастеров, найденных в процессе многочисленных археологических работ специалистов КНР. Они в дальнейшем позволяют уточнить многие моменты истории техники, хронологизации ее этапов) создан первый в мире справочник, описывающий технологии основных массовых ремесленных профессий, имеющих общегосударственное значение. Это не типичная «история техники», которыми изобилует европейская литература, начиная с XVII в. Этапным образцом подобного жанра была «Французская энциклопедия», а вслед за ней распространяется буквально лави-

на практических пособий, технических, технологических и ремесленных руководств. Древнекитайское пособие *Каогунци* («Записки об оценке работ») [2] — это именно практическое руководство для производства отдельных видов ремесленных работ, объединенных в рамках государственного хозяйства Древнего Китая. Знак «цзи» (записки) указывает на то, что это пособие может дополняться и расширяться, что это не строгие правила, требующие неукоснительного соблюдения, где буквально каждый знак является инструктивным предписанием, а рабочая книга, в которую высококлассные специалисты могут вносить свой надежный передовой опыт. При последовательном прочтении (без учета комментариев) текста ясно, что справочник пополнялся еще и в ханскую эпоху, а уже затем стал обрастать комментариями книжников. Беря пока лишь разделы о производстве колесниц (гл. 40 и 44 наиболее информативные в отношении хронологии), можно заметить, что основное описание конструирования их кузовов было сделано тогда, когда началось массовое производство колесниц, подобных находкам в Шанцуньлине, что раздел о бычьих повозках (*дачэ*) дополнен в ханское время, ибо ранее *дачэ* (в Лунь юе) обозначало совсем другой вид повозки. Описание зонта над кузовом появляется, очевидно, в циньскую эпоху, в то же время не описана конструкция передка кузова, разработанная в Позднем Чжаньго и т. д. За время своего существования справочник переписывался многократно. Включение его в текст классического памятника *Чжоули* («Чжоуский ритуал») превратило его в канонический текст как бы исключило его из прямой ремесленной практики, хотя исследование С.В. Дмитриева [3] показало, что строительство столицы ханской империи не обошлось без влияния этого уже канонического текста. Можно подозревать, что это влияние проявилось и при построении японской столицы Хэйяна (VII в.), когда многие особенности китайской государственной культуры активно воспринимались японской правящей элитой.

Не разбирая здесь все виды описанных в *Каогунци* производств, способы их структурирования в государственном городском хозяйстве, мне хотелось бы обратить внимание лишь на один центральный, связанный с этим памятником, момент. Все разделы его подчинены одной общей цели — обеспечить определенные формы комфорта и благополучия для людей, которым предназначались изготовленные ремесленниками изделия. Эта цель реализуется в очень многоступенчатой форме, и буквально с первых же практических указаний в тексте появляется «мера че-

ловека». Рост человека определяется в 8 *чи* (вопрос о значении этой меры довольно подробно исследовался как в китайской, так и в японской литературе, но здесь разбирать его было бы неуместно. Важно то, что от этой общей антропологической меры среднего человека шли все технические построения и расчеты, стандартизирующие производство всех видов изделий, обеспечивающих бытовую, хозяйственную, общественную и военную деятельность в основном элитных слоев населения). От этой меры, меры человека, производились все расчеты самого процесса производства, причем, как можно видеть из текстов, во внимание принималась не только линейная мера, но и целый ряд антропометрических параметров, от которых зависели надежность, эффективность, полезность, прочность, долговечность, удобство тех или иных изделий и сооружений. Характерно, что в сферу действия этих правил входит не только потребитель производимой продукции, но и ее исполнитель. Тем же мерам подчиняется и употребляемый ремесленниками инструментарий. Если руководствоваться тем пониманием термина «*у*» (вещь), которое разработал еще Лао-цзы, то вещью является любое произведение человеческих рук, артефакт, а тем самым вся рукотворная человеческая культура, и, как показывает рассматриваемый письменный памятник, мерой этой культуры, средоточием ее, оказывается сам человек!

Примечания

1. Кожин П. М. Показатели кочевого быта культур Причерноморско-Прикаспийских степей эпохи бронзы // Труды Государственного Исторического музея. М., 1997. Вып. 97 : Степь и Кавказ : (культурные традиции) ; Кожин П. М. Значение материальной культуры для диагностики процессов доисторического этногенеза // Историческая динамика расовой и этнической дифференциации населения Азии. М., 1987. С. 80—107.

2. Каогунци ту : [Записки о проверке (ремесленных) работ] // Хуан цин цзин цзе. Гуанчжоу, 1829. Т. 146 ; Biot E. Le Tcheou-li ou rites de Tcheou. P., 1851. Т. 2. P. 456—601 (Khao-Kong-Ki) ; Кожин П. М. Сибирская фаланга эпохи бронзы // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1993. С. 26.

3. Дмитриев С. В. Древнекитайский город в период Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. М., 2006. С. 12—14.

Часть IV

СУХОПУТНЫЕ АЗИАТСКИЕ И ЕВРАЗИЙСКИЕ ДРЕВНИЕ КОНТАКТЫ КИТАЯ

Введение

Первое восприятие традиционной китайской культуры бывало связано у иностранцев с впечатлением об ошеломляющем ее отличии от культуры Европы и большинства стран света, так или иначе оказавшихся под европейским воздействием, влиянием и имеющих постоянные контакты с европейским миром. Поэтому обычно с легкостью воспринималась этнокультурная версия китайской уникальности и самобытности, которая была заложена в самом существовании китайской национальной культуры. Однако при более внимательном рассмотрении реальной исторической картины и этнокультурных, этногенетических процессов, происходивших в прошлом на территории собственно Китая и на окружающих его просторах и горных массивах, выясняется, что глубина отличий китайской культуры от общеевразийской далеко не так значительна, как это кажется при первом беглом взгляде. Конечно, нет необходимости упоминать здесь о существовании общечеловеческих констант, связанных с жизнеобеспечением, воспроизводством и прочими специфическими общеэвидовыми проблемами. Важнее другие моменты — а именно то, что может реально объединять китайскую изначальную культуру с общеевразийской, что может свидетельствовать об их древних реальных, но лишенных письменной фиксации контактах.

К сожалению, с таких позиций китайская культура начала изучаться достаточно поздно, собственно, с возникновения ар-

хеологической науки и первых ее реальных шагов на пространстве Китая. А это относится к концу XIX в. Уже тогда появилась возможность сравнивать вполне уверенно китайскую культуру бронзового века с бронзовым веком евразийских, и даже более непосредственно, восточноевропейских территорий. И это при том, что своеобразие древнекитайских ритуальных бронз своей многочисленностью и значительностью все время заставляло исследователей задумываться именно о самобытности китайской «бронзовой культуры».

В начале 20-х годов XX в. первые систематические раскопки китайских неолитических памятников, проводившиеся Ю.Г. Андерсеном, привели к необходимости осмыслить отношения китайских неолитических культур с неолитическими культурами, уже тогда изученными от Южной Европы до Средней Азии и Индии. Перед исследователями вырисовывались в этом протяженном географическом поясе явные следы контактов между крайними пределами евразийских пространств, выявлявшиеся по распространению неолитической и энеолитической «крашеной», или расписной, керамики. Итак, вопрос о глубоких связях между Китаем и окружающим евразийским пространством стал обсуждаться, хотя среди исследователей не было единства мнений. Высказывали соображения как о миграционизме, так и об автохтонизме, считая проявления сходства либо признаком стадильности, либо предполагая возможность независимого развития одних и тех же культурных процессов в отдаленных популяциях. Отчасти, к этому склоняло изучение крашеной керамики на американском материке, что, впрочем, придало проблеме избыточную сложность и бесконечную запутанность. XX век вообще в отношении теоретических положений, связанных с изучением доисторического прошлого, был весьма падок на самые различные гипотезы, хотя многие из них не имели ровным счетом никакого отношения к научным подходам и проблематикам. Чаще здесь срабатывали различного рода политические соображения, амбиции, предрассудки и вождения.

Проблема взаимодействия Китая с Центральной Азией, а через нее с южносибирскими, казахстанскими, афганско-иранскими и более западными территориями и по сей день остается предметом активных научных теоретико-методологических споров и обсуждений. Поэтому основным моментом, которому приходится уделять внимание, если становиться на независимую позицию, оказывается необходимость выработки принципов и

обоснований для утверждений о наличии евразийских связей у доисторического Китая.

Здесь пока говорится исключительно о постледниковой голоценовой эпохе, о связях, которые имели культурологическое значение и являлись проявлением согласованного или самобытного культурного развития в разных регионах евразийского материка. Однако с середины XIX в. в гуманитарные исследования, скорее даже и правильнее будет назвать прежним именем «естественно-исторические» исследования, мощно вторгаются идеи о добиблейском прошлом человечества и его биологическом месте в общем развитии животного мира на всем обитаемом пространстве Земли.

Китай достаточно рано вошел в географические пределы, связанные с биологическим становлением самого человека, и вопрос о культуре Чжоукоудяня, впоследствии активно разрабатывавшийся, благодаря новым археологическим находкам [1], повлек за собою расширенное рассмотрение проблемы участия территорий современного Китая в расогенезе и этногенезе евразийских популяций. Как ни странно, в этом вопросе существует большая согласованность. И никто, кроме заведомых догматиков, не отказывается от рассмотрения места Китая в расогенетических и этногенетических процессах, хотя значение той антропоидной ветви, которая оказалась на территории Китая, оценивается различными исследователями весьма различным образом.

Итак, проблема определилась, ясны ее крайние пределы, и целью последующих исследований представляется в будущем выявление и уточнение того набора фактических данных, которые позволяют непосредственно увязывать палеокультурологические процессы, происходившие в пределах большей части евразийского материка, с процессами, имевшими место в собственно Китае и на территориях, прилежащих к нему.

Последниковое время представляется сравнительно устойчивой ландшафтно-климатической, географической средой, сравнительно легко сопоставимой с современностью. Эти природные условия в качестве неизменных приходится принимать в виде постоянного фона для тех культурологических, этнокультурных и ранних цивилизационных процессов, которые имели место на территориях, входящих в современное политическое пространство Евразии.

К сожалению, научная археология с того момента, как она сложилась, очень тесно связана со многими политическими интересами и утопиями. Такими, к примеру, как «индоевропейская

проблема», далеко выходящая (во всяком случае, после работ В. Джонса (1746—1794)) за рамки лингвистической тематики и долгое время служившая оружием шовинистической пропаганды. Во многом здесь сыграл роль изначальный европоцентризм специалистов. А в пределах этого европоцентризма — противоречия между немецкой и французской школами этногенетических исследований. Характерно, что в этот процесс не посмела вмешаться американская наука. Она в качестве противовеса стала строить много гипотез, позволяющих обходить противоречия и сложности европейских построений, не пытаясь их обоснованно разрешать.

Пожалуй, наивысшим реальным достижением ранней фазы научной археологии, основанной на европейских исследованиях, еще до начала Первой мировой войны, было построение, выдвинутое «Школой культурных кругов», позволявшее распределять по обитаемой территории Евразии, связанной со становлением крупных различающихся культурологических единств, региональных группировок, основанных на возможном преобладании отдельных особенностей культуры и, по всей видимости, каких-то языковых систем, находящихся в процессе становления, развития и распространения. К сожалению, эта методологическая установка была взята на вооружение национально-политическими элементами, попытавшимися связать с ней те или иные моменты возможного развития, обосновывающие расовое превосходство одних групп населения над другими. Вряд ли здесь уместно будет рассматривать последствия этих умозаключений, отразившиеся на всей истории XX в. в форме фашизма, борьбы с ним, огромного движения за деколонизацию и утверждение «прав человека» [2].

Однако, отказываясь от чуждой политической составляющей, проникшей в эту методологию искусственным путем, не следует отказываться от самой возможности различения региональных культур по набору их реальных составляющих. Причем, решающую роль в этом играют не умозрительные желания создавать предметы быта, орудия труда в соответствии с какими-то расовыми убеждениями, а естественная необходимость обеспечивать в условиях той или иной географической среды реальные потребности человеческого коллектива, обживающего данную территорию, адаптированного к ней, обладающего определенными производственными возможностями и потому развивающегося по естественным биологическим, видовым законам, в соответствии с теми установками, которые создаются законами об-

щественно-политического развития человеческих социальных структур.

Ограничением в развитии биологической среды могут становиться климатические изменения с последующими изменениями флоры, фауны, степени обводненности или засушливости, температурных режимов и тому подобных чисто природных моментов, а также естественное разрастание популяции вида в благоприятной природной среде и достижение этим видом тех опять же естественных пределов, за которыми вид начинает испытывать пищевое и пространственное угнетение. Причем в отношении к человеческому обществу все вышеуказанные моменты так или иначе стали сглаживаться со времени, когда человек начал хоть как-то управлять своим хозяйственным поведением, своей приспособляемостью к местным условиям и своими миграционными устремлениями. Это именно то новое, что внес в обитание биологических видов вид современного человека *Homo sapiens*, и с этими установками он сумел достигнуть высот современной цивилизации. Хотя эти достижения, как показывают исследования последних десятилетий, вызывают все большее напряжение природной среды, которое требует разрешения какими-то новыми, пока еще не найденными, гуманитарными средствами.

Примечания

1. Бунак В. В. Род Номо : его возникновение и последующая эволюция. М., 1980. С. 88—95 ; Алексеев В. П. Географические очаги формирования человеческих рас. М., 1985 ; Кучера С. Древнейшая и древняя история Китая. М., 1996 ; Деревянко А. П. Палеолит Китая : итоги и некоторые проблемы в изучении. Новосибирск, 2006.

2. Ср.: Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М., 1971.

Глава 1

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДРЕВНИХ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ЕВРАЗИЙСКИХ КОНТАКТОВ КИТАЯ

К доистории глобализации

Проблема истории межрегиональных, общевразийских, межцивилизационных контактов представляет принципиальное значение для осуществления современной глобализации: чем глубже в прошлое уходят постоянные внутревразийские мощные контакты, тем определеннее и устойчивее должны проявляться различные формы традиционных евразийских общностей, духовного схождения народов, даже и не находящихся друг с другом в близком генетическом родстве, имеющих культуры, ориентированные на разные языковые и цивилизационные общности, но в течение послеледниковой фазы развития человечества неоднократно вступающие друг с другом в производственные, торговые, экономические, духовные контакты и даже симбиоз. Наличие таких глубоких исторических взаимодействий несомненно оказывает положительный эффект на процесс глобализации, может способствовать, обеспечивая взаимопонимание на уровне народных масс, увеличению ее скорости, повышению уровня позитивного взаимодействия за счет осознания близости исторических судеб и древних контактов на массовом уровне. Конечно, не следует преувеличивать значение этого фактора, как показывает пример современной Европы, где наряду с антиглобализмом проявляется все жестче комплекс расовых, этнических и религиозных противоречий внутри отдельных стран. Ев-

разийские древние провинции, в пределах которых взаимодействие этнических групп и различных социальных компонентов протекало в течение всего голоценового периода или его значительных частей, может быть, и расширились за последние века, но в силу специфики географической среды и неравномерных возможностей заселения сохранили свое значение поныне.

Однако знания о региональных и общекионтинентальных контактах, их природе, регулярности, массовости и интенсивности далеко не полны даже для исторического периода, особенно ранних его этапов, а тем более для периодов поздней доистории. Единственным надежным и выразительным показателем реальных крупных общественных и популяционных контактов в древности была и остается материальная культура народов. Только тогда можно быть уверенным в наличии контактов, а особенно их прочности, если в материальной культуре народов обнаруживаются определенные схождения, заметные соответствия. Проявления материальной базы контактов уже указывают и на возможность контактов духовных, четкое выявление которых становится возможно, когда в предметах и памятниках материальной культуры все яснее высвечиваются творческая мысль человека, его способность приходить к запланированной, практически поставленной цели разными путями. Именно в сумме, системе этих разных путей, отражающихся во всем — в ремесле, промышленности, архитектуре, науке, языке и, особенно, в искусстве — проявлялась и продолжает проявляться специфика, уникальность древних и современных региональных цивилизаций. Их особый опыт, выражающий специфику их самостоятельного независимого развития в разных регионах мира, достоин не только изучения, но и проведения по отношению к нему специального аналитического отбора. Какие-то части этого опыта должны занять достойное место в структуре современной глобальной цивилизации.

Китай в пределах Евразии всегда выглядел как совершенно своеобразный культурный, политический, экономический, хозяйственный и психологический **изолят**. Однако эта изолированность с определенного периода, со времени сложения изначального древнекитайского государственного пространства, и в пределах прилегающих к нему частей евразийского материка постоянно оказывалась под воздействием различного рода перемещающихся популяций. Эти популяции, не нарушая последовательного этногенетического развития местных этносов и племен, могли приносить и приносили на территорию Китая достаточно значительные новации и перемены. Однако это вовсе не

исключало последовательного развития китайской культуры и цивилизации в веках. Взаимодействие Китая с внешними для него районами евразийского пространства в рамках послеледниковой доистории и ранней истории человечества, интенсивные периоды **контактов** Китая с внешним евразийским миром можно разделить на несколько **основных периодов**, не забывая при этом, что как внутри самого Китая, так и вне его достаточно жестко в эпоху послеледниковья сформировались основные популяции, их внутренние формы развития и внутренние связи.

Проблема освоения человеческими коллективами евразийского материка в голоценовое послеледниковье остается одной из наиболее актуальных при изучении возникновения и путей раннего развития евразийских цивилизаций. Собственно, становление производящего хозяйства, **искусственной экологии**, основанной на технологиях обработки почвы, подбора продуктивных сортов и выращивания урожая зерновых культур (а затем и многих других видов растительной продукции), коллективных сбора, хранения и утилизации получаемой растительной биомассы, с одной стороны, и разведение, расширенное воспроизводство стад одомашненного скота — с другой, сформировали две основные первоначальные хозяйственные специализации человечества — земледелие и скотоводство. Дальнейшее усиление разнообразия хозяйственно-экономической деятельности человечества шло за счет различных сочетаний этих двух видов занятий и усиления технического, а затем и энергетического потенциала человеческих коллективов, позволявших им менять условия, качество и самый образ жизни.

Хотя в течение послеледниковой эпохи характеристики природной среды больших регионов Евразии подвергались переменам, принципиально в пределах северо-китайского возвышенно-равнинного лессового пространства такие изменения были минимальными и в наименьшей мере влияли на освоение местным населением культуры проса и выработку устойчивых аграрных технологий, позволяющих использовать большие пространства для посевов, чем обеспечивался положительный экологический баланс между расширенным воспроизводством населения и урожайностью полей.

Периодизация контактов. I период начинается со значительных внешних воздействий на китайскую экономику и социальную жизнь неолитических популяций, связанных с **искусственной земледельческой экологией** [1]. Эта неолитическая экология, основанная на производстве зерновых, создает особые формы рас-

пространения популяций [2]. Как любая аграрная среда, распространяться эта культура могла путем медленного расширения своего ареала за счет освоения новых земель, необходимого по мере оскудения первоначально использовавшихся почвенных полевых территорий. Такое расселение подразумевало постоянное перемещение центров аграрной популяции с заселенных пространств на те, которые еще не были освоены. Однако возможности аграрного производства на территориях азиатского материка определялись не только почвенными, но также физико-географическими и климатическими условиями. Если первые из них оставались достаточно неизменными (горы, возвышенный или пониженный рельеф, крупные водные бассейны, большие реки, их водоразделы и т. д.), то вторые менялись в соответствии с периодами глобальных изменений постгляциального климата. Культура, передвигавшаяся из ближневосточных аграрных районов (в частности, из выявленного В.Г. Чайльдом «полумесяца плодородных земель» [3]) на территорию северо-китайской равнины, четко диагностируется благодаря специфике производственной деятельности, характеризующейся организацией центральных земледельческих поселений. На Ближнем Востоке их появление обусловлено неоднократным повторным заселением поселков. В результате на местах постоянных поселений, занимавших оптимальное положение в местном рельефе и имевших надежные источники воды и топлива, возникали «жилые холмы» — телли, становившиеся впоследствии памятниками былого величия древних царств, таких, как Вавилон, Ниневия и др., а во вновь освоенных местностях для новых земледельческих поселков сооружались специальные глинобитные платформы, на которых строились дома.

Другой особенностью, общей для всей полосы этого расселения, было использование в качестве домашней бытовой и ритуальной посуды глиняных сосудов в виде глубоких мисок и кувшинов с различного рода геометрическими росписями, чаще всего первоначально воспроизводящих орнаментацию плетеных и тканых изделий. Само по себе появление этих росписей связано со спецификой техники обжига глиняной посуды и с наличием или отсутствием определенных термостойких красителей, а также с использованием такого инструмента, как кисть [4], которая в дальнейшем становится основным инструментом всей китайской графической культуры.

II период. Следующим этапом мощных контактов Китая с Западом становится **начало бронзового века**. Бронза в Китае появля-

ется неожиданно и в очень развитых формах, здесь нет последовательного, медленного развития бронзовой индустрии от отдельных опытов производства украшений к изготовлению металлического инструментария. Фактически сразу в массовом числе возникают и ритуальные формы бронзовой посуды и многочисленные виды металлических вооружений [5], что говорит о достаточно сложной политической обстановке в связи с распространением бронзы, новых форм вооружения, а как следствие — нарастании многообразных военных конфликтов. Наиболее выразительной характеристикой этих конфликтов становится широкое использование в боевых действиях, в охоте и в ритуалах (что, в сущности, явление повсеместное и внутренне взаимосвязанное) такого вида вооружения, как боевые колесницы с конной запряжкой [6]. Опять же, этот вид вооружения в Китае не развивается постепенно, переходя от первых транспортных средств, применявшихся для перевозки грузов и транспортировок зерна, урожая, домашней утвари и т. п., в различные разновидности боевых колесниц, в определенный вид вооружения [7]. Повсеместное появление такого вооружения указывает на проявления крайне острых военных противоборств достаточно крупных, высокоцентрализованных и организованных государств. В течение всего бронзового века боевые колесницы в Китае (уже непосредственно в письменных исторических источниках) являются одной из важнейших составляющих, характеризующих то, что среди современных исследователей-политологов принято называть «комплексной государственной мощью». Для выяснения проблемы происхождения боевых колесниц мы располагаем сформировавшейся еще в первой половине XX в. гипотезой В.Г. Чайльда, доказавшего на имевшемся в его распоряжении материале единство конструктивных особенностей этого вида вооружения и указавшего четкую направленность его распространения от ближневосточных культурных центров на запад, север и восток [8]. Долгое время эта гипотеза могла подвергаться критике в силу того, что в непосредственном окружении китайских земледельческих центров не было выявлено следов использования и распространения этого транспортного и боевого средства. Теперь, после находок наскальных изображений колесниц [9] в Синьцзяне и Внутренней Монголии ситуация кардинально переменялась. Можно считать, что гипотеза превратилась в доказанную концепцию.

III период. Начало железного века резко изменило состояние социальной и политической среды «кочевого мира» — того насе-

ления, которое распространялось на степном, полупустынном и, отчасти, предгорном пространствах. В силу природных факторов степи и прочие разновидности оптимальных для кочевых племен и коллективов территорий проходят достаточно компактным коридором от Подунавья до Китайской равнины. Хотя условия проживания в этих местностях были далеко не однородны в течение последних тысячелетий исторического периода, кочевая среда освоила этот коридор и оказалась полностью адаптирована для постоянного проживания в нем. Однако условия природной среды, будучи достаточно сложными, создавали пределы демографического роста кочевых популяций [10]. Любые проявления относительной перенаселенности мгновенно отражались на социально-политических отношениях кочевых групп. Давление избыточного населения на политическую структуру обществ, как отмечал еще Карл Маркс, вызывало резкие выплески избыточных групп населения на окружающие территории, чему весьма плодотворно способствовало освоение в качестве массового индивидуального средства передвижения верхового коня [11]. Конные популяции легко преодолевали пространства от восточных европейских степей до степей восточноазиатских. Евразийский мир утратил свою ареальную замкнутость. Все территории в пределах указанного огромного пояса оказывались доступны для освоения. На Китай это воздействие «конных варваров» начинает распространяться **ближе к середине I тысячелетия до н.э.** Влияние кочевой культурной среды, новых средств передвижения и сопутствующей им культуры оказывается достаточно мощным даже в пределах земледельческого ареала древнекитайских позднечжоуских царств, где характерные керамические изделия кочевников выполняются в бронзе и включаются даже в состав ритуальной посуды. Более того, в конце IV в. до н.э. Чжаоский Улин-ван, ведя борьбу с царством кочевников Чжуншань и другими кочевыми армиями, проводит реформу кавалерии, для чего потребовалось, чтобы мужское население его царства стало одеваться в «варварские одежды» [12]. Однако именно период освоения лошади становится временем не только активных передвижений человеческих масс, направленных на восток, но и связывается с началом движения из Китая крупных групп людей, обеспечивающих первые этапы создания трансевразийской торговли и распространения культурно-технических достижений. Естественно, что и тот и другой процессы могут возникать только в условиях достаточно высокой духовной нивелировки социально-политической среды и каких-то определенных форм взаимопонимания

и весьма сложных договорных отношений между далекорасположенными, часто непосредственно не соседствующими политическими единствами, скажем Китаем и центральноазиатскими, кочевыми и оседлыми, земледельческими государствами. Сближению Китая с центральноазиатскими странами весьма активно способствует проходившее в период ханьской империи освоение Западного Края. Синьцзян — область сухих степей и полупустынь, обладающая целым рядом крайне продуктивных земледельческих оазисов, — постепенно включается в круг китайских интересов, а затем и становится западной окраиной государства, что значительно расширяет возможности его внешних контактов, которые проходят уже по исторически сложившимся, накатанным еще древними боевыми колесницами, дорогам [13]. Эти дороги обретают регулярность, движение по ним происходит более упорядоченно, а безопасность этого движения все в большей степени определяется состоянием государственности как в Китае, так в окружающих его странах. Степень государственной централизации четко увязывается с надежностью договорной политики и умением политических элит организовывать и направлять интенсивные потоки импортно-экспортных операций, которые на протяжении долгих веков связываются с торговлей шелком, бронзовыми зеркалами и разного вида украшениями, лошадьми и различными экзотическими товарами центральноазиатских регионов. В число их входят драгоценные камни, золото, различные строительные материалы, слоновая кость и т. д.

IV период. Организация торговли способствует тому, что распространение населения идет по торгово-миграционным дорогам уже не в форме военных рейдов, а в виде переселений, перемещений отдельных человеческих групп из одних торговых или ремесленных центров в другие. Это новое состояние общественной культуры отражается уже в таком мощном духовном явлении, как буддизм. Его распространение в Китае **в начале нашей эры** идет по классическому типу земледельческого расселения, центры последовательно передвигаются от западных китайских окраин в средоточия собственно китайской культуры. Буддизм из инородной, чуждой конфуцианскому ареалу религиозной культуры, благодаря активной переводческой деятельности китайских и индийских ученых-буддистов, монахов монастырей, располагавшихся уже на китайской земле, благодаря их контактам с даосскими религиозными организациями, внедряются непосредственно в центры сосредоточения китайской общественно-политической мысли [14]. Тем самым начинает создаваться

тот сложный религиозный симбиоз, который во все дальнейшие века делает Китай местом привлекательным для религиозных сектантов Запада, ибо по тем же торговым дорогам, через Центральную Азию приходит в Китай манихейство, несторианство и многие другие виды осужденных на Западе «ересей» [15].

У период. Одна из центральных идей китайской политической мысли связана с тем, что личные духовные убеждения людей, если они не затрагивают государственных установлений и не связаны с организацией политической оппозиции, не следует подавлять. Об этом свидетельствуют многие ставшие известными летописные и археологические документы, среди которых немаловажным свидетельством является так называемая Сианьская стела, обнаруженная в 1625 г. и отмечавшая один из этапов распространения в танское время в центре Китая, в танской столице — Чанъани, несторианского христианства [16].

Развитие «варварской периферии», кочевых обществ в пограничьях Китая и на путях его связей с Западом идет прогрессивным путем. В кочевой среде начинают формироваться крупные государственные образования. По летописным китайским данным, их достоверное начало знаменует сюннуская держава, созданная шаньюем Модэ в самом начале ханьской эпохи. В дальнейшем различного рода государственные образования на территории Центральной Азии возникают регулярно, однако в основном оказываются эфемерными.

В то же время развитие политических событий на Западе Азии (уничтожение арабами сасанидской империи, а затем и арабская экспансия на значительных пространствах Средней и Центральной Азии) привело к тому, что в Китай по многочисленным караванноторговым и миграционным дорогам хлынули волны беженцев. Контингент их был крайне разнообразен. Здесь были уже не только и не столько страдальцы за веру, но, даже преимущественно, торговцы, ремесленники, воины свергнутых сасанидов (последний шахиншах — Иездегерд III погиб под Мервом в 653 г.). Показательно, что в Китае танское время (618—908 гг.) знаменуется расцветом многих видов ремесла, особенно обработки серебра и золота [17]. Золотыми украшениями, чашами, оружием платят дань, расплачиваются с кочевниками, совершают торговые взаиморасчеты. Их включают в подарки властителям, военачальникам, крупным чиновникам. Эти драгоценные изделия, продолжающие сасанидскую традицию, встречаются в тюркских памятниках и случайных находках в Центральной Азии и Сибири.

VI период. Наибольшее воздействие на международные отношения в китайско-центральноазиатском регионе произвели два тюркских каганата, из которых поздний разваливается к 40-м годам VIII в., чем создает крайне напряженную обстановку на территории собственно Китая, куда устремляются тюркские воины-наемники, составляющие основные контингенты танских вооруженных сил. В очередной раз тюркская среда дает значительный резонанс, отражающийся на всем строе духовной культуры Китая. В частности, эта среда оказывает поддержку распространению религиозных западных учений. Это и различные разновидности буддизма, несторианство и манихейство, которое уже ранее проявило себя на всем пространстве клонящейся к упадку танской империи. Немаловажную роль для центральноазиатских устремлений, интересов централизованных китайских империй играют уйгурский каганат, северное государство Бохай, кидани, чжурчжени, с их локализуемым преимущественно на севере достаточно мощными империями, в какой-то мере стремящимися воспроизводить формы китайской государственности.

VII период. Наибольшее воздействие на весь евразийский политический и духовный мир оказывает возникновение и распространение гигантской трансевразийской монгольской империи, чей кратковременный взлет наложил отпечаток на все дальнейшее развитие регионов, связанных с трансевразийскими торгово-политическими связями.

Примечания

1. Публикации: В. Г. Чайльд «Древнейший Восток в свете новых раскопок» (М., 1956), В. М. Массон «Первые цивилизации» (Л., 1989), «Работы В. Г. Чайльда (Childe, V. G. (1892—1957))» (International Encyclopaedia of the Social Sciences. N.-Y., 1968. Vol. 2. P. 390—394), — относятся к числу классических культурологических исследований. Введение социально-экономической проблематики в исследование доисторического прошлого явилось лишь одним важным новым принципиальным моментом, который был внесен В. Г. Чайльдом в гуманитарные науки. Его труды указывают на необходимость разработки принципиально новой классификации и систематизации гуманитарных наук. Современное состояние этой проблематики на фоне общего постмодернистского произвола в определении научных принципов, концепций и терминологии, искусственно лишает определенности многие области гуманитарных исследований, а тем самым ослабляет роль историко-культурных областей знания в установлении научных футурологи-

ческих перспектив развития человеческого общества (ср.: Ларуш Л. Физическая экономика. М., 1997. С. 25—27, 56—64, 71—80).

См. также: История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. М., 1983. Ч. 1 : Месопотамия. В этом незавершенном издании делалась попытка последовательно проследить движение экономико-социального прогресса от момента создания искусственной экологии, через выработку искусственного образа жизни — к предпосылкам создания искусственной среды обитания вида.

2. Кларк Г. Доисторическая Европа. М., 1953. С. 103—107 ; Кожин П. М. О фазах и специфике формирования этнокультурной общности в бассейне Хуанхэ // 17-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1986. Ч. 1. С. 5 ; Его же. Становление древнекитайской государственности // 29-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1999. С. 32.

3. Чайльд В. Г. Указ. соч. С. 313—367.

4. Народы Восточной Азии. М. ; Л., 1965. С. 351. (Народы мира). Здесь как допущение указывается, «что кисть была известна иньцам».

В очерке древнейшей китайской письменности (Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы : проблемы этногенеза. М., 1978. С. 216—217) подчеркивается использование для письма какого-то «острого предмета», но, в то же время, отстаивается необоснованная идея о происхождении письменности от орнамента (ср.: Кожин П. М. О древних орнаментальных системах Евразии // Этнознаковые функции культуры. М., 1991. С. 134—135), китайский же древнейший орнамент (во всяком случае ныне известный) выполнен кистью на поверхности сосудов «культуры крашенной керамики», — *яньшао*. Полагаю, что эта проблема, как часть проблемы исследования древнейшего искусства заслуживает большего внимания, чем то, которое ей до сих пор уделено.

О проблемах китайского неолита и его истоках см.: Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации : формирование основ материальной культуры и этноса. М., 1976.

5. Кучера С. Китайская археология, 1965—1974 : палеолит — эпоха Инь : находки и проблемы. М., 1977. С. 84 ; Кожин П. М. Значение орнаментации керамики и бронзовых изделий Северного Китая в эпохи неолита и бронзы для исследований этногенеза // Этническая история народов Восточной и Юго—Восточной Азии в древности и средние века. М., 1981. С. 131—161 ; Его же. Об иньских и чжоуских бронзовых ритуальных котлах // 9-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1978. Ч. 1. С. 40—49.

6. Кожин П. М. Гобийская квадрига // Советская археология. 1968. № 3. С. 35 — 42 ; Его же. Кносские колесницы // Археология Старого и Нового Света. М., 1966. С. 76—81 ; Его же. Этнокультурные контакты на территории Евразии в эпохи энеолита — раннего железного века (палеокультурология и колесный транспорт) : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук. Новосибирск, 1990. С. 22, 23 ; Его же. Первые повозки // Вопросы истории.

1986. № 7. С. 185—189; Его же. К проблеме происхождения колесного транспорта // Древняя Анатолия. М., 1985. С. 169—182; Проблемы историко-культурных и этнических контактов населения Евразии с IV тыс. до н.э. по первые века н.э.: (происхождение и древняя история колесного транспорта). М., 1982. 273 с. Депонировано ИНИОН АН СССР. № 13481 от 30.06.1983.

7. Боевая колесница с конной запряжкой стала наиболее характерным видом вооружения многих ближневосточных государств с половины II тыс. до н.э. Однако наибольшее практическое значение она приобретает на границах древних цивилизаций, где колесничные войска крупных империй встречают острое сопротивление военизированных орд «кочевого мира», в котором колесница довольно быстро распространяется, как показывают находки колесниц и их снаряжения в памятниках эпох бронзы Поволжья, Зауралья, Сибири, Казахстана и других территорий. Теперь уже можно с уверенностью утверждать: где памятники с колесницами появляются в большом числе, там шла перманентная война между кочевниками или подвижными популяциями (достаточно напомнить о гельветях, кельтах и др. народах, упоминаемых Юлием Цезарем) и регулярными войсками стран древних цивилизаций.

См.: Littauer M. A., Crouwel J. H. *Wheeled Vehicles and Ridden Animals in the Ancient Near East*. Leiden; Köln, 1979; Piggott T. S. *The Earliest Wheeled Transport from the Atlantic Coast to the Caspian Sea*. L., 1983; Hančar F. *Das Pferd in prähistorischer und früher historischer Zeit*. Wien; München, 1955; Raulwing P. *Horses, Chariot and Indo-Europeans // Foundations and Methods of Chariotry Research from the Viewpoint of Comparative Indo-European Linguistics*. Budapest, 2000. См. также рефераты взглядов этих и ряда других исследователей в книгах: Новоженев В. А. *Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии*. Алматы, 1994; Нефедкин А. К. *Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI — I вв. до н.э.)*. СПб., 2001.

8. Childe V. G. *The Diffusion of Wheeled Vehicles // Ethnographisch — archaeologische Forschungen*. B., 1954. Bd. 2. S. 1—17; Кожин П. М. *Об иньских колесницах // Ранняя этническая история народов Восточной Азии*. М., 1977. С. 278—287.

9. К сожалению, наскальные изображения ограничены в своем распространении, ибо встречаются в горах, предгорьях, в каменистых степях и пустынях, но выбитые на скалах или нарисованные краской рисунки людей, животных, различных бытовых, батальных или ритуальных сцен, становятся огромным подспорьем, в частности, в изучении колесных средств передвижения. Сходство графической стилистики изображений позволяет связывать воедино колесничные сюжеты, выявленные на очень отдаленных друг от друга территориях. К примеру, очень близкие стилистически рисунки в последние десятилетия выявились в Синьцзяне (Худяков Ю. С., Комиссаров С. А. *Кочевая цивилизация Восточного Туркестана*. Новосибирск, 2002. Рис. 7, 2), на Памире (Кожин П. М. *Колесничные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Монголии* Новосибирск, 1987. С. 118, рис. Б — 12), в индийском штате Мад-

хья-Прадеш (дистрикт Шивпури) — (Индия. Перспективы. Дели, 1996. Октябрь. С. 12) и в Сахаре.

10. Уже Т. Р. Мальтус отмечал, что для прокорма кочевого населения, питающегося в основном продуктами животноводства требуется значительно большая территория, чем для жизни земледельческой популяции той же численности.

11. Проблема, связанная с определением времени, когда начинается регулярное использование лошади для верховой езды, в течение почти полутора столетий оказалась крайне запутана дилетантами, желающими во что бы то ни стало утвердить свои мнения (крайне противоречивые и очень разнообразно причудливые) относительно роли лошади в древнейшем распространении индоевропейцев, о превосходстве расы, освоившей верховую езду и т. п. Однако, распространение лошади в среде североамериканских индейских племен показывает с какой легкостью лошадь преодолевает национальные, расовые и этнические барьеры (Кожин П. М. Распространение лошади и этнокультурные перемены в Северной Америке в 16—19 вв. // Америка после Колумба : взаимодействие двух миров. М., 1992.)

12. Сыма Цянь. Исторические записки. М., 1992, Т. VI. Гл. 43. С. 61—67 ; Creel H. G. The Role of the Horse in Chinese History // American Historical Review. 1965. Vol. 70. P. 647—672.

13. Худяков Ю. С., Комиссаров С. А. Указ. соч. С. 67—116 ; Marquart J. Osteuropaeische und Ostasiatische Streifzuege. Leipzig, 1903 ; Кожин П. М. «Шелковый путь» и кочевники : некоторые вопросы средневековой этногеографии Центральной Азии // 22-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1991. Ч. 3. С. 31—43 ; Воробьев М. В. Маньчжурия и Восточная Внутренняя Монголия с древнейших времен до IX в. включительно. Владивосток, 1994.

14. Zuercher E. The Buddhist Conquest of China. Leiden, 1959. Vol. 1—2.

15. Eichhorn W. Die Religionen Chinas. Stuttgart u. a., 1973.

16. Kircher A. China monumentis : qua sacris, qua profanes. Amsterdam, 1667.

17. Маршак Б. И. Согдийское серебро. М., 1971 ; Кожин П. М. О приемах художественного оформления серебряных изделий в эпоху Тан // 12-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 1981, Ч. 2. С. 42—48.

Глава 2

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ДРЕВНИХ КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТАХ КИТАЯ С ВНУТРЕННИМИ РАЙОНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО МАТЕРИКА

В своей последней монументальной работе «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» Н.Я. Бичурин рассматривает культурные контакты Китая с западными странами (Средней, Центральной и Западной Азией) более чем за тысячелетний период (III в. до н.э. — IX в. н.э.) на основе официальных династийных историй, сравнительно точно фиксировавших происходившие события [1]. Более ранний период в два тысячелетия освещается русским востоковедом на материале выборочных сведений, преимущественно по традиционно-легендарным свидетельствам древнекитайских исторических и литературных источников, а также комментариев к ним.

Основанный на непосредственном анализе подлинных письменных свидетельств восточных авторов подобный метод исследовательской работы был подготовлен всем развитием методики русского востоковедения в первой половине XIX в. и позднее развит в трудах В.В. Григорьева, Х. Дорна, Н.В. Ханькова, В.П. Васильева, В.Р. Розена и других востоковедов. В значительной мере подобная методика предопределялась и непосредственными нуждами экспедиционной работы русских путешественников — исследователей азиатского материка.

Указывая на точность свидетельств китайских историографов и их большие возможности в сборе и систематизации фактов по сравнению с их предшественниками и современниками-историками античного мира, а также намереваясь предложить непосредственный материал для систематического сравнения античных и китайских свидетельств, Н.Я. Бичурин на основе вы-

явленных материалов, сопоставимых в географическом и в историческом аспектах, создал весьма многообразный фон, на котором в течение уже более столетия многие исследователи вырисовывают отдельные детали общей исторической картины. Исследованиями последних десятилетий многократно доказано, что попытки обработать исторический материал целиком, в тех же хронологических и этнографических пределах, какие избрал Н.Я. Бичурин, пока не привели к значительной переоценке общей картины исторического развития [2, 3]. Вместе с тем большие исторические периоды, затронутые непосредственно в трудах Н.Я. Бичурина, были коренным образом пересмотрены как с точки зрения их внутреннего этнокультурного содержания, так и в свете их соотношений с предшествующими и последующими этапами развития [4].

Благодаря целому ряду блестящих разработок, арабские и персидские источники стали вполне сопоставимы по своему значению с китайскими. Расшифровка тюркской орхоно-енисейской письменности, находки согдийских, тохарских, тангутских и прочих текстов в культурных центрах Центральной Азии и их тщательная обработка резко изменили устоявшиеся представления об уровне культурного развития и специфике политической истории центральноазиатского и среднеазиатского регионов. Однако при всем многообразии историографических, исторических, географических, языковых и антропологических данных у современных исследователей Н.Я. Бичурин обладал преимуществами в разработке всех указанных сюжетов, которые были связаны и с приоритетом в постановке проблем, и с разработкой их на относительно единой методологической основе, согласующейся с общими историко-географическими и этнографо-лингвистическими концепциями тогдашней востоковедной науки.

Н.Я. Бичурин располагал династийными хрониками, их интерпретациями в китайской исторической литературе, большим опытом географа-практика, не раз пересекавшего Сибирь и совершившего поездку через Монголию в Китай и обратно. Свое понимание азиатской этнокультурной истории он строил на ображениях автохтонного развития северокитайского населения и убеждения в наличии на протяжении всего исторического периода стойких автохтонных образований на юге Китая, а также на его северной и западной перифериях. Он считал, что разноречивой в сведениях античных авторов об этих, западных по отношению к Китаю, районах, связан с недостаточной осведомленностью греческих и римских ученых, получавших основную часть

своих сведений об этих областях от торговцев или невольных путешественников. Он был уверен в очень стойкой монголоязычности населения северозападной периферии Китая.

Н.Я. Бичурин был мало склонен разделять формирующееся в первой половине XIX в. мнение об азиатской прародине индоевропейцев, которое в середине века уже получило значительный отклик в русской историко-филологической литературе. В некотором роде недооценивал он и роль буддизма в истории Китая. Призыв Н.Я. Бичурина к отказу от работы со случайными фонетическими соответствиями и совпадениями между названиями тех или иных племен и народов в античной и китайской литературе имел важное значение, находя достойных последователей, в том числе академика В.В. Бартольда. Что же касается его недоверия к авторитетам, то оно распространялось в основном на западных авторов. Однако ни отдельные ошибки Н.Я. Бичурина, ни его приверженность к сомнительным ныне гипотезам своего времени не умаляют значения его трудов для изучения истории и предыстории тех регионов, которые в китайских источниках, начиная с ханьского времени, именовались «Западным краем» [5].

С ханьского времени связи Китая с Западом уже становятся традиционными и довольно четко выражаются в нескольких основных типичных разновидностях: формируется Великий шелковый путь; появляются посольско-договорные отношения, осуществляются различные походы, отчасти завоевательные, но в основном «карательные», связанные с обострением политической ситуации на границах и необходимостью защиты полей, городов и территорий от нападений номадов; на перифериях осуществляется иногда даже планомерный обмен сырьем и продукцией; делаются попытки ассимилировать или «китаизировать» отдельные группы населения окраин, но вместе с тем совершаются и обратные процессы: появляются паломники, а отчасти и переселенцы с Запада. Цели контактов были реальны и разнообразны, но крайне далеки от той знаменитой историографической фикции, которую в античный период создали историографы на двух противоположных окраинах Старого Света (с одной стороны, греки и римляне, а с другой — китайцы): «варвары» сами стремятся приобщиться к цивилизации. Реальные документы не подтверждают этого положения. Пожалуй, особенно наглядно это демонстрирует переписка, обнаруженная в замке на горе Муг (первая четверть VIII в.), где правителей востока стремятся вовлечь в серьезную антиарабскую коалицию, т. е. использовать их в политических целях [6].

Можно с достаточной долей убежденности утверждать, что трансевразийские культурные контакты получают отражение в исторических документах, начиная со II в. до н.э. Контакты более раннего времени фиксируются археологическими материалами [7]. Однако привлечение археологических данных для обоснования исторических либо этнических контактов, наличия торгового обмена, военных конфликтов и пр. подчас ставит перед исследователем целый ряд совершенно особых интерпретационных задач. В процессе развития археологической науки сами эти задачи и формы интерпретации материалов менялись в зависимости от научного качества археологических исследований и общих целей интерпретации археологических фактов, например, получения данных о социальном строе той или иной группы населения, представленной определенной «археологической культурой» [8], или установление этнического или языкового родства между какими-либо группами населения на основании сходства или различия у них комплексов материальной культуры.

Прежде, чем перейти к обзору некоторых археологических данных, необходимо остановиться на ряде существенных методологических положений. Первое из них прямо указывает на то, что исторические свидетельства могут непосредственно смыкаться по времени с археологическими подтверждениями дальних контактов на рубеже новой эры. Таким подтверждением явились профильные изображения колесных экипажей на скалах Монголии [9]. Таким же подтверждением служат импортные зеркала в Сибири и Средней Азии [10]. Однако подобные находки, как вообще находки импортов, сами по себе не могут свидетельствовать ни о длительности контактов, ни об их интенсивности. Впрочем, интерпретация изображений повозок как прямых указаний на длительные контакты, проходящие по совершенно определенным караванным путям, стала теперь возможной, благодаря комплексу находок в Северной Италии. Сплошное обследование в местности Валь Камоника огромного количества сюжетов наскального искусства позволило выявить очень значительное количество изображений колесниц, расположенных вдоль удобной дороги, пересекающей этот труднопроходимый горный район Северной Италии с севера на юг. Характерно, что изображения повозок расположены так, как будто они движутся вдоль дороги [11]. Географ Страбон (IV, VI, 6—8) отмечает, что в обычае горных племен севера Италии были грабежи на дорогах, проходивших через горные долины. Действительно, среди изображений повозок можно увидеть и сцены сражений. Трудно сказать, к какому времени

восходит источник Страбона, но по характеру распространения италийских предметов из бронзы в Средней Европе можно заключить, что в VI в. до н.э. такая дорога могла функционировать. Вообще связь наскальных изображений с сухопутными и морскими дорогами подтверждается довольно часто. Так, в Дании изображения древних ладей бронзового века расположены на скалах в таких местностях, где были сравнительно удобные пристани. Указанные факты позволяют утверждать, что традиционно функционировавшие дороги могли оформляться различными знаками задолго до появления дорожного благоустройства и милевых столбов.

В последние годы все большее внимание исследователей привлекает сравнительная условность разделения народов по уровню умственного и общественного развития на имеющих сложившиеся системы письма и тех, которых по тем или иным причинам их не создали и не заимствовали [12]. Государство как аппарат принуждения нуждалось в создании письменности [13]: оно создавало, заимствовало или модернизировало эту письменность, но проводить резкую грань между индивидуумами и коллективами дописьменной эпохи и эпохи существования письма, очевидно, нельзя. Уже самый факт быстрого и широкого внедрения письменности в коллективы, значительные по объему, противоречит этому постулату. Однако очень часто в работах, касающихся доисторического прошлого, возникает неуверенность в возможности приравнивать по уровню умственного развития человека дописьменной эпохи к человеку, живущему в век письменности. Сама идея понятна, она подсказана резким различием между умственным развитием грамотных в неграмотных людей в век письменности, но в вышеуказанном приложении она абсолютно неверна, а поэтому факт наличия внешних контактов одного региона с другим, находящимся на значительном от него расстоянии, на заре письменной истории для нас может быть указанием на наличие этих же контактов в доисторическом прошлом и даже в течение длительного времени. Если человек на заре письменной истории сравнительно легко преодолевал географические барьеры между восточными и западными районами Азии, то эти барьеры, судя по всему, не служили для него непреодолимым препятствием и в значительно более раннее время [14]. Делая эту оговорку, хотелось бы заметить, что одна из трех равноправно существующих гипотез о формировании китайского этноса, китайской материальной и духовной культуры и связанная с признанием полной автохтонности Китая в доистори-

ческое время в некотором роде опирается на вышеприведенное положение, что представляется неправомерным.

В современной литературе, как известно, существуют три гипотезы о ходе доисторического развития Китая: 1) заимствований в древнейшие времена между Китаем и Западом не было; развитие в Восточной Азии шло в тесном контакте с Юго-Восточной Азией и практически не соприкасалось с западным миром [15]; 2) заимствования и связи были, но они были частичными и на общий ход развития культуры Китая влияния не имели; западные влияния непосредственно воздействовали на группы населения Центральной и Средней Азии, а уже через них какие-то культурные импульсы в ослабленном виде воздействовали на Китай; 3) основные моменты и этапы китайской доистории имеют совершенно четкие прямые прототипы в общем евразийском развитии [16].

Обращает на себя внимание и тот факт, что даже серия радиоуглеродных дат, полученных Пекинской лабораторией для неолитических памятников, остается убедительной далеко не для всех специалистов, хотя, казалось бы, безоговорочно свидетельствует в пользу сложения яншаоского неолита в центральных провинциях Китая. Оговорки, которые могут и, очевидно, должны быть сделаны в связи с этим, по-прежнему касаются:

- правомочности приложения метода датировки, разработанного в экспериментальной физике, непосредственно к материалам исторической науки, которые до сих пор в основном поддаются прямой хронологизации по астрономическим данным, и притом переведенным в систему римского календаря [17];
- надежности данной серии дат;
- представительности с точки зрения истории культуры того ряда раскопанных памятников, для которых получены даты;
- достоверности утверждения о том, что раз в Ганьсу не обнаружено ранних неолитических памятников, то их там и не было, а тем самым снимается будто бы вопрос о движении населения культуры крашеной керамики через Ганьсу в центральные районы Китая;
- прямой необходимости ранних Ганьсуйских находок, ибо при очаговом способе распространения культур по территории Евразии, начиная от позднепалеолитических памятников вплоть до культур эпохи бронзы и раннего железного века, повсеместно между культурными очагами-зонами родственных групп оказывались пустые пространства, которые

заполнялись памятниками порою уже впоследствии, при демографических взрывах в том или ином очаге или его части. Причем, очаговое распространение культур в указанные периоды — явление неизбежное, ибо, во-первых, вызвано желанием расселяющегося населения обеспечить себе оптимальные условия жизни на новом месте, но экологически оптимальные зоны не являются непрерывными при формах хозяйства со сравнительно узкой производственной базой, и, во-вторых, обусловлены необходимостью создать определенный барьер — вакуум между своим коллективом и соседними.

Эта тема затронута в «Собрании сведений...» Так, Н.Я. Бичурин перевел (Т. I, с. 47) без специального комментария текст Сыма Цяня, относящийся к истории шаньюя Модэ (Маодуня) и прямо касающийся этого последнего вопроса: «В хуннских владениях от Дун-ху на запад есть полоса земли на 1000 ли необитаемая. На ней только по границе с обеих сторон были караульные посты. Дун-ху отправил посланца сказать Модэ, что лежащая за цепью обоюдных пограничных караулов полоса брошенной земли, принадлежащая хуннам, не удобна для них...» Бичурину представлялась важной лишь географическая локализация этой местности. В.С. Таскин [17а, с. 39] прочел этот текст несколько иначе: «Между (дунху) и сюнну пролегла брошенная земля,... те и другие жили по ее краям, образуя оуто. Дунху отправили гонца сказать Маодуню: «Брошенную землю за пределами оуто, служащей границей между сюнну и нами, сюнну не должны посещать...» Комментарий, предложенный В.С. Таскиным, коснулся целого ряда очень ответственных моментов осмысления данного текста и возможности сопоставления терминов «оуто» и тюркского «orda» [17а, с. 131—132]. (Ср.: Древнетюркский словарь. Л., 1969. С. 370, где такая расширительная трактовка понятия «ordu» для обозначения территории «племени», «кочевой народности» даже не подразумевается). Но вопрос явно нуждается в дальнейшей разработке, так как он много шире затронутой ныне проблематики, ибо может быть прямо связан с определенным комплексом идеологических представлений древних племен, отмеченных Юлием Цезарем в «Записках о галльской войне» [1У,3] по поводу племени свевов, считавших, что «чем шире пустыни вокруг границ страны, тем больше для нее славы: это признак того, что многие другие народы не в состоянии бороться с ее силой...» (Записки Юлия Цезаря. М., 1962. С. 52). Впрочем, здесь не исключена порча текста

Сыма Цяня, которая всего лишь осталась непонятой последующими комментаторами;

- безоговорочного признания того, что физический метод датирования по радиоуглероду (который за четверть века подвергся целому ряду коренных пересмотров, поправок и исправлений, порою очень значительных по своим хронологическим последствиям), значительно достовернее, чем, скажем, типологический метод, конечно, при условии обоснованного применения этого последнего. Ведь типологический метод применим лишь к памятникам и материалам тех археологических культур, которые на протяжении длительных исторических периодов были связаны с непрерывным развитием определенного способа производства, с его сложным в условиях доисторической первобытности комплексом взаимных влияний различных отраслей производства друг на друга, с эволюционным совершенствованием приемов и навыков работы и т. д., т. е. со всеми теми обстоятельствами, которые одни только и могут создать, при правильном учете их сочетаний, твердую основу для построения относительной хронологии. В частности, в качестве примера типологической неправомерности можно привести три эволюционные колонки развития орнаментов от реалистических прототипов к геометрическим абстрактным формам, разработанные китайскими специалистами на материалах памятников Баньпо, Мяодигоу, и Мацзяю. Каждая из них начинается с реалистических изображений и кончается сложным абстрактным геометрическим орнаментом, т. е. из подобных колонок могут быть сделаны логично и типологически обоснованно два вывода: а) раз эволюционные ряды начинаются и кончаются принципиально одинаковыми схемами, проходящими на всех памятниках однотипную эволюцию, то все они должны быть одновременны на шкале относительной хронологии; б) памятники относятся к трем разным культурам, никак типологически друг с другом не соотносящимися.

Но если под автохтонность развития неолитической культуры подведена сейчас сравнительно эффектная база, то в отношении культуры эпохи бронзы и ранних периодов железного века этого сказать нельзя. Так, с 1897 г., благодаря блестящему исследованию П. Райнеке [18] материалы раннежелезного века Китая стали обоснованно сопоставляться с целым рядом специфических черт «скифских» культур, общих для памятников, распространенных

от областей южной Германии, Австрии и Венгрии до долины Хуанхэ. Здесь сопоставления, сделанные на ряде украшений, наборов конской сбруи, предметов вооружения, оказываются настолько отчетливыми, что это позволяет безоговорочно передвинуть один из ответственных периодов формирования регулярных контактов между Китаем и западным миром в VII—V вв. до н.э. Контакты в это время тем более представляются правомерными, если учесть, что после открытия в Центральной Туве одного из древнейших и самобытнейших памятников раннескифской культуры — кургана Аржан территория раннего скифо-сакского мира еще более приблизилась к границам Древнего Китая [19]. Так как для периодизации контактов это решающей роли не играет, можно ограничиться лишь соображением, что целый ряд находок указывает на существование косвенных контактов в период, предшествующий ханьским походам на Давань между V и II вв. до н.э. Но все вышесказанное подтверждает наличие трансевразийских контактов за почти половину тысячелетия до того, как они были зафиксированы Сыма Цянем. Период бронзового века давно уже, благодаря большой серии форм бронзового оружия и инструментов, стал обсуждаться как время возможных трансевразийских контактов [20]. Здесь, правда, существует много затруднений в отношении датировок взаимосвязанных явлений. Так, поздние даты сейминско-турбинских бронз, предложенные Н.Л. Членовой (1972 г.) решают, казалось бы, проблему в пользу хронологического приоритета Китая. Однако, не говоря уже о сомнительной аргументации всего комплекса поздних дат, которые группируются вокруг даты, объявленной еще П.Райнке для знаменитого Бородинского клада [21] — VIII в. до н.э., — есть целый ряд типологических, исторических и военно-технических соображений, которые не позволяют признать Китай местом изобретения и первичного применения таких предметов вооружения, как фехтовальное втульчатое копьё, боевой топор-кельт и др.

Искусству металлообработки в его самостоятельно сложившихся или целиком заимствованных из единого центра вариантах свойственна бывает внутренняя целесообразность и компактность производственных приемов, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с производством массовой продукции, такой, к примеру, как предметы вооружения. Массовость, стандартность и качество предметов вооружения во многом зависят от структуры воинских подразделений и характера боевых действия. Лук, стрелы, метательные копьё-дротики оказываются основным боевым снаряжением воина-колесничего. Широко распространены бое-

вые секиры разных форм, в том числе и ножевидная, лезвие которой закрепляется в расщепе рукояти. Иньская техника бронзового литья, исследованная Н. Барнардом, правда, на сравнительно небольшом числе образцов, подразумевает в основном работу по глиняной модели [22]. Ее оттиск в глине же становится литейной формой. Это довольно громоздкая техника, обусловленная целым рядом специфических задач, а именно отливками ритуальной утвари и утвари, представляющей собою знаки инвеституры. Собственно боевое снаряжение в его простейших вариантах могло отливаться и более простыми методами. Песни о битве в пустыне Муе в *Шицзине* указывают на какие-то различия в вооружении между иньскими и чжоускими войсками, но все же по археологическим материалам прослеживается преобладание в основных памятниках плоских клевцов, наличие двухлопастных стрел с длинным фигурным черешком-стрежнем. Втульчатые оказываются метательные дротики и изредка крупные копья. Сама неоднородность техники металлообработки в Китае может свидетельствовать о ее длительном и постепенном заимствовании из различных источников. Предметы вооружения, выполненные в технике втульчатого литья, оказываются в Китае представленными значительным числом находок, тогда как в Сибири, Казахстане, Средней Азии именно они составляют основную массу оружия. Причем теперь уже с достаточной убедительностью можно говорить, что именно эти предметы вооружения отливались в каменных литейных формах. Копья и боевые топоры позволяют утверждать, что воинский строй, в котором они применялись, представлял собою фалангу. Однако ничто не указывает на применение в иньском войске такого пешего строя, как фаланга, т. е. отряда, построеного в несколько шеренг (обычно их три-четыре), стоящих непосредственно одна за другой. Одним из особенно ярких свидетельств непосредственных связей Китая с Западом являются иньские и чжоуские колесницы [23].

Уже в иньскую эпоху западные контакты были вполне сложившимися, и возможно их следует относить еще дальше в глубь веков. Легендарная же связь династии Чжоу с додинастическими доисторическими поколениями правителей Китая, на которую обратил внимание Н.Я. Бичурин (1, т. 1, 39; 17а, 34, 118, 119), может быть, является необоснованным преданием, оправдывавшим в глазах автохтонного населения власть западных скотоводов, прикочевавших на Центральную равнину Китая через горы, озера, пустыни. Ни в *Шицзине*, ни в зависящих от него в этой части «Исторических записках» Сыма Цяня нет ясной и правдо-

подобной картины прародины Чжоу. Откочевка правителя «к горе Ци» также выглядит крайне искусственно!

В отношении этой части протоистории Китая доисторической археологии еще предстоит выработать самостоятельную, не зависящую от письменных источников, позицию. Однако для реализации этих и аналогичных задач требуется совершенствование методики и методологии современной археологии. Теоретические проблемы, такие, например, как понятие «археологическая культура», разработаны пока еще недостаточно, а это ведет к значительным затруднениям в выявлении этнических групп среди доисторического населения.

Примечания

1. Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М. ; Л., 1950. Т. 1—3.

2. Бернштам А. Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрков VI—VIII вв. : (восточно-тюркский каганат и кыргызы). Л., 1946.

3. Гумилев Л. Н. Хунны в Китае. М., 1974.

4. Пьянков И. В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия. Душанбе, 1975.

Может быть, даже в современных культурологических и историко-археологических трудах в последние полстолетия наблюдается несколько возторженно-позитивное отношение к античным сведениям и представлениям о доисторической древности, об этнокультурных проблемах того мира, который в силу естественных причин не входил в границы античных государств и не попадал в сферу регулярных наблюдений представителей античной географической и исторической наук. Эти данные необходимо еще всесторонне исследовать, опираясь на расширившиеся возможности методологии и значительные систематические материалы, полученные в археологических исследованиях.

5. Кюннер Н. В. Китайские известия о народах Южной, Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961.

6. Согдийские документы с горы Муг. М., 1962. Вып. 2 : Юридические документы и письма. С. 77—91 ; Смирнова О. Н. Очерки из истории Согда. М., 1970. С. 228—239.

7. Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М. ; Л., 1951 ; Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М. ; Л., 1960.

8. Брюсов А. Я. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952.

9. Дорж Д., Новгородова Э. А. Петроглифы Монголии. Улан-Батор, 1975. Ч. 1.
10. Лубо-Лесниченко Е. И. Привозные зеркала Минусинской котловины. М., 1975.
11. Berg-Osterrieth M. van. Les Chars prehistoriques du Val Camonica. Capo di Ponte. 1972.
12. Карапетьянц А. М. Китайское письмо до унификации 213 г. до н.э. // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977. С. 222—257.
13. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. Изд. 2-е. Т. 21.
14. Алексеев В. П. Восточный первичный очаг расообразования и расогенетические процессы в Восточной Азии // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977. С. 62—73.
15. Кашина Т. И. Керамика культуры Яншао. Новосибирск, 1977.
16. Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. М., 1976.
17. Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975.
- 17а. Материалы по истории сюнну : (по китайским источникам) / предисл., пер. и прим. В. С. Таскина. М., 1968.
18. Reinecke P. Ueber einige Beziehungen der Alterthümer China's zu denen des skyfisch-sibirischen Volkerkreises // Zeitschrift fuer Ethnologie. Berlin, 1897. Jg. 29.
19. Грязнов М. П., Маннай-оол И. Х. Окончание раскопок кургана Аржан // Археологические открытия, 1974. М., 1975. С. 196—198.
20. Киселев С. В. Неолит и бронзовый век Китая // Советская археология, 1960 ; Членова Н. Л. Хронология памятников карасукской культуры. М., 1972 ; Ее же. Карасукские кинжалы. М., 1976.
21. Кривцова-Гракова О. А. Бородинский клад. М., 1949.
22. Barnard N. Bronze Casting and Bronze Alloys in Ancient China. Tokyo, 1961.
23. Кожин П. М. Этнокультурные контакты населения Евразии... Ч. 4.

Глава 3

МЕСТО СИНЬЦЗЯНСКИХ НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ КОЛЕСНИЦ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА

Сводка синьцзянских наскальных изображений колесниц, опубликованная Д.В. Черемисиным и О.В. Борисовой в 1999 г. [1] позволяет обобщить имеющиеся результаты на уровне этой публикации. Такой подход представляется оптимальным в силу крайней выборочности поступающих новых научных, в частности, китайских изданий.

Малочисленность материалов — изображений колесных средств передвижения, археологических находок древних транспортных средств, описаний видов, особенностей повозок и колесниц в древних письменных источниках, а также малая осведомленность современных исследователей, в том числе лингвистов, этнологов, археологов в транспортной терминологии древности (впрочем, знания о современном традиционном транспорте на животной тяге также весьма эфемерны, в том числе и у большинства специалистов, пытающихся трактовать эту проблематику в связи со сделанными ими археологическими находками колесных средств передвижения [2], наскальных или иных изображений транспорта в древних памятниках изобразительного искусства и в древних текстах). Все это вело к тому, что новые находки и данные механически приплюсовывались к уже издавна известным, и на основе случайно выдвинутых идей, гипотез и соображений делались почти произвольные выводы о конструкции колесных средств передвижения и транспортировок, об их эволюции, исто-

рии, культурной принадлежности, языковой специфике их создателей, владельцев, изобретателей. Как это можно выполнить особо неудачно, показал А.К. Нефедкин [3], превратив побочную, полумифическую проблему «серпоносных колесниц» в предмет специального гипотетического обозрения, опирающегося преимущественно на домыслы. Сейчас число данных неизмеримо выросло, и ясно, что необходимо непредвзято, буквально с азов, пересмотреть весь наличный материал и, исходя из него, опираясь на него, строить последовательно историю транспорта, начиная с хронологии, систематизации данных и находок.

В своем увлечении словами, определениями, смелыми «новаторскими» идеями мы часто не отдаем себе отчета в том, что наука — это прежде всего систематизация знаний, размещение этих знаний в логически непротиворечивой системе, которая должна оказаться возможно более устойчивой и ненарушимой при включении в нее новых (и даже многочисленных) фактов. Конструктивная логика принятой исследовательской системы в идеале не должна деформироваться от изобилия новых фактических данных, а лишь, вмещая их, создавать возможности для устроения, уточнения терминов, классификационных подразделений, разграничений в пограничных областях смежных понятий и т. п. Только при указанных условиях приложимо к системе, для которой не существует эмпирической возможности определения генеральной совокупности, использование статистических методов, включая и установление статистической достоверности результатов. Кроме того, следует задуматься и о том, что **прошлое человечества уже состоялось и каждый факт, относящийся к нему, имел место**. Причем он находился в системе фактов, причинно-следственные связи которых уже осуществились, а все события прошлого проходили **по определенному сценарию, который уже нельзя изменить и переписать — он был реализован однозначно**. Отсюда следует, что произвольная поливариантность, ставшая неизбежным следствием и даже символом постмодернистской науки, неприложима к наукам о прошлом, если это, конечно, не ретроспективное гадание, обосновываемое вероятностной статистической процедурой, опирающейся на практически произвольный выбор исходных показателей. Таким образом, гуманитарные исследования, посвященные прошлому человечества, окончательно должны быть возвращены в сферу, связанную с поиском **истины** [4].

Подходя с таких позиций к следам и останкам древних средств транспортировок и историческим, археологическим, ис-

торико-культурным сведениям о древних контактах популяций (обмен, торговля, миграции, военные походы, регулярные или эпизодические инфильтрации человеческих групп на новые территории) на материке Евразии, их путях и временных пределах их активности, теперь уже в силу разнообразия наличного материала следует произвести его, хотя бы предварительную, оценку и разбивку по некоторым существенным принципиальным параметрам [5].

Обе основные цели изучения наскальных «транспортных» изображений (выявление древних дорог, по которым проходило общение популяций в разные периоды истории и доистории, и изучение транспортных средств, которыми пользовалось население в различные периоды контактов) связаны с картографированием аналогичных сюжетов, художественных приемов для выявления единных и сходных художественно-графических традиций определенных этнокультурных групп, а также транспортных путей распространения населения (усиление прежних и создание новых популяционных стабилизаций населения в разных частях Евразийского материка) и утверждения устойчивых дорог контактов, части которых контролировались определенными политико-этническими группами [6]. Собственно это дает новый инструмент изучения политической истории: когда какие-то крупные государства находятся в состоянии расцвета, то система путей беспрепятственно протягивается, практически, в пределах всего обитаемого пояса [7]. Как только наступает упадок, путь распадается на отдельные фрагменты, совершенно рассогласованные и теряющие пропускную способность: такие примеры дает трансевразийское путешествие Абу-Дулафа [8].

Прежде всего, правомочное суждение о таких крупных, технически сложных ремесленных [9] изделиях, какими являются повозки, колесницы и их снаряжение, должно быть основано на реальных образцах этих агрегатов, относящихся к соответствующему времени, а также, в силу малочисленности таких прямых данных и неполноты знаний о реальном репертуаре транспортных средств, использовавшихся в конкретных культурах в определенные периоды времени, на моделях повозок и колесниц и их реалистично выполненных (не требующих гипотетических объяснений) изображениях и описаниях [10]. Согласно моей сводке евразийских археологических находок повозок и колесниц, выполненной в 1982 г. [11], значительно пополненной с тех пор, количество таких находок, различной степени сохранности, изученности и контекстной полноты, приближается уже к 2 тыс. эк-

земляров. Учитывая значительный период существования транспортных средств и разнообразие их выявленных видов, нельзя считать это количество находок достаточным для безоговорочных суждений о специфических видах колесного транспорта и его технических особенностях на всех территориях его древнего распространения.

По отношению к прочему изобразительному материалу, и особенно к наскальным изображениям повозок и колесниц, также следует применять определенные ограничительные критерии. Это прежде всего поправки на степень современной сохранности изображений, возможные поправки на степень точности копирования изображений. Они исключительно важны применительно к китайскому материалу, для которого методика копирования практически пока не отработана. Далее следует различие, связанное с познаниями самих древних художников — исполнителей сюжетов с повозками и колесницами: если изготовление повозок освоено в той культурной среде, к которой эти художники принадлежат, то изображение всегда будет более точным, рациональным; если же изображение скопировано с рисунка, превращенного в традиционный эталон, причем художник не задумывался над вопросом о практическом назначении деталей или самого подлинного агрегата, то возникают особенности, вводящие в заблуждение современного интерпретатора. Такова, к примеру, так называемая многодышловая запряжка: это — воспроизведение многократных копий первоначального изображения, где уже не осознается и полностью потеряно различие между изображением вожжей, упряжных ремней и деревянных деталей [12]. Это касается, в частности, изображения кузова в виде полуовала или полукружия позади оси. Для этого традиционного приема оказывались действительны два первоначальных фактора — либо порознь, либо совместно. На многих рисунках возницу изображали стоящим на оси. Во фронтальной развертке фигура с широко расставленными руками и ногами как бы лежала на изобразительной плоскости [13]. При многократном копировании, для упрощения исполнения на линии, продолжающей ось, в конце делали кружок, обозначающий голову возницы, и пересекали эту линию полукружием, опирающимся на ось, обозначавшим руки и плечи возницы. В другой изобразительной традиции фронтально (а не в плане) воспроизводили передок кузова: он выполнялся полукружием, опирающимся концами дуги на ось [14], а над ним возвышались голова и руки возницы. В конечном счете, оба изобразительных решения при типологическом упрощении рисунка

давали одну и ту же фигуру: полукружие за осью, иногда с небольшим выступом наружу посередине дуги. Он в равной мере мог передавать и символизировать завершение дышла и голову возницы. Во всяком случае искусственному в условностях соответствующей графической системы зрителю было понятно, что художник изобразил полностью снаряженную колесницу. Если же при этом в колесницу оказывалась «впряжена» хоть одна лошадь, эпизод уже можно было трактовать так, что колесница готова сорваться с места. Таким образом, наблюдается переход рисунка в условный знак, а затем и в графический символ. Однако это путь, типичный для развития изображения в пределах единой духовной, интеллектуальной среды.

Совершенно иные варианты возможны для изображений, знаменующих одиночные или первоначальные контакты двух и более культур. Это когда художник не был знаком с использованным колесниц, видел их случайно, но хотел зафиксировать самый факт первоначального узнавания. Здесь на рисунке оказывается возможным появление не понятых самим исполнителем и не понятных нам деталей. Впрочем, появление таких непонятных деталей возможно и в случае выполнения изображения художником, прекрасно осведомленным о конструкции и применении этих агрегатов. Это может быть связано со спецификой художественных приемов, применявшихся мастерами. В частности, с использованием разверток вертикально, горизонтально или наклонно расположенных на натуре частей в одной изобразительной плоскости. Простые виды таких проекций стали уже привычны для нас, не искусственных в древнем искусстве зрителей: это изображение колес в плане, как, впрочем, и самих колесниц и запряженных в них лошадей, даже когда, заведомо, картина передает бытовую сцену, а не рисует, скажем, в бытовых символах положение в небесной сфере, в мире богов и духов, обладающем, как принято считать, другими по сравнению с человеческим миром формами пространства. Конечно, количество проекций для сложных объектов не ограничивалось только двумя. Это, надеюсь, удалось показать с помощью типологических наблюдений над графикой, сочетающей изображения человека и кузова. Различные изобразительные традиции отражает способ передачи положения коней в упряжке: они могут быть обращены ногами к дышлу или наоборот. Могут «стоять на земле», располагаясь друг над другом по обе стороны дышла, хотя чем графическая традиция ближе к истокам и к изображению объектов с природы, тем понятнее, четче и более «интернационально» вы-

глядит рисунок, более понятным оказывается его язык. Но это именно язык художественного творчества, а не разговорный язык того или иного населения, который стремятся угадать по распространению наскальных изображений колесниц и повозок.

Чаще всего использование или даже изобретение повозок и колесниц приписывается индоевропейскому населению [15]. Однако каждый раз, когда такая трактовка появляется, а она восходит еще к бездумным работам Г. Косины и остается в них столь же бездоказательной, как и знаменитые многократные волны завоевательных походов индоевропейцев, по образцу которых создавались карты индоевропейских миграций буквально из любых мыслимых древних центров в столь же произвольно постулируемые новые вторичные, третичные центры. Если не считать недостоверное изображение на сосуде из Броночиц (Польша) [16], на котором изображен домик с метелкой на крыше и с кружочками по углам и в центре, принятый исследователями за изображение повозки, и столь же сомнительных, находящихся вне контекстов радиоуглеродных дат и чисто гипотетических идей об изначальном появлении индоевропейцев в Европе, нет никаких реальных оснований подозревать происхождение повозки вне пределов ближневосточного мира, где она могла быть связана исключительно с шумерийской и семитской средой. Вопрос о месте **изобретения** колесницы и этноязыковой среды, в которой она **появилась**, пока остается нерешенным. Вооружение редко может оставаться в пределах той среды, где оно изобретено и применено впервые: чем выше его эффективность, тем скорее его заимствуют враг и ближайшие соседи. Здесь процесс протекает так же, как при освоении лошади. Начало процесса хозяйственного использования лошади однажды удалось исследовать в рамках Новой истории: это наблюдения адаптации лошади в индейских культурах Северной Америки [17]. Характерным оказалось, что лошадь как транспортное средство могла осваиваться медленнее, чем она же как средство верхового передвижения. А использование лошади в запряжке, вообще, начинается здесь в конце XVIII в., т. е. позднее всего. Однако это лишь заимствование европейского типа повозки и способов упряжки, т. е. особенности развития применения лошади зависели от внешних воздействий, а не опирались на естественную независимую эволюцию этого вида хозяйственной деятельности.

Можно лишь, руководствуясь наличным материалом, делать вывод о том, что колесница изобретена в среде воинственных племен, располагавшихся на периферии древнего культурного

мира, ближневосточных цивилизаций, целесообразно и высокоорганизованная ремесленная промышленность которых придала их производству массовость и внесла в их производство технологическое и конструктивное совершенство. Характерно, что и основная масса находок колесниц в могилах и культовых памятниках происходит с пограничных территорий крупных государственных образований древности, где эти передовые для своего времени страны вели длительную и изнурительную борьбу со своими подвижными, преимущественно кочевыми, соседями [18]. Функционально колесницы, помимо военных действий [19], использовались в массовых охотах, которые крайне типичны для воинственных и военизированных обществ, как средство передвижения, особенно для правителей и знати, а также в многочисленных и разнообразных ритуалах, включая погребальные. Еще в эпоху Конфуция в Китае некоторые категории вельмож имели право на захоронение в колесницах [20].

Итак, новый синьцзянский и внутреннемонгольский материал может быть распределен в пределах нескольких групп изображений, выделенных в моей статье 1987 г. [21]. Вот эти группы:

И. Ч, Б., табл. I,2 — К., 1987, С. 118, табл., рис. Б 12. Акджилга, Памир. Это редкий вид реалистичного изображения. К сожалению, рисунок из Утубулака — это всего лишь контур, а по скопированному в публикации рисунку затруднительно оценить способ и качество исполнения, но сам по себе контур слишком определенно вписывается в четкую иконографическую традицию, которая, помимо этих двух указанных пунктов, представлена еще на одном плохо документированном изображении из глубинных районов (очевидно, дистрикт Шивпури) индийского штата Мадхья-Прадеш [22]. Рисунок выполнен коричневатой-красной краской. Возница стоит в кузове согнувшись, буквально нависая над пароконной упряжкой, изображенной распластанной в летящем галопе: передние ноги выброшены вперед, задние — столь же резко, почти горизонтально отброшены назад. Сбоку, левее, по ходу колесницы изображена крупная человеческая фигура в высоком прыжке с разбросанными в стороны почти горизонтально ногами. Воин замахивается длинным копьём с широким крупным листовидным наконечником, держа его в левой руке. Еще одна человеческая фигура просматривается впереди по ходу движения колесницы. Сама колесница дана в перспективном изображении: левое ближайшее к зрителю четырехспицее колесо много крупнее

более отдаленного правого (последнее плохо видно на фотографии). Хотя в рисунке есть много отличий от двух вышерассмотренных изображений и рисунок выполнен краской, общие принципы стилистики представляются едиными. Это одна изобразительная традиция. Все три этих географически удаленных изображения как бы укладываются в единый повествовательный сюжет: вот колесничный строй застыл на Памире. Возницы только собираются сзади вступить на площадку кузова, а вот уже колесница в движении, исполненном мощной экспрессии, мчится по впервые достигнутой индийской земле: «Даже самые быстрые упряжные кони слушаются его (возничего, героя Брахманаспати. — П.К.)» [23]. Характерно, что с такой же экспрессией, теми же приемами изображены мчащиеся колесницы на сахарских фресках [24]. Параметры изображенной колесницы полностью соответствуют бронзовой колеснице египетского Нового Царства, хранящейся во Флорентийском музее [25]. Изображение из Алтайского уезда Синьцзяна отличает одна крайне важная локальная особенность: колеса переданы в виде кругов с точкой посередине, что может восприниматься как передача дискового колеса. Однако этому выводу противоречит и тип указанной колесницы, и пример из Улуньилибянь, Уланьчабу, Внутренняя Монголия, где на одном и том же изображении левое колесо имеет четыре спицы, нанесенные весьма небрежно, условно, а правое — передано кругом с центральной точкой (Ч., Б., табл. Ш, 4). Можно считать, что здесь локальная графическая традиция отклоняется от основной, где реалистично передается количество спиц в колесах, а для нас, интерпретаторов, появляется основание воспринимать количество спиц как хронологический показатель [26]. Определенно, в этих изображениях сказался более высокий уровень графического символизма: точка становится знаком вращения колеса на оси, а количественной оценкой спиц можно пренебречь, как это, в частности, отражено в китайском иероглифическом знаке *че* — колесница, повозка, где колеса изображают с четырьмя спицами.

Еще одним моментом, утверждающим сходство всех этих удаленных друг от друга изображений, является сходство изображенных на них лошадей с быками. Пожалуй, более четкую иллюстрацию тексту «Ригведы» трудно было бы подыскать: «Бык — твоя ваджра, а также бык — твоя колесница // Быки — два буланых коня, бык — оружие» [27]. Здесь все жизненно важные предметы приравниваются друг к другу через священный напиток сому. Собственно, здесь в «Ригведе» дан яркий образец

древней общественной, да и грамматической систематизации понятий. Более того, благодаря этому тексту можно достаточно наглядно представить себе процесс регулирования в древности грамматической системы языка.

Малочисленность изображений требует и особого методического подхода к поиску путей распространения колесниц, выявлению дорог, по которым они передвигались от одних крайних точек распространения определенной графической традиции до других, таких же крайних пунктов. Разрешить вопрос можно, видимо, зафиксировав крайние точки, поиском на промежуточных территориях достоверных данных, указывающих на возможность массовых передвижений колесниц, на наличие этнокультурных и этнополитических границ, разделявших древнее население на реальные этноисторические образования, связи между которыми могли развиваться от уровня военных конфронтаций, через эпизодические и постоянные торгово-обменные связи, к устойчивому территориальному и жизненному симбиозу, обеспечивающему переходы на новые более высокие уровни организации жизненного и этнокультурного пространства. На пути такого подхода стоят несколько весьма серьезных препятствий: далеко не повсеместно имеются условия для выполнения наскальных рисунков; далеко не все они обнаружены, даже в тех местах, где есть скальные выходы или горные массивы, сложенные на поверхности минералами, пригодными для выполнения на них графических рисунков; далеко не всегда в могилах населения соответствующего времени могут быть зафиксированы следы применения этим населением транспортных средств на животной тяге.

П. Ч., Б., табл. II, 1, 2, 5; I, 6; III, 2, 3, 7, 8 — К., 1987, С. 118, 119., Эти примеры показывают колесницы с кузовом, центр которого располагается точно на пересечении оси с дышлом. При этом кузов может быть как округлым, овальным, так и прямоугольным. В синьцзянской традиции обращает на себя внимание, что многие изображения колес лишены спиц. Это, учитывая изображаемые типы экипажей, не является указанием на то, что данные изображения передают сплошные дисковые колеса: и повозки, и лошади в качестве упряжных животных указывают на конные колесницы. Здесь очевидно создание своеобразной символической традиции, когда точка или кружок внутри окружности — колесного обода — служит для обозначения вращающегося на оси колеса.

III. Ч., Б., табл. III, 1, 3, 6, 8. Здесь явно представлена графическая традиция, как-то перекликающаяся с изображениями Саймалы-таша [28].

IV. Ч., Б., I, 5. Здесь под одним номером представлены два взаимосвязанных изображения: блок из двух крупных колес, соединенных осью, которую пересекает удлиненный прямоугольник, продольно рассеченный линией пополам. Он передает удлиненный, хорошо уравновешенный на оси прямоугольный кузов. Второе изображение здесь представляет два соединенных осью крупных многоспицных колеса, на которых особенно хорошо видна типичная для всей западнокитайской серии изображений черта: передача колес в виде «квадрата» со скругленными выпуклыми сторонами (остаётся надеяться, что эта особенность — не результат вольного копирования объектов). На ось опирается длинная линия дышла, завершающаяся на другом конце фигурой наверхия, где на тонкой подставке выполнено изображение горного козла с крутозавернутыми почти в два оборота большими рогами. Наверхие своими пропорциями и способом выполнения фигуры козла ближе всего сходно с большой серией скифских [29] наверхий классических типов [30]. Не исключена значительная хронологическая близость групп изображений 3 и 4, хотя среди петроглифов самого Саймалы — таша представлены, определенно, группы разновременных изображений.

V. Ч., Б., I, 3; II, 6. Здесь схема изображения лошади с большим выпуклым крупом и «лебединой» шеей напоминает ханьскую изобразительную традицию, проходящую через тысячелетие Средних веков и особенно характерную для передачи чиновничьих экипажей [31]. Она зафиксирована в надгробных рельефах Сычуани и многих фресковых изображениях китайских склепов.

VI. Ч., Б., I, 1. Изображение, не отличающееся ясностью, хотя авторы публикации видят в нем сходство с фургоном, изображенным на Знаменской стеле [32], но непредвзятому взгляду он, скорее, может напомнить какой-то примитивный трехколесный велосипед. Хронологическое место этого изображения определить невозможно [33].

Обычно при описании изображений упоминается о двух одновременно применяемых проекциях. Однако при рассмотрении

отдельных рисунков становится ясно, что при исполнении одного и того же изображения может использоваться большее количество проекций: рисунок перестает быть отражением реального перспективного видения объекта, он оказывается способом его аналитической передачи. При этом все же объект представляется художнику целостным, а не расчлененным на разные планы, как при перспективном черчении. Именно в этом со всей очевидностью проявляется специфика древнего искусства, где в отличие от чисто аналитического технико-инженерного подхода проявляется и эмоционально-символический подтекст — подтекст, в равной степени связанный и с этнопсихологией, и языково-ментальным символизмом

Подводя итог рассмотрению новой группы изображений из синьцзянско-внутреннемонгольского региона, можно констатировать следующее. Эти изображения окончательно замыкают всю протяженность Великого трансевразийского колесничного пути, который, очевидно, формируется в каких-то сравнительно устойчивых формах в XVI—XV вв. до н.э. Причем эти даты необходимо возводить не к привычной уже радиоуглеродной хронологии, а к хронологическим традиционным наблюдениям, основанным на астрономических данных, связанных с хронологией древнейших ближневосточных цивилизаций, где за период от середины XVIII до XVI в. лошадь впервые становится предметом законодательного рассмотрения. Если в Кодексе Хаммурапи лошадь не представлена полностью, то уже в хеттских законах она упоминается в целом ряде статей [34].

Древнейший тип колесницы, представленный в различных группировках от сахарских изображений до синьцзянских, — это повозка с полуовальным кузовом, опирающаяся задним концом на неподвижную ось, представляющую вместе с пересекающим ее дышлом основу всей конструкции колесницы. По всей видимости, кузов такой колесницы сплетался из перекрещивающихся ременных полос, что создавало некоторую имитацию рессор, облегчающих для экипажа колесницы резкую тряску кузова при продвижении по каменистым дорогам. Именно данный тип изображений наиболее точно фиксирует конструктивные особенности этого вида транспорта.

Дальнейшее развитие изобразительной традиции идет весьма различными путями. Здесь нет той жесткой однозначности, подсказываемой обычно письменной традицией, в пределах которой невозможно в целях более четкого взаимопонимания разнообразить знаки, давать их многочисленные аллографы, ибо такого

рода действия ведут к резкому увеличению знакового репертуара и таким образом могут сказываться на снижении взаимопонимания между исполнителем надписей и ее читателем. Возникновение многообразных ареальных графических традиций в исполнении колесничных изображений отчасти отражает и реальные изменения конструкций колесниц, но в большей степени на них сказывается разнообразие способов решения графических задач при выполнении на плоскости многомерных объектов. Первая и наиболее заметная черта передачи многомерности на плоскости отмечена давно. Это трактовка всего колесничного кузова и колес в плане. Однако увеличение количества изображений позволяет наблюдать и такое явление, как воспроизведение на оси передка кузова во фронтальной позиции. Это решение вызывает к жизни целый ряд изображений, у которых кузов размещается позади оси, что практически в колесничной конструкции невозможно, ибо вес кузова и находящихся в нем людей через поворотную точку в месте опоры дышла на ось, создавал бы мощный противовес: передний конец дышла с ярмом устремлялся бы кверху, удушая лошадей и опрокидывая кузов назад.

Судя по изображениям, в конструкциях самого кузова происходит достаточно много крупных изменений. В частности, к концу эпохи бронзы и особенно в период раннего железного века возникают вместо полуовальных кузовов разновидности прямоугольных и квадратных [35]. Последние, судя по изображениям взаимосвязанных колесничных сцен, определенно доминируют уже в скифскую эпоху. Вообще, изображения скифского периода сейчас уже могут выделяться, во-первых, по передаче специфических бронзовых наверший на дышлах, во-вторых, по многочисленным копытным изображениям, сопровождающим различные изобразительные сюжеты [36], в-третьих по упрощению, а, соответственно, и усилению символичности графики.

Благодаря росту числа пунктов, где обнаруживаются наскальные изображения, и увеличению численности сюжетов сейчас уже можно говорить не только о генеральной трассировке западно-восточного пути, но и о его многочисленных ответвлениях и тупиках. Последнее особенно важно в силу того, что тупиковые направления распространения сюжетов, сопровождающиеся уменьшением реалистичности изображения, отчетливо знаменуют появление определенных символических трактовок колесных средств передвижения и их включение в разного рода повествовательные сюжеты мифологического, мифоэпического и мистического содержания. Не будучи сторонником поиска

прямых соответствий между древней эпической традицией и ее современными формами, я все же могу отметить, что в самом общем плане такие направления мифологических трактовок колесных средств передвижения, которые связывают колесницу с движением небесной сферы, солнца и, может быть, даже планет, в конце бронзового века уже полностью формируются.

Благодаря многочисленности находок наскальных изображений разнообразного содержания выявляются некоторые центры повышенной демографической активности на путях, охваченных колесничным движением. Несомненно сравнительно мощные человеческие коллективы, как, впрочем, показывают и археологические раскопки, обнаруживаются на Алтае, в тувинских горных проходах, во многих местностях Монгольской республики. Очень характерно, что древние колесничные дороги выходят на территории КНР к западному участку излучины Хуанхэ, переправа на которой, сохраняющая неизменный характер, фиксируется уже в течение двух тысяч лет. Через реку переправляются на понтонах, образованных надутыми воздухом бараньими шкурами (или бурдюками) [37].

Теперь, когда количество изображений резко возросло, можно постепенно отходить от единообразной трактовки на изображениях различного рода технических особенностей. Так, далеко не однозначно может восприниматься вопрос о хронологическом значении количества спиц в колесах наскальных изображений, да и сама передача на изображениях спиц. Уже древнейшие виды колесничных изображений в Синьцзяне могут быть частично или полностью лишены спиц. Для посвященного зрителя вполне достаточно было передачи общего вида колеса. Впрочем, не следует забывать о специфических сложностях копирования наскальных изображений и тем более воздействия на специфику изображения многократной перерисовки его не с подлинников, а с тех или иных видов воспроизведений.

Полагаю, что надо особо выделять те пункты, в которых сосредоточиваются многочисленные наскальные изображения распряженных колесниц. По всей видимости, именно с ними связаны обозначения древних стоянок, наиболее оптимальных для отдыха движущихся колесничных караванов. К сожалению, выходы скальных пород, на которых могли наноситься графические сюжеты, далеко не равномерно проявляются на колесничных путях. Так что для поиска таких мест дневок, ночевок, отдыха необходимо использование более разнообразной методики, включающей также и данные археологических раскопок [38].

Примечания

1. Черемисин Д. В., Борисова О. В. Колесный транспорт в наскальных изображениях Синьцзяна и Внутренней Монголии // Евразия : культурное наследие древних цивилизаций. Новосибирск, 1999. Вып. 2 : Горизонты Евразии. С. 129—134.

Благодарю С. А. Комиссарова за целый ряд ценных библиографических указаний

2. Достаточно обратить внимание на реконструкции колесниц, сделанные на основе гальштатских находок, чтобы понять, их полную произвольность. Яркие примеры произвольных реконструкций представляют рисунки синташтинских колесниц — они имеют вид каких-то грубых тяжеловесных ящиков, выполненных из толстых досок. Конструкция кузова — выдумана. Основное условие — всемерное облегчение веса кузова для обеспечения скорости и маневренности экипажей здесь нарушено. См.: Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В. Синташта : археологические памятники арийских племен Урало—Казахстанских степей. Челябинск, 1992. С. 166, 184, 205, 215.

3. Нефедкин А. К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI — I вв. до н.э.). СПб., 2001.

Синтетический научно—популярный очерк предыстории и ранней истории колесного транспорта «для малограмотных», при этом еще и крайне претенциозный (С. 16—132) вовсе не украшает эту книгу. Автору хочется высказаться по всем вопросам, которые по его представлениям могут иметь отношение к колесному транспорту, но при этом он не привык работать с фактическим материалом и потому отдает предпочтение **чужим мнениям**, на которых пышно расцветают **его собственные фантазии**. Работа по выходе заслуживала серьезного анализа и критической рецензии, но время уже упущено и теперь остается только пожинать постмодернистские плоды этого кривого древа. Здесь не учтена работа А. Одрикура (Haudricourt H.-G. Contribution a la geographie et a l' Ethnologie de la voiture // La revue de geographie humaine et d' ethnologie. Paris, 1948. № 1. P. 54—64), практически предопределившая дальнейшее развитие представлений о возникновении и развитии транспортных средств с животной тягой, но исходившая при этом из чисто умозрительных положений.

4. Кожин П. М. Система представлений в археологии : хронология, этногенез, производство, структура общества // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. — V век до н.э.). Тирасполь, 2002. С. 13—16

5. Кожин П. М. Этнокультурные контакты на территории Евразии в эпохи неолита — раннего железного века (палеокультурология и колесный транспорт) : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук. Новосибирск, 1990.

Работа В. А. Новоженова «Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии» (Алматы, 1994), вполне удовлетворительная в качестве кандидатской диссертации, как научная монография далека от совершенства: расширились возможности компьютеров и, в частности, возможности сканирования изображений; классификация оказалась искусственной и непродуктивной; научная методологическая основа, взятая у С. Пигготта, У. Спрэйта, М. А. Литгауэр и Й. Крауэла, на которой строятся представления о возникновении, развитии и распространении транспорта с животной тягой (быки, лошади) — весьма эклектична. Более того, его данные непригодны для картографирования признаков и их генетической типологии, определяющих локальную и региональную специфику изучаемого материала. Много замечаний может быть сделано и к соответствующим разделам монографии Нефедкина.

6. Marquart J. Osteuropäische und Ostasiatische Streifzüge. Leipzig, 1903 ; Меч А. Мусульманский ренессанс. М., 1966 ; Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература // Избранные сочинения. М., 1957. Т. 4.

7. Подосинов А. В. Восточная Европа в римской картографической традиции. М., 2002 ; Ибн-Хордадбех. Книга путей и стран. Баку, 1986.

8. В этом путешествии обнаруживалось много неясностей, касающихся пути, по которому оно осуществлялось, народов, с которыми имел дело путешественник; хронологии этой поездки. Все эти моменты настолько расходились с привычными уже для специалистов данными о средневековой этногеографии, что решительное заявление В. В. Григорьева, известного ориенталиста, друга Ф. М. Достоевского — типичного представителя «разночинной науки» второй половины XIX века с ее руководящей тенденцией к ниспровержению авторитетов; к активному недоверию ко всему непонятному, не вмещающемуся в привычные для этих специалистов данные о том, что путешествие не имело места, — нашло столь бодрый отклик в историографии, что и принципиальные соображения барона В. Р. Розена, а затем и работы фон Рор-Зауэра (Rohr — Sauer A. von. Des Abu Dulaf Bericht ueber der Reise nach Turkestan, China und Indien // Bonner Orientalische Studien. Stuttgart, 1939. N 26) и И. Ю. Крачковского «Вторая записка Абу Дулафа в географическом словаре Иакута» (Избранные сочинения. М. ; Л., 1955. Т. 1. С. 280—283, 292), не смогли эти оценки переменить. Сэр Генри Юл (Yule H. Cathay and the Way thither. L., 1913. Vol. 1), правда, не поддался этой всеобщей тенденции, но принципиального значения в этом вопросе его мнение не имело. Опыт непредвзятой оценки текста Абу-Дулафа оказался весьма перспективным: 1) Хронологически путешествие должно относиться к начальным годам правления китайской династии Цзинь (936—946), а точнее между 937—941 гг., когда договор с киданьской империей, для которой Цзинь была в это время покорным вассальным государством, открывал китайцам привычные дороги на Запад, закрывавшиеся в периоды политических смут. Можно обоснованно полагать, что путешествие относилось к середине данного периода, т. к. Наср-ибн-Ахмед, отправлявший в Китай посольство, с которым путешествовал Абу-Дулаф, в 943 г. уже умер. 2) Уже фон Рор-Зауэр смог указать на некоторые моменты

точности наблюдений Абу-Дулафа: просто факты были неизвестны его критикам. 3) Несхожесть картины расселения древних племен, упомянутых в «Первой записке», сравнительно с близкими ей по времени источниками и общими традиционными для арабо-персидской географии представлениями. Я пользовался копией микрофильма Мешхедской рукописи, любезно предоставленной мне Архивом Института востоковедения РАН. Благодарю Е. И. Кычанова и Р. М. Асланова за помощь в получении этого текста (№ Ф-В 202, лл. 175а—182 б.)

9. Однотипность повозок, а тем более колесниц, в пределах достаточно значительных культурных ареалов, а также обязательное участие в их производстве групп работников, имеющих какой-то необходимый минимум производственных знаний и навыков, само по себе подразумевает достижение уже не **домашнего уровня изготовления** изделий, а **ремесленного уровня производства**. Не стоит слишком безапелляционно полагаться на методическое наследие 18—19 веков — жесткое классификационное деление всех проявлений человеческой культуры, цивилизации, — будто бы твердо и однозначно устанавливающее ступени развития «социально-экономических формаций» во времени и пространстве.

10. Избицер Е. В. Погребения с повозками степной полосы Восточной Европы и Северного Кавказа III—II тыс. до н.э. : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. СПб., 1993.

Я не могу в силу вполне объективных причин согласиться с оценкой данным исследователем такого крайне выразительного материала, как модели повозок. Объективной аргументации, подтверждающей, что эти предметы из памятников ямно-катакомбного времени не являются моделями повозок, автор привести не может, но ею представлена сводка памятников эпохи бронзы, содержащих реальные следы применения в рассматриваемую эпоху колесного транспорта с бычьей запряжкой. Игнорировать эту полезную работу — попросту непорядочно. Специалисты обычно с упоением ссылаются на различные вторичные сводки А. Хойслера и подобных ему переводчиков-интерпретаторов, в том числе и по проблемам колесного транспорта, всего лишь механически воспроизводящие данные советских и российских ученых, но считают для себя возможным не обращать внимания на самостоятельные работы своих соотечественников или, не ссылаясь на них, использовать их результаты и приоритеты, чем, по моим наблюдениям, особо грешит А. В. Варенов.

11. Кожин П. М. Проблемы историко-культурных и этнических контактов населения Евразии с IV тыс. до н.э. по первые века н.э. : (происхождение и древняя история колесного транспорта). М., 1982. 273 с. Депонировано ИНИОН АН СССР. № 13481 от 30.06.1983.

12. См.: Новоженев В. А. Указ. соч. С. 115, рис. 76. Ср.: Кожин П. М. Некоторые данные о древних культурных контактах Китая с внутренними районами Евразийского материка // Н. Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение (к 200-летию со дня рождения) : материалы конференции. Ч. 2. С. 24—41. Здесь впервые представлены в таблице отдельные примеры

фиксации генетической типологии в приемах наскальных изображений колесниц и их снаряжения .

13. Кожин П. М. Колесничные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987. С. 109—126. (Далее: К., 1987). С. 119, В9, 12, 7 ; С. 118, Б4,2; Новоженов В. А. Указ. соч. С. 116, рис. 77.

14. Кожин П. М. Колесничные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987. С. 119, В 11.

15. См., например, в монографии Ю. И. Михайлова «Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха бронзы)» (Кемерово, 2001. С. 18): «...“аргумент колеса” (изображения колесного транспорта) применительно к сибирским культурным традициям обладает несомненной доказательной силой и предполагает распространение на территории Сибири традиций, связанных с индоевропейцами». Учитывая какие пространства и среды каких народов прошли древние популяции, овладевшие колесным транспортом прежде, чем достигнуть той же Сибири, говорить всерьез о «индоевропейской речи» этого населения не приходится. Нужны **объективные аргументы**.

16. Milisauskas S., Kruk J. Utilization of Cattle for traction during the Latter Neolithic in Southern Poland // Antiquity 1991. Т. 65. P. 562—566 ; Malecki R. Magiczno-religijna funkcja starozytnych wozow // Archaeologia Polski. 1995. Т. 60. Z. 1—2. S. 91—100. Благодарю И. В. Палагугу за указание на последнюю работу.

17. Кожин П. М. Распространение лошади и этнокультурные перемены в Сев. Америке в 16—19 вв. // Америка после Колумба : взаимодействие двух миров. М., Наука, 1992 .

18. Кожин П. М. К проблеме происхождения колесного транспорта // Древняя Анатолия. М., 1985. С. 176—177. Имеется разгульный критический отклик: Нефедкин А. К. Указ. соч. С. 55.

19. Военное использование колесниц — это тема для бесконечно варьирующих полудетских или произвольных фантазий. Ср.: Худяков Ю. С. Херексуры и оленные камни // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987. С. 158—159.

20. Кожин П. М. «Сыновья и внуки будут вечно пользоваться...» // 30-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2000. С. 20

21. Кожин П. М. Колесничные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987 (далее в тексте — К., 1987); статья Д. В. Черемисина и О. В. Борисовой обозначается: Ч, Б.

22. Варма А. Наскальная живопись — свидетельство эволюции человека // Индия. Перспективы. 1996. Окт. С. 12.

Опубликованное здесь изображение представляет настолько большое значение, что я счел возможным построить на нем специальную статью, посвященную юбилею академика А. П. Деревянко, но так как она осталась в рукописи: займствую из нее соответствующие материалы. Большой обзор индийских материалов выполнен А. Я. Щетенко (Колесницы и повозки Древней Индии // Происхождение и распространение колесничества : сборник научных статей. Луганск, 2008. С. 234—275). К сожалению, по традиции, автор слишком прочно стремится связать колесницу с цивилизацией древних ариев. Даже при том, что в арийской культуре колесница очень рано и ярко представлена в священных, мифологических, фольклорных текстах, она все же становится еще раньше общим для древневосточных культур мощным боевым оружием. Впрочем определять колесницу только как оружие — неверно. Греческая *αρμα* (какой наредкость продуктивный общеевропейский корень) — это всего лишь легкая двухколесная повозка, применяемая для быстрых переездов, состязаний, процессий и, конечно, войны, т. е. она полифункциональна, тогда как *αμαξα* — это прежде всего грузовая повозка.

23. Ригведа. Мандалы I—IV. М., 1989. Т. 1. С. 265; 24, 13.

24. Lhote H. Les chars rupestres sahariens des Syrtes au Niger, par le pays de Garamantes et de Atlantes. P., 1982.

25. См.: Нефедкин А. К. Указ. соч. С. 27. В данном случае вполне правомерно сослаться через эту публикацию на оригинальные чертежи Йоста Крауэла, опубликованные в зарубежном издании, но вот ссылаться на материалы А. А. Мартиросяна, А. О Мнацаканяна, О. М. Джапаридзе и другие через работы Т. Стюарта Пиггота, М. А. Литтауэр и др. мне представляется не вполне корректным, а именно такие ссылки особо часты.

26. Хронологическое значение таких деталей изображения, как количество спиц не следует преувеличивать: оно значимо лишь тогда, когда рисовальщики продолжают неизменно воспроизводить натуру, если же знак приобретает все усиливающуюся символичность его хронологическое значение резко уменьшается. Особо следует обращать внимание на случаи воспроизведения колес с нечетным количеством спиц: такие рисунки не могут воспроизводить реальные колеса быстро движущихся колесниц, ибо при отсутствии противоположащей жесткой опоры усиливалась нагрузка на ступицу и обод, что вело к быстрому разрушению колеса. См.: Sleeswyk A.W. Form and Function in the Evolution of the Wooden Wheel // Explorations in the History of Science and Technology in China. Shanghai, 1982. P. 471—504.

27. Ригведа. Мандалы I—IV. М., 1989. С. 255: II, 16, 6.

28. Шер А. Я. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980. С. 105—112, 195, 196. Работа А. И. Мартынова, А. Н. Марьяшева, А. К. Абе-текова «Наскальные изображения Саймалы-таш» (Алма-Ата, 1992) осталась для меня недоступной и известна только по рецензии.

29. «скифских» — здесь, как и всюду в моих текстах, равнозначно «скифо-сибирских», но это уточнение лишено принципиальной важности для

всех, кроме тех специалистов, которые «хотят видеть» скифов только среди населения Европы. Сейчас, когда произведено необоснованное произвольное удревнение материалов кургана Аржан и всей свиты аналогичных памятников, делаются попытки, столь же произвольные, не принимая во внимание «скифскую триаду», вопрос о содержании понятия скифы, их этнокультурной, языковой и географической привязки требует очередного коллективного рассмотрения, а не поучающих выкриков. Ср. запутанную полемику, порожденную Л. Т. Яблонским (Скифы, сарматы и другие в контексте достижений отечественной археологии XX века // *Российская археология*. 2001. № 1. С. 56—65 ; Его же. *Археология и скифология в этноисторической реконструкции* // *Российская археология*. 2003. № 4. С. 71—79). Последние опыты деловой здоровой последовательной оценки скифской культуры как общеевразийского этнокультурного феномена были сделаны М. Н. Погребовой и Д. С. Раевским в книге «Ранние скифы и Древний Восток» (М., 1992). В частности, там впервые последовательно обсуждается вопрос о возможности сложения скифской культуры в центральноазиатских регионах и обосновывается преждевременность такого подхода. Однако эти соображения не имели позитивных результатов: появилась алогичная работа о скифских шлемах, соображения о «длинной хронологии» кургана Аржан и весьма знаменательное сочинение В.А. Кореняко «Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль» (М., 2002), где музейная этнографическая коллекция (XIX—XX вв.) становится побудительным мотивом для обсуждения происхождения огромного массива доисторического искусства, имевшего общеевразийскую значимость.

30. Навершия, укрепленные на втулках круглого или квадратного сечения, типичная деталь конско-колесничного убранства в скифских, скифо-сакских, скифо-сибирских комплексах бронзовых изделий. Классификацию этих предметов для памятников Северного Причерноморья, в широком смысле этого понятия, предложила Е. В. Переводчикова (Типология и эволюция скифских наверший // *Советская археология*. 1980. № 2. С. 23—44). Эти «предметы неизвестного назначения», охватывая весь период существования памятников «восточно-европейских, северо-причерноморских скифов», встречены также в культурах Центральной и Средней Азии (тасмолинская, тагарская, алтайские культуры). В связи с комплексом кургана Аржан I делаются попытки резкого удревнения соответствующих находок. К чему это ведет, пожалуй, наиболее ясно видно на примере исследованного недавно кургана Аржан II, напоминающего по инвентарю курган Иссык и сходные с ним более поздние находки, но теперь хронологически искусственно оторванного от них, чем порождаются многие новые этнокультурные неясности в картине историко-культурных связей населения Центральной Азии в эпоху раннего железного века. В частности, анализируя комплекс Корсуковского клада (Бердникова В. И., Ветров В. М., Лыхин Ю. П. Скифо-сибирский стиль в художественной бронзе Верхней Лены // *Советская археология*. 1991. № 2. С. 196—207. Ср.: Зуев В. Ю., Исмагилов Р. Б. Корсуковский клад // *Южная Сибирь в древности*. СПб., 1995, С. 67—75), естественно прийти к выводу, что представленные там колокольчиковые навер-

шие являются производными от какой-то линии развития этого типа изделий, имеющих довольно тесное взаимодействие с келермесско-ульской традицией изготовления наверхий (типы IV—VII по Переводчиковой), но тогда возникает необходимость передатировки, а точнее, пересмотра всей шкалы относительной и абсолютной хронологии древнейших этапов раннего железного века и «скифской эпохи» Евразии. Что же тогда придется делать с датировками ассирийских, чжоуских и прочих памятников, которые имеют даты, не зависящие от «скифологических» домыслов?

31. См.: Powers M. J. *Art and Political Expression in Early China*. New Haven, 1991. P. 144, 102, 126.

32. Новоженев В. А. Указ. соч. С. 98, рис. 62, 1

33. Грязнов М. П. Писаница эпохи бронзы из д. Знаменки в Хакасии // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института Истории материальной культуры. М., 1960. Вып. 80. С. 85—89. М. П. Грязнов неоднократно передатировал изображение, исходя из своих чисто стадийных представлений о периодизации древностей: прошлое делилось на стадии. Стадии должны были быть всеобщими, т. е. если предмет в одном пункте датируется определенным временем, то этот предмет повсеместно должен быть продатирован тем же временем. Отсюда идет эта тяжеловесная и неаргументируемая формулировка: «памятник карасукского / или ирменского или любого другого/ времени и типа». Именно этот рисунок представляется древнейшим. Для такой оценки нет ровным счетом никаких оснований. «Окуневский возраст» изображения придавал ему большую хронологическую глубину, хотя в действительности культурная принадлежность далеко не всегда может способствовать уточнению хронологической позиции. Ср.: Кожин П. М. Относительная хронология погребений в могильнике Окунев Улус // Советская археология. 1971. № 3. С. 31—39; Его же. Периодизация древних межцивилизационных евразийских контактов Китая // Китай в диалоге цивилизаций : к 70-летию академика М. Л. Титаренко. М., 2004, С. 705—710.

34. Законы вавилонского царя Хаммурапи, §§ 258, 271, 272 // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980. Ч. 1. С. 172, 173) ; Хеттские законы, §§ 57, 58, 63, 66, 71, 75 272 // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980. Ч. 1. С. 279, 280. Эта проблема рассматривалась в моей докторской диссертации.

35. Это отразилось и в конструкции древнекитайских колесниц. Так находка ямы с колесницей в 1972 г. в Сяоминьтуне (Кучера С. Китайская археология, 1965—1974 : палеолит — эпоха Инь : находки и проблемы. М., 1977. С. 133—138, рис. 64, 66, 67), датированная иньским временем, должна быть передатирована чжоуской эпохой: помимо прямоугольного кузова здесь обнаруживаются два четких показателя, исключающие иньскую датировку. Это — использование особого типа ярма-рогатки, отличного от иньских образцов. Это ярмо собиралось из отдельно отлитых стандартных металлических деталей. В число деталей входили две боковые рогатки, специальные кольца для их соединения и наверхие. Стандартный характер имела также металлическая угловатая корытообразная «пятка», венчавшая задний конец

дышла. Вообще, на территории Иньского городища в чжоускую эпоху жизнь вовсе не заглохла и ряд памятников, обнаруженных здесь, имеют весьма выразительные чжоуские особенности: достаточно вспомнить металлические двухсоставные удила из мог. 216 Западного сектора Аньяна и другие находки из этого же комплекса.

36. Кожин П. М. К проблеме хронологии азиатских петроглифов // Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск, 1982. С. 102.

37. Шивашанкара Менон К.П. Древней тропею. М., 1958. С. 199.

Глава 4

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

§ 1. К вопросу об «организации» Шелкового пути

Представления о Шелковом пути в той форме, в которой они сложились в современной научной литературе, в целом являются некоторой исследовательской фикцией. Прежде всего, это касается подхода, при котором все проявления тесных прямых контактов и параллелизмов в духовной и материальной культуре между крайним Востоком материка Евразии и Западной Азией, Европой представляются в той или иной мере следствием функционирования «шелкового пути», трактуемого очень расширительно, а не как сравнительно устойчивая торговая дорога, трассированная от древней Чанани (Сиань, пров. Шэньси), через Западный Край, вдоль северных предгорий Тибета (либо — северная ветвь по бассейну Тарима), выбегающая в районе Кашгара из Центральной Азии, а затем разветвляющаяся и петляющая по плоскогорьям, предгорьям и равнинам всего западного мира, доступного знаниям и взглядам арабских и европейских средневековых торговцев и географов. Однако и этот последний путь вряд ли справедливо трактовать как постоянно действующую с устойчивой средней пропускной нагрузкой торговую магистраль: ее активность и самое функционирование поддается четкой периодизации, начиная с момента формирования где-то во II в. до н.э. (Алмгрен). При этом, пока эти периоды приходится определять преимущественно по интенсивности импортного потока, идущего с Востока, из Китая:

1. II в. до н.э. — II в. н.э. (начало), когда становление пути было обусловлено комплексом стратегических соображений,

связанных с защитой западных и северных рубежей Ханьской империи. Защититься пытались с помощью разрушения мощного племенного объединения сюнну, вовлечением их в борьбу с группировками юэжжи. Для этого, в частности, использовались различные китайские промышленные товары, предназначенные для того, чтобы изменить образ жизни кочевого населения, теснее привязать его к Китаю, что выясняется из приведенных Сыма Цянем (Исторические записки, гл. 110) высказываний перебежчика, придворного евнуха Чжунхан Юэ, ставшего приближенным сюннуского владыки. Рост потока этих товаров, предназначавшихся первоначально для подкупа племенных вождей западных и северных территорий, по мере расширения круга вовлеченных в китайскую внешнюю политику племен, способствовал стабилизации маршрутов и регулярности прохождения торговых караванов, а также увеличению протяженности путей. Правда, последнее обстоятельство, помимо исключительно рационалистических причин, экономических и дипломатических выгод, было обусловлено и чисто индивидуальными интересами ханьского императора У-ди, надеявшегося обрести в дальних неведомых землях эликсир бессмертия и «специалистов», умеющих его изготовлять и применять. С нарастающим упадком Ханьской империи уже в начале II в. н.э. интенсивность торговых связей ослабевает.

2. II—V вв. Этот период не связан с каким-либо экономическим подъемом на Востоке, но утвердившиеся в предыдущем периоде культурно-промышленные центры, активизировавшиеся в оазисах центральноазиатских пустынь, начинают привлекать массовые потоки населения из Индии, Ирана, Восточного Средиземноморья. Центральноазиатский «шелковый путь» становится дорогой изгнанников, путем паломничества для представителей многих гонимых и экспансивных вероучений: зороастризма, манихейства, несторианства, буддизма. Для востока континента — это время гигантских духовных преобразований, фактически, время «охвата» этой части эйкумены «осевой эпохой», по К. Ясперсу. Идея спасения и Спасителя впервые начинает культивироваться в Китае, хотя и не приобретает здесь значения имперского политического фетиша.

3. VII—VIII вв. Политическая и экономическая ситуация оказываются близки первому периоду. Направленность импортного потока на Запад соответствует тому же времени. Собственно, в это время окончательно и сформировался путь, охарактеризованный фон Рихтгофеном, А. Стейном, А. фон Ле Коком. Однако и

предыдущий период получил здесь прямое продолжение благодаря потоку изгнанников, не принявших политические религиозно-правовые принципы ислама. Представляется, что в это время Центральная Азия превращается, благодаря мощному потоку сасанидских ремесленников, в мощный очаг золотой и серебряной торевтики, постепенно смыкающейся с ремесленно-торговыми центрами собственно Китая, и вольно или невольно (благодаря набегам, походам и захватам окружающих воинственных тюрко- и монголоязычных племен) снабжающий своей продукцией окружающий и даже крайне отдаленный кочевой мир. Тогда как для исламских торговцев эта дорога в данное время закрывается, и они инстинктивно, буквально «на ощупь» ищут пути на Восток, как показывают свидетельства Ибн-Хордадбега об экспедиции Салламы аль-Тарджумана (VIII в.), Тамима ибн-Бахра и, особенно, столь презираемое специалистами со времен В.В. Григорьева, описание путешествия в Китай в составе бухарского посольства в первой половине X века, выполненное арабским поэтом Абу Дулафом. Не менее 207 дней длился этот сложный и извилистый, судя по описанной географической обстановке, маршрут, завершившийся, возможно, в Чанъани (впрочем, Абу Дулаф продолжил свое путешествие через Индо-Китай и Индию). Хотя по времени эти маршруты выходят из рамок указанного периода, как и сообщения Марвази, географического справочника «Худуд аль-олам», Гардизи и др., но они отражают знания, в основном относящиеся к данному III периоду.

4. X—XII вв. Образование крупных Киданьской, Ляоской, Цзиньской империй на севере Китая весьма строго изолировали Южно-Сунское царство от окружающего мира. Это вызвало и значительные изменения маршрутов восточной международной торговли. Преобладающее значение вновь приобрели пути, сложившиеся еще в доисторические времена, проходившие через Монголию, Алтай, Казахстан. Активизируется меридиональный внутрикитайский торговый путь, выявленный Е.И. Лубо-Лесниченко по очень многообразным категориям источников, устремляющийся на север и приобретающий западную ориентацию лишь на широтах Дальнего Востока.

5. XIII в. — время бурных и протяженных монгольских завоеваний — занимает совершенно особое место в истории трансевразийских контактов. Это период, когда политические, торговые, военные (и даже духовные) связи лишаются региональной ограниченности, когда впервые один и тот же человек мог неоднократно пересекать все пространство обитаемой суши Старого

Света, естественно, в определенных широтных пределах. Пожалуй, ближе всего к таким образцам пример Марко Поло, но сколько раз и в каких направлениях могли перемещаться по миру монгольские воины, чиновники, торговцы, властители покоренных стран, ездившие в Каракорум за утверждением инвеституры или с целью отстоять свои наследственные властные права, либо приобрести новые, — определить практически невозможно; немногие писали воспоминания, еще меньше их дошло до наших дней. Гильом де Рубрук упоминает о встречах во время своего пути с другими путниками, но большинство из них для нас остались только именами!

6. Наконец, XIV—XV вв. — время очередного усиления внутререгиональных контактов, за которым уже не следует их подъем на трансконтинентальный уровень, ибо инициатива глобальных связей перемещается на уровень европейской морской торговли, которая становится узкоспециализированной и не сочетает, подобно торговле арабской, морские переброски с сухопутными маршрутам, когда одни и те же торговцы проходили со своим товаром весь маршрут — от пунктов, где размещались ремесленные центры, до конечных пунктов сбыта. Впрочем, этот принцип организации протяженных и разнообразных по средствам передвижения сверхдальних маршрутов был, кажется, издревле присущ торговле в Средиземноморье и достаточно ясно выражен в торговле Карфагена, Самоса, Делоса, Родоса, откуда шла крупная металлическая посуда и различного рода предметы военного снаряжения вначале в Восточное Средиземноморье, а затем в Центральную и Северную Европу в античное время.

Уже сама предлагаемая здесь периодизация указывает на некоторые организационные принципы в создании протяженных торговых путей, но есть возможность систематизировать их более последовательно. При этом, конечно, в каждом конкретном случае должны быть учтены очень разнообразные факторы географического, геологического (рельеф), палеоклиматического, этнополитического и демографического планов, общие для всего протяжения пути либо для отдельных его частей. В целом же, вне зависимости от того, было ли создание пути стихийным или сознательным изначально, в его оформлении присутствуют следующие моменты:

А) **Трассировка.** Здесь резко различимы несколько вариантов: прокладывание маршрутов по более древним дорогам миграций-расселений; периодических перекочевков; завоевательных походов; по этническим или политическим пограничьям; созда-

ние маршрутов между заранее определенными конечными пунктами; увеличение протяженности маршрутов за счет включения в общую трассу новых, более удаленных, или побочных по отношению к основной артерии связей, конечных пунктов, что могло потребовать общей или частичной перетрассировки пути; выработка в процессе эксплуатации пути более оптимальных маршрутов; исключение тех или иных промежуточных или конечных пунктов из маршрутов. При всех этих условиях ставилась сознательная задача обеспечения непрерывности каждого маршрута, учет требований интенсивности и способов передвижения.

Б) Безопасность пути. Она складывается из двух независимых компонентов: 1) техническое оснащение дороги, устройство мостов, обеспечение необходимой ширины полотна, уменьшение уклонов, приспособление покрытия к транспортным средствам. Это всегда очень масштабные мероприятия, требующие постоянного контроля; 2) охрана караванов и грузов от нападений местных племен, что предусматривало постоянные дипломатические, карательные и поощрительные мероприятия.

В) Снабжение: корм для животных, еда, вода.

Г) Транспортные средства и тягловые животные.

Д) Кадры караванщиков и проводников.

Е) Формирование импортно-экспортного торгового ассортимента.

Ж) Обеспечение сбыта (рынки); гарантии кредитно-вексельных, залоговых, платежных и прочих операций.

Этот далеко не полный и, к сожалению, лишенный здесь конкретных примеров список обязательных организационных мероприятий сам по себе свидетельствует о длительном историческом развитии системы этнокультурных контактов и связей, предшествующих их жесткому оформлению в регулярные торговые и обменные пути разного диапазона действия в пространстве и времени. Этапы их формирования в доисторический и раннеисторический периоды оказываются прямо взаимосвязаны (а иногда и составляют саму суть этих явлений!) с этнокультурной историей, этнической и социальной антропологией, языковой, духовной, религиозно-философской и политической средой, материальной культурой огромного массива человеческих коллективов, который веками, даже тысячелетиями, колыхался, как море, в изолированных пустынях Центральной Азии и окружающих ее пространствах, принимал в свою среду чужие народы и адаптировал их, трансформировал их в соответствии со своими идеями, потребностями, представлениями. Сам же, по мудрому замечанию

академика В.П. Васильева, меняя имена, оставался неизменным. И, хотя движение населения и контакты шли с Запада, проложил прочную дорогу на Запад все же Восток. И поставлял по ней «чудеса», поражавшие западный мир. Но Восток был спокоен и не искал на Западе «чудес», довольствуясь историографической фикцией, идущей еще от *Шуцзина* (гл. «Дани Юйя»), строго фиксируя полученные от «западных варваров» «диковины». Западное население еще с доисторических времен неоднократно устремлялось на Восток по постепенно складывавшимся «дорогам набегов» (термин, предложенный Й. Марквартом в 1903 г.), вызывая тем самым, особенно начиная с Античности и Раннего средневековья, ответные движения кочевых центрально-азиатских народов. Именно эти качания демографического маятника формировали трассы «шелковых путей», а затем и устоявшиеся пути становились дорогами инвазий и миграций.

Остается перечислить некоторые крупнейшие движения в восточном направлении, определившие демографические процессы и культурную специфику в глубинных материковых районах Азии:

- инвазия в Северный Китай племен культур крашеной керамики. Пути продвижения неясны, промежуточные находки отсутствуют. Существует, впрочем, неподтвержденное мнение об автохтонном происхождении этих культур;
- продвижение через степной пояс и центральноазиатские пустыни в излучину Хуанхэ культур с бронзовой металлургией, звериным стилем раннего облика, чьим северным, сибирским, ответвлением является сейминско-самусьско-турбинская свита памятников. Пути продвижения разнообразны и непрямолинейны. Они четко фиксируются вплоть до Монголии и Синьцзяна по наскальным изображениям колесничных сюжетов. Инвазии культур этого облика из Центральной Азии, очевидно, неоднократно. Позднейшие — это жуны и ди китайских летописей;
- инвазии скифо-сакских племен, расселявшихся во Внутренней Монголии, на севере излучины Хуанхэ. Влияние на автохтонные китайские культуры отразилось в типах керамических и бронзовых сосудов Чжаньгоского времени, повторяющих сакские формы;
- внедрение, в частности, уже и непосредственно через «шелковый путь», сарматских типов боевых поясов с пряжками в виде рамчатых блях с сюжетными изображениями. В дальнейшем, преимущественно через тюркскую среду, распро-

страняются наборные пояса с прямоугольными, сердцевидными, сложными фигурными бляхами, наборами бубенцов (всаднический пояс) и пряжками, у которых язычок заменяется широкой, подогнанной к размеру рамки защитной пластиной с коротким шипом на переднем конце, продавившимся в отверстие ремня. Весь этот набор становится характерен для воинов средневековья в маньчжурском и приамурском регионах.

Укажу лишь еще, что бронзовая культура Юньнани — Шичжайшань, несмотря на поздний, по преимуществу, ее возраст, может указывать на совсем иную линию западных связей, маршруты которых пока лишь исключительно гипотетически можно представить как путь через Иран, Северную Индию, Индокитай. Во всяком случае наличие в отдаленном прошлом южного пути контактов, несмотря на все трудности географической среды, с ним связанные, отрицать нет оснований.

§ 2. Шелковый путь и кочевники

Некоторые вопросы средневековой этногеографии Центральной Азии

Роль Востока и Запада в культурной жизни человечества, значение их взаимодействия для духовного и материального прогресса, место общих традиций в историческом развитии азиатских народов — вот те основные проблемы, которые постоянно питали творческую энергию В.П. Васильева. И хотя он упрекал себя за разбросанность в работе, за резкие переходы от одних тем к другим [1, с. 230], пожалуй, именно широта интересов и способность рассматривать предмет исследования с разных сторон обеспечила долгую жизнь и научную актуальность многим его работам по истории культуры народов Востока. Касаясь научной деятельности этого выдающегося ученого, В.В. Бартольд дал краткий, но довольно обстоятельный анализ его основных историко-географических и исторических идей [2, с. 619—628]; весьма высоко оценил сильные стороны ученого, не умолчал и о его слабостях, отметив, в частности, склонность В.П. Васильева к парадоксам, чрезмерную резкость и категоричность его суждений при оценке некоторых сложных явлений. В одной из последних своих статей, посвященной памяти другого своего коллеги и по-

стоянного оппонента, И. Маркварта, чьи работы по Центральной и Средней Азии не раз соприкасались с областью исследований В.П. Васильева, В.В. Бартольд в общих чертах охарактеризовал два основных типа исследователей и соответственно два основных пути, которые выбирали в науке в силу различных темпераментов, творческих условий и особенностей таланта специалисты в области истории и филологии. Для одних узкая область исследования нередко была сравнительно легким и быстрым путем к успеху, тогда как неодолимые трудности вставали на пути тех, кто обращал на себя внимание «разносторонностью своего дарования и своей учености» [3, с. 779]. Первая из этих трудностей чаще всего была связана с опасностью впасть в дилетантизм. Вторая особенно часто угрожала тем, кто пытался охватить в своем исследовании огромный исторический период и должен был неуклонно идти вперед во всех исследуемых областях, постоянно оставаясь на уровне тех целей и задач, которые непрерывно обновляются новыми открытиями и диктуются потребностями времени. Наконец, третья трудность обуславливалась тем, что научное признание и авторитет приходили к ученому, разрабатывавшему многообразную тематику, как правило, много позже, чем к специалистам в одной узкой области, да и завоевывать их оказывалось порой намного труднее, так как требовались чрезвычайная работоспособность, острота ума и широчайшая эрудиция.

В.П. Васильев несомненно обладал всеми качествами, необходимыми для реализации своих обширнейших научных целей. Об этом свидетельствует и его огромный вклад в создание таких научных отраслей, как историческая этнография и историческая география Восточной и Центральной Азии, не говоря об истории религий в странах Востока, истории международных отношений в Азии и т. д. При этом научное наследие В.П. Васильева нельзя считать вполне оцененным, так как многие завершённые труды ученого остались в рукописи. Если для французской синологии XIX в., по мнению П. Демьевиля [4, с. 451—467], были характерны переводы источников с краткими критическими комментариями, а также рост точности и достоверности информации о Китае, то в отношении развития русского китаеведения такая обобщенная характеристика была бы серьезным упрощением. И более чем 50-летняя творческая и научная деятельность В.П. Васильева — это неоспоримое свидетельство огромных достижений русской востоковедной науки, основы которой в области изучения Китая и сопредельных с ним стран были заложены еще Н.Я. Бичуриным.

Оставляя в стороне эти общие вопросы, решение которых теперь намечается благодаря интенсивному изучению биографий и научного творчества крупнейших русских востоковедов [см., напр., 5], обратимся лишь к одной области востоковедения, плодотворно разрабатывавшейся В.П. Васильевым. Как известно, в 1859 г. был опубликован труд В.П. Васильева «История и древности Восточной части Средней Азии от X до XIII веков». В этой работе В.П. Васильев выступает продолжателем труда Н.Я. Бичурина «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» (СПб., 1851) и в то же время демонстрирует свой подход к изучению средневекового прошлого народов сопредельных с Китаем стран. Он прежде всего стремится расширить и критически осмыслить круг источников, пригодных для характеристики некитайских народов в период Древней истории. Указывает В.П. Васильев и на особую важность исследуемого им периода, который остался не освещенным Н.Я. Бичуриным из-за отсутствия сведений о нем в китайской официальной историографии. Между тем отсутствие данных о периоде с X по XIII в. создало ситуацию, при которой «самое выступление на историческом поприще монголов представлялось в каком-то полумраке» [6, с. 2]. Но В.П. Васильев считал (и основательно показал это в упомянутой работе), что не сведения о том, «кто... кого грабил, кто возвышался и падал, даже кто где кочевал» [6, с. 42], важны для исторического обобщения, а общие закономерности, определяющие возникновение новых государств в кочевом мире, причины их молниеносных побед над соседями [6, с. 578]. Пусть с помощью другой терминологии, на других примерах, но В.П. Васильев в этом труде активно разрабатывает вопросы, ставшие впоследствии основными для исследований Б.Я. Владимирцова и С.А. Козина [7]. Он пытается также разрешить вопрос о причинах необычайного многообразия наименований кочевых народов, крайне затрудняющего возможность проследить реальные пути этногенеза и этнического развития большинства из них. Приняв в качестве постулата, «что огромные пространства Средней Азии (Центральной Азии. — П.К.) издревле говорили языками, близкими к нынешним», т. е. на востоке маньчжурским, в центре — монгольским и на западе — турецким» [6, с. 129], русский востоковед и в этом своем утверждении оказывается на высоте современных исследований [8], если только внести в его текст поправку, что под Средней Азией в данный период своей деятельности В.П. Васильев, вслед за Н.Я. Бичуриным, понимал огромную, в географическом плане малоисследованную еще зону, протянувшуюся в

широтном направлении от Тихого океана до Закаспия. Огромное изменение в терминологии региональной географии Азии и, в частности, определение понятия Центральной Азии связываются уже с более поздними исследованиями самого В.П. Васильева [2, с. 622]. Но если в указанной работе соотношения многочисленных кочевых и полуномадных «народов», которые, «колыхаясь на этом огромном пространстве, подобно волнам моря, оставили повсюду следы своего появления» [6, с. 129], составляли для автора в основном исторический фон к появлению империи Чингисхана, то в дальнейших разработках В.П. Васильев приходит к значительно более общим выводам, а именно, что в кочевом мире военные столкновения в одной его части неизбежно вызывали резонанс на всем остальном пространстве расселения номадных племен [9, с. 131—132].

Интерес В.П. Васильева к общетеоретическим проблемам всегда сочетался с большим вниманием к конкретным частным вопросам, в том числе к этнографическим описаниям центрально- и восточноазиатских народов. В целях получения этнографических сведений он от династийных историй обращается к запискам частных лиц, подчеркивая, что «частные записки стараются указать более на те особенности, которые характеризовали эти (некитайские номадные. — П.К.) народы; потому-то они и не лишены интереса» [6, с. 4]. Это стремление к изучению конкретных явлений, к уяснению специфики быта и нравов отдельных этнических групп нашло свое выражение в том, что В.П. Васильев вместе с другими востоковедами — К.Г. Залеманом, В.Р. Розеном и В.В. Радловым — активно содействовал организации Орхонской экспедиции с целью исследования вновь открытых в Монголии образцов рунической письменности. Уже после расшифровки и перевода тюркских текстов памятников Кюль-Тегина (731 г.) и Бильге-кагана (734 г.) В.П. Васильев издает свои переводы китайских текстов, выгравированных на этих памятниках [11]. Работа по изучению буддийских сочинений, так же как и исследование тюркских памятников, тесно переплеталась у В.П. Васильева с изучением сухопутных дорог, с помощью которых Китай поддерживал сношения с окружающим миром. К сожалению, выполненный В.П. Васильевым перевод «Записок» Сюань Цзана, паломника, ходившего в Индию за буддийскими священными книгами, в самом начале танской эпохи, остался неопубликованным. Об этом приходится особенно сожалеть еще и потому, что данный перевод был сделан человеком,

имевшим некоторый опыт путешествий с караванами по Монголии и Китаю*.

Тот значительный отрезок времени, в течение которого издавал свои работы В.П. Васильев, характеризовался не только публикацией и осмыслением многих письменных исторических памятников, но и созданием на их основе очень важных обобщающих трудов, определивших надолго общие контуры развития исторической науки [13]. Параллельно этому синтезу и вслед за ним шло накопление новых материалов, особенно по эпиграфике, благодаря чему удалось приступить к проверке прежних сообщений многоязычных письменных источников. В связи с этим уже в конце XIX в. заметно возросло значение таких исторических дисциплин, как археология и этнография.

Археологические исследования, проводимые очень интенсивно с начала XX в. в пустынях, степных горных и предгорных районах Восточной, Центральной и Средней Азии, существенно уточнили данные письменных источников. Они не только подтвердили существование, но и определили реальные этапы и масштабы функционирования знаменитого Великого шелкового пути [15, с. 15—25; 16, с. 55—56, 69—73; 17, с. 17—23]. Хотя некоторые свидетельства указывают на его существование еще в IV—III вв. до н.э., говорить о систематическом характере торговых операций в этот период пока преждевременно. В какой-то мере речь может идти о частной инициативе, подобной торговле циньского купца Го, сбывавшего кочевникам в обмен на продукты кочевого скотоводства различные бракованные шелка. Четкое оформление шелкового пути, судя по всем данным, относится к концу II в. до н.э., и с этого времени можно говорить о его непрерывном существовании.

Характерным примером традиций, связанных с его функционированием, может служить следующее обстоятельство. В 983—984 гг. к уйгурам отправилось китайское посольство во главе с чиновником Ван Янь-дэ. На пути к месту назначения при переправе через Хуанхэ члены посольства воспользовались услугами представителей одного из местных племен, которые «из бараньих шкур делают мешки, надувают их воздухом и пользуются для

* Показательно, что даже описание путешествия по маршруту Сюань Цзана, составленное в середине XX в., привлекло достаточно большое внимание читателей [12], хотя автор пользовался в основном современными средствами сообщения, а с научными проблемами буддизма не был знаком столь глубоко, как В.П. Васильев.

плавания по воде» [18, с. 88 и прим. 722]. Весьма примечательно, что через тысячу лет, в 1944 г., в тех же местах К. Менон был вынужден прибегнуть к тому же средству переправы через р. Хуанхэ [12, с. 199].

В течение всей ханьской эпохи этот путь функционировал эпизодически, что в значительной мере определялось внутренним состоянием Китая [19, с. 52—53]. Однако по мере его освоения эта зависимость в значительной мере ослабевает, так как значение «шелкового пути» во все большей степени начинают осознавать различные группы населения Запада. Постепенно оформляются устойчивые функции дорог, соединяющих западные районы Азии с Востоком. «Шелковый путь» в I тысячелетии н.э. — это не только дорога, по которой перемещались товары и на которой в определенных пунктах осуществлялся торговый обмен, по которой ездили послы разных стран с дарами. Помимо этого прямого назначения, связанного с поддержанием международных торгово-дипломатических отношений, «шелковый путь» приобрел целый ряд новых функций. Так, неизвестный автор, написавший в 982—983 гг. сочинение на персидском языке «Границы мира» (Худуд ал-алем) [20], который знал о Китае немногим больше, чем автор «Принцессы Турандот» Карло Гоцци в XVIII в., тем не менее, сообщает, что большинство жителей этой страны придерживается «веры Мани». О бегстве манихеев на Восток сообщают многие источники [21, с. 70, 71]. То же самое известно и о несторианах, получивших впоследствии в Танском Китае определенный статус, зафиксированный в знаменитой стеле из Чанъни с двуязычной надписью [22, с. 221]. Иначе говоря, «шелковый путь» для некоторых групп населения стал и дорогой изгнания. Был он также и проводником новых верований, в частности, буддизма, изучению которого отдал немало сил В.П. Васильев.

Еще одна функция «шелкового пути» как дороги завоевательных походов и переселений народов была рассмотрена И. Марквартом, считавшим эти явления типичной функцией торговых дорог как на Востоке, так и на Западе [23]. Именно появление торгово-ремесленных центров на всем протяжении пути способствовало образованию многоязычной среды, в которой с легкостью уживались многие, совершенно несходные по своим догматам религиозные системы [9, с.118, 121; 24, с. 166—202]. Так, при раскопках в могильнике у дер. Астана в Турфанском оазисе в катакомбе № 28 (конструктивно напоминающей катакомбы Кенкольского могильника) были обнаружены две дере-

вянные статуи [25, рис. 5], по типу своему аналогичные статуям из домусульманских святилищ Средней Азии [26, с. 448]. Созданный во второй половине XI в. «Свод тюркского языка» (Диван лугат ат-тюрк), к которому приложена древнейшая турецкая карта мира, в значительной мере обязан своим появлением тому обстоятельству, что автор его, Махмуд Кашгарский, жил в месте скрещения больших торговых дорог и мог слышать тюркскую речь разных областей в своем родном городе. Отмечая огромное значение «шелкового пути» в международном общении в течение всего средневековья (ибо после появления шелкоткачества в Средней Азии, а затем и в Византии интерес к китайским шелкам на Западе не исчез), приходится, однако, констатировать, что многие вопросы хронологии изделий, связанных с этой огромной торговой дорогой, пока еще решаются очень приблизительно. То же самое следует сказать и о проблемах локализации древних центров, производивших оружие и предметы роскоши для кочевого населения, соприкасавшегося с торговой дорогой на большей ее части. Сами по себе взаимоотношения кочевых народов с населением городов и оседлых земледельческих поселений в древности также требуют специального рассмотрения. Письменные источники чаще всего трактуют эти взаимоотношения с двух сторон: с позиций кочевников и со стороны торговцев, совершавших поездки с караванами по «шелковому пути».

Мнение кочевника о значении приобщения к «благам цивилизации» наиболее решительно выразил «Мудрый Тоньюкук», тесть и сановник Бильге-кагана, оставивший в монгольских степях пространную надпись о своих заслугах. В тексте этой надписи (которая, кстати, весьма полно с точки зрения этнополитических концепций изложена в «Синь Таншу») он, в частности, говорит: «Так как я, Мудрый Тоньюкук, той земли достиг, желтого золота, белого серебра, девушек /и/ женщин, верблюдов /и/ сокровищ (даров) доставили нам без ограничения...» «Если бы Ильтериш-каган не приобретал /и/ вслед /за ним/ если бы я сам не приобретал, ни государства, ни народа не существовало бы» [27, с. 48, 49]. Правда, сам тюркский Бильге-каган придерживается другой концепции, которая восходит еще к сюннускому фольклору: «Численность хуннов не может сравниться с населением одной китайской области, но они потому сильны, что имеют одеяние и пищу отличные и не зависят в этом от Китая» [28, с. 57]. В одной из надписей, посвященных своему младшему брату Кюль-Тегину, каган заявляет: «Прельщая сладкой речью, мягкими шелками, он (Китай. — П.К.) так привлекал /к себе/

далекие народы. После того как (тюрки. — *П.К.*) поселялись вплотную, они научались там дурным знаниям»... «Дурные люди (среди тюрков. — *П.К.*) так научали: “Кто далеко, тому дают плохие дары”... «Люди, не обладавшие мудростью, вняв этим речам, подойдя близко /к Китаю/... погибли во множестве». «Когда, оставаясь в Отюкенской земле, ты посылаешь /только/ караваны (в Китай. — *П.К.*)... ты можешь жить, созидая вечный племенной союз» [27, с. 12, 13]. Последняя мысль не вполне логична, так как не объясняет, почему же в таком случае нужно вести завоевательные походы и посылать караваны.

Взгляды торгующей стороны наиболее последовательно выразил Ибн Фадлан [29, с. 62—63]. Он столкнулся с тюркскими племенами «на другом конце света», в Приаралье и Прикаспии в 922 г., но обстановку вокруг караванного пути он рисует сходную. Описывая способы, с помощью которых удается прийти к соглашению с кочевниками для получения права на проход каравана, он в систематическом порядке излагает определенные статьи, составлявшие, очевидно, основу «караванного права».

Однако, если общий характер взаимоотношений кочевников с оседлым населением оазисов, проживающим на караванных дорогах, и с самими караванщиками оставался неизменным в течение многих столетий [30, с. 384—387], то сами кочевые народы на этом пути менялись довольно часто, причем настолько часто, что порою историки, как западные, так и восточные, описывали под одними и теми же именами различные народы, поскольку последние сменяли друг друга на одних и тех же территориях [31].

Естественно, что при изучении племенных и государственных образований, связанных с древним караванным путем, необходимо учитывать мнение В.П. Васильева о том, что частая их смена не обязательно сопровождалась изменениями этнокультурной обстановки в целом. В этом плане весьма показательны проводившиеся в последние годы наблюдения над разнообразиями древних изделий, характеризующих военную деятельность и культурную жизнь обособленных групп населения в раннем Средневековье, а также локальные формы культов. Во всех этих исследованиях выявились различные методические подходы специалистов, что придает данной проблематике особую актуальность. Большинство работ этого направления имеют своей целью установление или уточнение хронологии определенных археологических комплексов. Впрочем, в отношении предметов восточной тюревтики задача ставится шире: предлагается решать «все три проблемы атрибуции — проблемы подлинности, даты и гео-

графической принадлежности», которые пока мало разработаны [32. С. 5]. Практически все без исключения художественные изделия из драгоценных металлов, обнаруженные в Центральной Азии, Сибири, Средней Азии и Восточной Европе, происходят из различных центров художественного ремесла, располагавшихся на трансевразийском торговом пути, и поэтому для определения этнической принадлежности памятника, в котором они были обнаружены, имеют лишь косвенное значение. Так, редкие находки ремесленных художественных изделий и стандартных предметов вооружения обычно могут служить указанием на то, что данная племенная группа не имела непосредственного выхода к «шелковому пути», а получала отдельные изделия от соседей посредством поэтапного обмена. Иногда малочисленность изделий бывает связана и с недостаточной изученностью определенных категорий памятников, принадлежащих данной этнической группе. Подобная ситуация, например, характерна для районов Южного Урала периода ранних Ахеменидов. Если до середины 60-х годов XX в. находки ахеменидских изделий были здесь редкостью, то теперь их количество и набор позволяют предполагать наличие караванного пути, шедшего из Ахеменидской Персии к берегам Урала в VI—IV вв. до н.э.

Впрочем, атрибуция художественных изделий из драгоценных металлов, как в отношении точной локализации центров их производства, так и в хронологии, еще далека от совершенства. Выделяются отдельные «школы» тореvтики. Устанавливается наличие производственного центра в Согде, но далеко не все подробности методики, диагностики можно считать общепринятыми [33, с. 35, 72]. В частности, после публикации сообщения о кладе драгоценных изделий из Чанъани, датированного «19 годом Кайюань», т. е. годом смерти тюркского военачальника Кюль-Тегина [34], нельзя исключить того, что этот клад, включающий большое число изделий средне- и центральноазиатской выделки, составлял часть даров, связанных с подготовкой погребальных обрядов в его память*. В связи с чанъанскими находками еще большие, чем прежде, сомнения вызывает поздняя датировка золотых и серебряных сосудов из тайников в курганах Копенского чаатаса серединой или второй половиной IX в. [32, с. 54—58], тем более, что другие археологические и общеисторические аргументы этих дат неубедительны. Так, планировка ко-

* В следующем году император Сюань-Цзун посвятил Кюль-Тегину собственноручную надпись [11, с. 7, 8].

пенского кладбища строится не по принципу квадратной площадки, а связана, как это обычно бывает, с построением цепочек курганов, в которых хоронили не только родственников, но дружинников вождя. Ставить же богатство или бедность этих курганов в связь с добычей, захваченной кыргызами в 840 г., можно лишь в кругу тех поэтических аналогий, которые автор датировки резко осуждает [32, с. 6—9]. И по-прежнему открытым приходится считать вопрос о размещении тех ремесленных центров, в которых изготавливались предметы роскоши для кочевых племен, связанных с «шелковым путем».

Оригинальная попытка последовательной датировки частей конской сбруи, украшений, металлических деталей костюма и т. д., обнаруженных в Восточной Европе и на большей части азиатских степей [35. Ч. 1 и 2], в частности, показала, что большинство этих изделий в период раннего Средневековья не связаны с определенной этнической средой.

Как представляется, сведения древнетюркских надписей о расселении крупных самоуправляемых народностей в Центральной и Средней Азии можно в какой-то мере связывать со взаимодействием между кочевой средой и оседлыми поселениями, расположенными вдоль «шелкового пути». Новые археологические находки, подтверждающие эти свидетельства, указывают на наличие связей, не получивших отражения в письменных источниках, и, что особенно важно, позволяют все более определенно очерчивать ареалы племенных объединений и характеризовать культуры этнически различных племен, окружавших «шелковый путь» на всем его протяжении.

Примечания

1. Скачков П. Е. Очерки истории русского Китаеведения. М., 1977.
2. Бартольд В. В. Исторические и географические труды В. П. Васильева // Сочинения. М., 1977. Т. 9.
3. Бартольд В. В. Памяти Иосифа Маркварта // Там же.
4. Demieville P. Choix des etudes sinologiques (1921—1970). P., 1973.
5. Хохлов А. Н. Н. Я. Бичурин и его труды о Монголии и Китае первой половины XIX в. // Н. Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение : материалы конференции. М., 1977. Ч. 1. С. 3—53 ; Его же. П. И. Кафаров : жизнь и научная деятельность // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение : материалы конференции. М., 1979. Ч. 1. С. 3—90.

6. Васильев В. П. Открытие Китая и другие статьи акад. В. П. Васильева. СПб., 1900.
7. Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934 ; Козин С. А. Тайная история монголов. М., 1941.
8. Бертагаев Т. А. Этнолингвистические этюды о племенах Центральной Азии // Исследования по истории и филологии Центральной Азии. Улан-Удэ, 1976. Вып. 6.
9. Васильев В.П. Магометанство в Китае // Открытие Китая..., СПб., 1900.
10. Мэнда бэйлу / пер. Н. Ц. Мункуева. М., 1975. (Памятники письменности Востока ; XIII) ; Е. Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи) / пер. В. С. Таскина. М., 1979. (Памятники письменности Востока ; XXXV).
11. Васильев В. П. Китайские надписи на Орхонских памятниках в Кошо-Цайдаме и Карабалгасуне // Сборник трудов Орохонской экспедиции. СПб., 1897. Вып. III.
12. Менон К. Ш. Древней тропой. М., 1958.
13. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Сочинения. М., 1963. Т. 1.
14. Кляшторный С. Г., Лившиц В. А. Открытие и изучение древнетюркских и согдийских эпиграфических памятников Центральной Азии // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978 ; Кызласов Л. Р. Древняя Тува. М., 1979. С. 144.
15. Лубо-Лесниченко Е. И. Шелковый путь в период шести династий (III—VI вв.) // Труды Государственного Эрмитажа. Л., 1978. Т. 19. С. 12—25.
16. Иерусалимская А. А. О северокавказском «шелковом пути» в раннем средневековье // Советская археология. 1967. № 2.
17. Stein A. On ancient Central Asian Tracks. Chicago ; London, 1964.
18. Малявкин А. Г. Материалы по истории уйгуров в IX—XII вв. Новосибирск, 1974.
19. Кучера С. Некоторые проблемы истории Турфана в ханскую эпоху (III в. до н.э. — III в. н.э.) // Н. Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение : материалы конференции. М., 1977. Ч. 2.
20. Худуд ал-алем. Рукопись Туманского / с введением и указателем В. В. Бартольда. Л., 1930.
21. Луконин В. Г. Культура средневекового Ирана. М., 1969.
22. Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. Л., 1979.
23. Marquart J. Osteuropäische und Ostasiatische Streifzüge. Leipzig, 1901.
24. Demiéville P. Choix des études sinologiques (1921—1970). P., 1973.
25. Вэньу. 1973. № 1. С. 7—27.

26. Брыкина Г. А. Раскопки усадьбы Кайрагач // Археологические открытия 1970 года. М., 1971.
27. Стеблева И. В. Поэтика древнетюркской литературы и ее трансформация в раннеклассический период. М., 1976.
28. Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М. ; Л., 1950. Т. 1.
29. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М. ; Л., 1939.
30. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1966.
31. Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976.
32. Маршак. Б. И. Согдийское серебро. М., 1971.
33. Даркевич В. П. Художественный металл Востока, VIII-XIII вв. М., 1976.
34. Каогу. 1972. № 2. С. 29—42.
35. Амброз А. К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // Советская археология. 1971. № 2 (ч. 1) ; № 3 (ч. 2).
36. Амброз А. К. К статье А. В. Дмитриева // Советская археология. 1979. № 4.
37. Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М. ; Л., 1965.
38. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
39. Чариков А. А. О локальных особенностях каменных изваяний Прииртышья // Советская археология. 1979. № 2.
40. Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния. М., 1974.
41. Распопова В. И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л., 1980.
42. Гаврилова А. А. Новые находки серебряных изделий периода господства киргизов // Краткие сообщения Института Археологии АН СССР. М., 1968. Вып. 114.

Глава 5

ЭТАПЫ СЛОЖЕНИЯ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ДРЕВНОСТИ

§ 1. По поводу трактовки Н.Я. Бичуриным некоторых этнографических наблюдений Сыма Цяня

При работе над «Собранием сведений о народах, обитавший в Средней Азии в древние времена» [1] основной задачей Н.Я. Бичурина было создание достоверного исторического, историко-этнического и историко-географического обзора огромной части территории азиатского материка. Этот обзор, охватывающий непосредственно период с II в. до н.э. по IX в. н.э., осуществлялся Н.Я. Бичуриным исключительно на основе официальных китайских исторических трудов [1. Т. 1. С. 9]. Весьма основательно были использованы при этом «Исторические записки» Сыма Цяня. Не входя в подробности вопроса о том, как основоположник русской научной синологии оценивал и изучал произведение «отца китайской историографии» [2. Т. 1. С. 12], отмечу лишь, что в переведенных Н.Я. Бичуриным двух главах «Повествование о сюнну» (глава 110) и «Повествование о Дава-ни» (гл. 123) из *Шицзи* [1. Т. I. С. 39—74; Т. II. С. 147—168] этнографические сюжеты занимают довольно значительное место [3]. Однако именно этнографические наблюдения и указания Сыма Цяня вызывают наибольшие трудности при их объяснении и тем более переводе. В настоящее время к трактовке древ-

них текстов могут быть в той или иной мере приложимы следующие группы данных:

а) пояснения комментаторов и историков, в различные периоды возвращавшихся к изучению содержания древних событий. Это — путь, который единственно был доступен для Н.Я. Бичурина при непосредственной трактовке древних известий. Руководствуясь этим направлением, исследователь постоянно вынужден испытывать опасения, что принятая им трактовка восходит не к первоисточнику, а к какому-либо из последующих комментаторов. Эта опасность особенно велика в тех случаях, когда историография была связана с непрерывной вековой традицией и от бытописателя, историка требовалось не только пассивное знание историографии предмета, но и включение (и приспособление) прежних, и даже древних наблюдений, в современную ему этно-историческую картину. Характерно, что проблема традиционности в устойчивом искажении значительного числа историко-этнографических сведений китайских источников и поныне остается наименее разработанной, хотя синоцентрические тенденции танской историографии, а тем самым и искажающее ее воздействие на смысл и трактовку более древних сообщений, отражены уже в переводах Н.Я. Бичурина. Им же отмечен был (правда, как положительный момент) опыт цинских историографов по выправлению и унификации написания иностранных слов в династийных историях 916—1368 гг. [1. Т. I. С. 16]. Значительно более четкую картину, рисующую и объясняющую отрицательное воздействие на точность древних сообщений последующих трактовок и комментирования, показывают исследования европейских и ближневосточных историографических традиций [4];

б) ретроспекция современной этнокультурной и лингвогеографической картины на те периоды, о которых имеются непосредственные сведения древних письменных источников. Косвенным путем (указав, что в древности Азия была заселена теми же народами и в тех же географических пределах что и к середине XIX в.) Н.Я. Бичурин смог применить этот метод, заменив проблему смены «народов» проблемой изменения «народных имен» при неизменности «народа». Таким путем Н.Я. Бичурину удалось избежать невыполнимой в его время задачи: интерпретации этнических и лингвистических показателей древних групп средне-, центрально- и восточноазиатского населения в целях непосредственного объективного сравнения этих данных с соответствующими показателями у современного населения;

в) наблюдения над лингвистическими и филологическими данными, содержащимися в описаниях некитайских народов. Здесь Н.Я. Бичурин, впад в противоречие со своим же собственным постулатом о необходимости недоверия к выводам, основанным на созвучности слов в китайских, античных и «азиатских» (т. е. монгольских, персидских, арабских и турецких) источниках, очень решительно причисляет ряд центральноазиатских народов к «монгольскому племени». Только удивительной филологической интуицией и живостью восприятия Н.Я. Бичурин может быть объяснено исключительно гипотетическое сравнение: параллель между историей Огуз-хана и сюннуского шаньюя Мао-дуня [1, Т. I. С. 56—57]. Более чем столетний период изучения легенды об Огуз-кагане после завершения работы Н.Я. Бичурин привел к полному пересмотру исторических корней сказания [5], но правомочность самого сопоставления эти исследования несколько не поколебали [6];

г) привлечение для проверки выводов письменных материалов, восходящих к ближневосточной или средиземноморской античной традициям, а также этнокультурных реконструкций, сделанных на их основе и с учетом языковых лингвистических реконструкций для территорий востока Азии. Но о недостаточном внимании Н.Я. Бичурин к античной традиции и недоверии к ней упоминалось постоянно, а последующие исследования в XIX и XX вв. обстоятельно показали, что в середине XIX в. соответствующие материалы абсолютно не были подготовлены для непосредственных сравнений [7];

д) проверка исторической картины, описанной источниками, с помощью археологических материалов, относимых к рассматриваемым в письменных источниках периодам. Эта возможность в годы, когда проводил свои исследования Н.Я. Бичурин, еще не могла быть реализована, ибо не было самих археологических материалов из азиатских глубинных районов, не говоря уже о том, что в мировой археологической практике еще только начинало формироваться определенное отношение к интерпретации археологических данных в свете письменных источников. Наивными и натянутыми были еще сопоставления отдельных событий в истории императорского Рима с теми незначительными археологическими находками, которые делались в Центральной и Западной Европе. Лишь в Греции, Италии, Египте находки и в то время были значительны, а сопоставления порою оказывались надежны [8].

Из перечисленного ясно, что исследователь, пытавшийся в середине XIX в. дать обзор исторической этнографии Централь-

ной и Средней Азии в первых столетиях до н.э. и в I тыс. н.э. в силу совершенно объективных причин был полностью ограничен данными письменных источников и их трактовкой в последующей китайской историографии.

Набор данных, сообщаемых в гл. 123 *Шицзи* крайне многопланов и разнообразен, и поэтому более удобна для разбора этнографических наблюдений гл. 110 — «Повествование о сюнну», где наблюдения более компактны, так как приурочены к единому государственному образованию, и если, как можно подозревать, касаются неоднородной этнической среды, то набор этнических групп в «государстве» сюнну был значительно меньшим количеством, чем в многочисленных среднеазиатских владениях. Текст этой главы *Шицзи* давно уже стал хрестоматийным [9]. На нем основываются практически все исторические обобщения, касающиеся внешней политики Китая в степных районах на север от Хуанхэ, а также отчасти и в северной области той территории, которую огибает излучина среднего течения Хуанхэ [10].

В своем описании истории сюнну Сыма Цянь коснулся следующих моментов их этнографической характеристики: отдельных характерных предметов; особенностей быта и общественной жизни, в частности, взаимоотношений поколений у сюнну и специфических особенностей их устного законодательства; хозяйства и землепользования; способов ведения войн; этнической группировки и отчасти истории сложения сюннуского «государства». Практически он обратил внимание на все основные составляющие этнокультурной и этногенетической характеристики населения. Я остановлюсь здесь в основном на описаниях характерных предметов.

В тексте есть указания на предметы вооружения: «их дальнобойное оружие составляют лук и стрелы, ближний бой они ведут мечами и копьями» [11]. Однако само обозначение копья «янь» является одновременно и его характеристикой: «короткое копьё с железной ручкой», как указывает Н.Я. Бичурин. Шовэнь, правда, поясняет тот же знак лишь как «маленькое копьё» [12]. Характеристика эта, к сожалению, крайне неясна и допускает несколько трактовок. Вряд ли копьё могло быть сплошь железным, ибо это было бы уже не копьё, а лом. В таком случае либо рукоять была целиком обита железом, чему мы не имеем реальных аналогий, либо его наконечник имел длинную железную втулку, а нижний конец древка был обит железом, что позволяло втыкать копьё в землю. В тексте Н.Я. Бичурина мечи названы саблями, что является ошибкой вполне естественной, так как вопрос датировки

появления сабель во времена Н.Я. Бичурина не был разработан [13], а в его собственных представлениях сабля была естественным исконным оружием кочевника. Другой отрывок текста, переведенный Н.Я. Бичуриным буквально: «извлечшему острое оружие и фут — смерть», подвергнулся в дальнейшем неоднократному комментированию и в конце концов был переведен В.С. Таскиным описательно: «извлечший из ножен меч на один фут подлежит смерти» [6, с. 50], может быть оценен несколько иначе, если учесть, что в среде кочевых конных номадов, сразу же после широкого внедрения в быт железных орудий и оружия, воин имел в составе вооружения помимо меча еще и кинжал [14], длина лезвия которого могла быть достаточно близкой к китайскому *чи* [15]. Тогда допустимо перевести указанное выражение в соответствии с основным значением знака «жэнь» — лезвие, т. е. кто «обнажит лезвие (длиной в) фут — смерть». Наконец, очень важным являются указания Сыма Цяня на наличие у сюнну «поющих наконечников стрел» («свистунка» в переводе Н.Я. Бичурина и «свистящая стрела» — у В.С. Таскина) и «латной конницы» («конных латников» по В.С. Таскину) [6, с. 40]. Все эти предметы наступательного и оборонительного вооружения позволяют, при наших современных историко-археологических и этнографических знаниях, конкретно представить некоторые элементы военной тактики сюнну, которые были известны Сыма Цяню со слов очевидцев — того же Чжан Цяня, Ли Лина и пр., но обрисованы им лишь в общих чертах. Так указание на то, что сюнну отступают беспорядочно, позволяет утверждать, что по традиции они не имели сомкнутого конного строя, а потому и оборонительный доспех всадников — латы, могли изготавливаться либо из кожи, как и некоторые одежды [11. Т. 9. С. 2879], либо из рогового слоя, покрывающего конские копыта. Этот материал еще с сарматского времени широко использовался для изготовления особенно легких и гибких чешуйчатых панцирей [16, с. 570]. Его широко применяло для поясных украшений, пряжек, панцирных пластин население Алтая [17. Табл. XXXI, XI и др.] скифского и гунно-сарматского времени. Доспех из металлических пластин или сплошных листов, пригодный для тяжелой конницы, действующей в сомкнутом строю [18], не мог применяться в летучих отрядах конных лучников [19]. Естественно, что короткие копыта могли служить оружием высокоманевренной конницы.

Конечно, рассказ о Шаньюе Мао-дуне и его военно-политической деятельности дошел до Сыма Цяня переоформленным в

гуннской среде в эпико-драматическое повествование, уже начинающее обрастать различными мотивами исторического фольклора. Однако тот факт, что в этом рассказе сохранено упоминание о «поющих стрелах», придает ему особую жизненную реальность, ибо позволяет выяснить некоторые специфические моменты проведенной Мао-дунем военной реформы. В кочевой среде проведение военных реформ, реорганизация дружин или войсковых соединений обычно хоть сколько-нибудь предшествовало становлению мощных кочевых государств [20]. Набеги, засады, заманивание неприятеля — типичные формы военных действий кочевников, но вопрос о согласовании действий больших соединений — это серьезная задача, требующая и специальной выучки, и особых форм сигнализации, и оповещения в ходе боя. Очевидно, для этой цели предназначались свистящие стрелы Мао-дуня. Характерно, что реальные образцы свистящих стрел известны в центральноазиатских и сибирских археологических памятниках лишь с более позднего времени — периода тюркских и киргизских каганатов и вряд ли с более ранних пор. Упоминание таких стрел у Сыма Цяня и объективно доказывает их существование в более раннюю эпоху, и объясняет, пожалуй, почему маловероятны многочисленные находки таких стрел: они должны находиться в погребальных комплексах шаньюев и высшего командования. И сама их находка должна служить указанием на высокий воинский ранг погребенного.

Тенденция к отождествлению сюнну с древнейшими тюркскими этническими группами со временем все усиливается, хотя порою обоснование этого отождествления носит сугубо формальный и случайный характер [6, с. 117, 128—131 и пр.]. К числу тюркских соответствий, впрочем, можно добавить широко обсуждаемое В. С. Таскиным в связи с соображениями о суровости воинских законов Мао-дуня (что в свою очередь должно связываться с его военным реформаторством) предложение: «Мао-дунь сел на коня, приказал рубить голову каждому в государстве, кто опоздает явиться, двинулся на восток и внезапно напал на дунху» [6, с. 39, 131]. В этой фразе можно видеть кальку тех стандартных тюркских поэтических выражений, которыми характеризуется много веков позднее боевая доблесть Кюль-Тегина [21, с. 40, 41]. Более того, в выражении Иордана [22, с. 142, 144 (п. 73, 81)]: *rebus excedente humanis* — «отошел от дел человеческих» можно видеть кальку тюркских эпитафий, где то же «отделяться» передает значение «умереть» [21. С. 74, 78; 23. С. 12а], а тем самым искать тюркские языковые реликты также и

в сообщениях о западных гуннах. Но в связи с упоминанием еще одного предмета материальной культуры — кубка для вина, появляется необходимость рассмотреть один обычай, связанный также с кочевой средой, которая по существу очень далека от тюркских корней. Текст в переводе Н.Я. Бичурина гласит: «кто на сражении отрубил голову неприятелю, тот получает в награду кубок вина» [1. Т. I. С. 5; 6. С. 41; 11. Т. 9. С. 2892]. Сама по себе эта фраза не представляет трудностей ни для перевода, ни для понимания. Однако в общем контексте ее смысл оказывается далеко не столь прост: где получает воин чашу вина и прочие награды? Ясно, что не на поле боя. Разъясняет ситуацию, как представляется, следующий текст: «Однажды в году каждый номарх в своем номе (округе) приготавливает кратер вина, из него пьют те из скифов, кто убил врага... тем, кто убил многих врагов, дают два кубка и они пьют из них одновременно» [24].

Другой пример, находящий прямую параллель в том же тексте Геродота (IV, 65), связан со скифским обычаем изготовлять из черепа врага чашу для питья. В гл. 123 Сыма Цянь также приводит подобный факт: «Сюнну разгромили князя Юэчжи, а из его головы сделан сосуд для питья» [11. Т. 10. С. 3157; 1. Т. II. С. 147]. Впрочем, этот обычай в какой-то момент становится в Азии «международным». Так, к примеру, печенежский князь Куря будто бы сделал чашу из черепа князя Святослава. То есть здесь уже представлена совсем иная этническая среда и обычай перенесен из Азии в Европу.

Привлечение этих аналогий из восточноиранской кочевой среды вполне оправдано, если учесть, что сведения Геродота об обычаях скифов собраны были с очень значительной части того огромного ареала, который охватывает в евразийских степях, лесостепях и горных районах группы населения, объединенные определенным особым кругом идеологических представлений, материализованных в скифском, скифо-сакском, скифо-сибирском «зверином стиле» в искусстве [25]. Этот ареал в определенные временные периоды непосредственно соприкасался с границей Китая и даже оказывал некоторое воздействие на материальную культуру древнекитайских царств, особенно заметное в наборе и специфических формах предметов вооружения в захоронениях VI—IV вв. до н.э. Впрочем, степное влияние проявилось и в некоторых видах украшений. Так, на поселении Хоума в Шаньси среди глиняных моделей для отливки украшений, бронзовых изделий обнаружена очень своеобразно трактованная свернувшаяся в кольцо пантера. Иконография этого образа, редкого в позд-

нечжоуском искусстве, обусловлена характерным «скифским» типом изображений свернувшейся в кольцо пантеры и, судя по предлагаемой Дж. Вебером дате — первая четверть V в. до н.э., данное изделие довольно близко к своим степным прототипам во времени [26]. Внутренняя сравнительно значительная однородность ареала, объединяемого скифским «звериным стилем», подтверждается тем, что найденный в древнем армянском городе Эребуни, серебряный ритон ахеменидского производства украшен скульптурной фигурой всадника, одежда которого также как и убранство его коня, находит прямые параллели в предметах, обнаруженных в алтайских курганах скифского времени [27]. Таким образом, к какой бы части евразийско-скифского ареала не относилось бы вышеуказанное сообщение Геродота (IV, 66), непосредственно увязывать рассматриваемый в нем обычай с традициями центральноазиатского кочевого населения вполне допустимо. Более того, в настоящее время, благодаря непрерывной текстологической работе, ведущейся уже несколькими поколениями историков над произведением Геродота, постепенно начинают выявляться различные источники, которыми пользовался Геродот, и некоторые его методические приемы. В частности, в тексте 4-й главы, являющейся описанием Скифии, совершенно определенно проступает целый ряд пластов информации, под различными углами зрения обрисовывающих одни и те же факты. В целом можно уже сейчас констатировать в тексте главы два основных направления сбора информации: это линии западная и восточная, греческая и персидская. Археологические находки, относящиеся ко второй половине I тысячелетия до н.э., в Южном Приуралье, в Оренбургской области и Западном Казахстане, выявление в этих районах караванных дорог, прямо связывающих Среднюю Азию с Уралом еще в раннем железном веке, а также находки в одном из савроматских курганов алебастрового сосуда с титулатурой на древнеегипетском, аккадском и древнеперсидском языках современника Геродота ахеменидского царя Артаксеркса I (464—423 гг. до н.э.) все теснее сближают скифскую популяцию с ахеменидским Ираном [28]. В ряде случаев персидские данные своей полнотой, точностью и надежностью могли превосходить основанные часто на традиционных воззрениях, а не на фактах данные западных источников. Это позволяет все с большим основанием видеть в сообщениях письменных источников и реальные данные о восточной периферии скифского мира.

Неоднократно упоминаемые в тексте Сыма Цяня «шубы», которые Н.Я. Бичурин обозначает как «одеяние», «облачение», никак в тексте не охарактеризованы и потому не представляется возможным установить, было ли сходство между этими шубами и нарядами кочевников на Иссыйкском жертвеннике либо на близких к нему стилистически золотых бляхах с изображением сцены отдыха в пути [29].

Весьма плодотворным представляется тот факт, что Н.Я. Бичурин обратил внимание на расцветки посылаемой сюнну шелковой материи [1. Т. I. С. 59, прим. 2]) и даже указал на то, что эти расцветки прямо соотносятся с излюбленными цветами из цветовой гаммы кочевников. В этом смысле даже и неосновательная попытка признать сюнну монгольским племенем на основе излюбленных ими цветов представляет значительный методический интерес.

Большое значение можно придавать переводу отрывка письма Мао-дуня, где у Н.Я. Бичурина указано, что шаньюй послал императору «две четверни» (у В.С. Таскина переведено дословно — «две упряжные четверки», но во времена Иакинфа, когда конный транспорт был основным средством передвижения, такое уточнение не требовалось) [1. Т. I. С. 55]. Трудно переоценить важность этого сообщения по существу. Во II в. до н.э. в Китае по-прежнему еще применяется колесница с дышловой запряжкой. Модели таких колесниц представлены в некоторых западноханьских могилах. Подобные колесницы (кстати, сам Н.Я. Бичурин применяет в переводе термин «колесница», подчеркивая тем самым, что и ему ясно преимущественно военное предназначение этих повозок) использовались в походах против сюнну. О том, что в Центральной Азии дышловая повозка применялась во времена сооружения Пазырыкских курганов, известно абсолютно достоверно, благодаря находке такой повозки в кургане 5.

Показательно, что в конских захоронениях Пазырыкских курганов лошади располагаются группами, состоящими в большинстве случаев из четверок, однако встречаются и тройки. Причем в повозки впрягались пары и четверки: пара коренников шла под ярмом, а в отверстие на концах ярма-перекладины продевались ремни, которыми прикрепляли к повозке еще пару пристяжных. Отсутствие в Центральной Азии во второй половине I тыс. до н.э. запряжки в оглобли прежде всего исключает возможность получения Китаем с этой северной «варварской» периферии такого крайне важного в условиях Китая, страдавшие-

го от хронического недостатка лошадей, новшества, каким являлась запряжка в оглобли. Ведь эта запряжка допускала использование в экипаже одной лошади вместо двух, необходимых при запряжке в дышло, что явилось очень существенным в условиях Китая подспорьем при решении сухопутных транспортных проблем. Очень легкая конструкция экипажа, а также усовершенствование оглобель и самой упряжки сделали китайскую повозку крайне совершенным и при этом относительно высокогрузоподъемным экипажем. Легкость частей экипажа, которая была особенно труднодостижима в Европе и Западной Азии, хотя имела решающее значение для боевых и беговых колесниц, в Китае достигалась относительно просто за счет широкого внедрения в производство бамбуковых деталей. Впрочем, в вопросе о происхождении китайского оглобельного одноконного экипажа по-прежнему много неясных моментов. Если его происхождение не связывается с сюнну, то возможны 2 варианта. Повозка могла появиться под влиянием среднеазиатской материальной культуры. Во всяком случае прямые предпосылки для этого есть [30]. Либо повозка с оглобельной запряжкой, распространившаяся в Китае, была изобретена где-то в Юго-Восточной Азии, первоначально как экипаж, предназначенный для запряжки быков. В этом случае в Китай такая повозка должна была проникнуть уже будучи сконструированной в основном из бамбука [31]. Несколько неопределенно и время первого появления оглобельной запряжки в Китае. Немаловажным оказывается в связи с этим курьезный текст из 1-й главы «Основных записей» Сыма Цяня об императоре Яо, который «ездил в красной повозке, запряженной белой лошадью» [2. Т. I. С. 136; 1. Т. I. С. 15]. В доисторические времена, к которым относится правление Яо, не было колесниц и повозок, запряженных лошадьми. Их относит к этому периоду лишь мифологическая традиция. В то же время по археологическим данным определенно известно, что в иньскую эпоху применялись красные лакированные колесницы [32, с. 280]. Раньше ханьской эпохи оглобельная запряжка определенно не применялась. Таким образом, с точки зрения реальной исторической обстановки появление повозки с одноконной запряжкой задолго до времени жизни Сыма Цяня (а, может быть, и при его жизни) исключено. И хотя филологически русский перевод данного выражения безупречен, необходимо обратить внимание на то, что знак «чэн» имеет помимо других значений также и значение «пара», которое отражено и в его графике. Принимая в таком случае чтение «запряженный лошадьми»,

несмотря на отсутствие какого бы то ни было указания на множественное число, можно снять с великого историка Китая подозрение в том, что он неявно представлял себе развитие экипажа и его запряжки в древности.

При описании предметов кочевого быта в наименьшей мере приходится сталкиваться со всякого рода затруднениями, связанными со структурой текста, источниками отдельных частей главы, особенностями стиля историка и его особыми личными и общественными целями. При рассмотрении в изложении историка и в переводе каждой из других, уже указанных выше рубрик: особенности общественной жизни, хозяйство и землепользование, описание методов ведения войн, этническая группировка и процесс сложения сюннуской кочевой державы, — все моменты критики текста совершенно необходимы. Приведу конкретные примеры не преодолимых без специальной разработки текстовых сложностей. Фактически общая характеристика сюнну в главе дана трижды. Первый раз — при описании во введении в главе кочевого населения на окраине Китая. В своем переводе Н.Я. Бичурин дает этот раздел в настоящем времени и тем самым прямо связывает с современными Западной Хань сюнну [1. Т. I. С. 39—40]. В.С. Таскин тот же текст [6, с. 34—35] начинает в прошедшем времени, но затем также переходит на настоящее, хотя в характеристике идет речь о предках сюнну: шаньжунах, сяньюнях и хуньюях, а сама характеристика вклинивается в текст исторического предания, относящийся ко времени, предшествующему дому Ся. Впрочем, указанная характеристика отражена также в высказываниях евнуха Чжунхан Юэ [11. Т. 9. С. 2879; 2898—2901]. Текстуально эти отрывки крайне близки, причем оба взаимно дополняют друг друга. Характерно, что часть второго отрывка Н.Я. Бичурин попросту в переводе опустил [1. Т. I. С. 57—59; ср. 6, с. 45—46], оставив в нем основное: инвективы яньского уроженца евнуха Чжунхан Юэ против ханьских принципов управления и резкие его оценки положения населения в Китае. Эпизод с Чжунхан Юэ неожиданно переходит в описание победоносного рейда сюннуской конницы в окрестности Чанъани, западноханьской столицы, который таким образом ставится в прямую связь с деятельностью Чжунхан Юэ. Его критика нуждается в специальном тщательном анализе, но предвзительно можно предполагать, что прямым ее объектом был император У-ди, а не его бесцветные предшественники. Тайшигун мстил Хань У-ди, облакая свою месть в одежды древних и чуждых народов! Приходится отметить, что высказанные предполо-

жения резко снижают этнографическое значение данных отрывков для современной Сыма Цяню исторической действительности. Естественно, что прямой аналогией, которая напрашивается при этом, является «Германия» Тацита, где автор также дает критику нравов современного ему императорского Рима, пользуясь данными из жизни «варваров». Правда, европейский историк при этом был менее суров и не столь жаляще витиеват.

Тем самым наиболее реалистичным и этнографически точным представляется текст о нравах, обычаях и законах сюнну, связанный с историей шаньюя Мао-дуня и возвышением «Дома хуннов». Общая компактность текста, насыщенность его бытовыми и прочими деталями являются свидетельством знакомства его автора с сюннуским фольклором, эпосом, обычаями, а может быть, также и языком. Более того, автор описания был знаком с погребальным обрядом сюннуских Шаньюев, что вполне обоснованно было отмечено Н.Я. Бичуриным [1. Т. I. С. 50, прим. 2, 3]. В главе о «Давани» Сыма Цянь ссылается на «донесение» Чжан Цяня [11. Т. 10. С. 3160—3166]. Текст отличается четкостью, содержательностью, обилием деталей и вполне допустимо, что указанный этнографо-исторический отрывок о «Доме Хуннов» в гл. 110 также позаимствован из докладов Чжан Цяня. Это тем более вероятно потому, что Чжан Цянь, «пользовавшись полной свободой» в неволе у сюнну [1. Т. II. С. 148], мог достаточно подробно ознакомиться с ритуалом сюннуских похорон шаньюя в 126 г. до н.э. Однако не исключено также, что текст был сильно переработан Сыма Цянем, а причины переработки и характер ее нам не известны, поэтому и этот текст требует крайне осмотрительного отношения, тем более, что значение в нем эпического элемента крайне велико. В связи с указанными трудностями общей трактовки этноистории сюнну при нынешнем состоянии источников, которые в равной мере обоснованно позволяют рассматривать сюнну и как этнический субстрат, лежащий в основе большей части автохтонных народов Центральной Азии, и как генетических предшественников одних только тюркских племен, а также связывать с сюннуским населением могильники кочевых племен, обитавших в МНР, Забайкалье и пр., или ограничивать археологические материалы, непосредственно связанные с сюнну, лишь территорией Внутренней Монголии и т. д., я считаю возможным остановиться здесь лишь еще на одном достаточно объективно и однозначно объяснимом обстоятельстве.

Вслед за Сыма Цянем все исследователи, не исключая Н.Я. Бичурина, так или иначе выделяют в истории тот факт, что

в конце IV в. до н.э. У-лин, правитель Чжао, «ввел в своих владениях одевание кочевых ху и начал обучать своих подданных конному стрельянью из лука» [1. Т. I. С. 45]. В.С. Таскин даже пришел к заключению, что «до этого китайцы использовали лошадей в военных целях только как тягловую силу, запрягая их в боевые колесницы, *но не умели* (выделено мною. — П.К.) ездить на них верхом» [6. С. 125, прим. 59]. Это чрезмерно категоричное и не слишком последовательное мнение легко опровергается при изучении начала применения лошади в индейском мире Северной Америки [33]: при постоянном контакте безлошадных индейцев с лошадными освоение лошади под верх происходит очень быстро. Более того, в странах, где коневодство в целях применения лошадей для колесниц развивалось интенсивно, опыты езды на лошади верхом начинались очень рано. Примером может служить египетская статуэтка середины II тысячелетия до н.э., изображающая юношу верхом на лошади. Другое дело, систематическая верховая езда и к тому же ее применение для решения военных стратегических и тактических задач. Несомненно, что новшество У-лина следует понимать именно в этом последнем плане.

Однако при всем огромном внимании к реформе, произведенной в Чжао, никто не уделяет должного внимания событиям, которые последовали за этой реформой в сюннуском кочевом мире. У-лин разбивает лоуфаней и линху, укрепляет стеной границу в Дай. И с тех пор племя (или владение) Лоуфань (в письме шаньюя Мао-дуня — Лоулань, очевидно, то же самое) и округ Дай надолго занимают особо ответственное место на страницах труда Сыма Цяня. «Против (округов) Дай и Юньчжун» располагается ставка шаньюя. Здесь и центр сюнну, и один из ключевых пунктов обороны Ханьского Китая. В зонах столкновения культур, находящихся на разных хозяйственных и социальных уровнях развития, а порою даже относящихся к различным экономическим формациям, группы, стоящие на более низкой стадии общественно-экономического развития, начинают проявлять решительное стремление к общественной консолидации, к реорганизации своей общественной структуры, переходу от отдельных самостоятельных и относительно независимых кочевых племенных групп к централизованным социальным образованиям, стоящим на грани между «военно-демократическим устройством и ранними формами классового общества». Это исторически закономерно.

Именно такого рода явления и возникают в сюннуской среде, когда китайские княжества в процессе своей взаимной борьбы и

нарастающей внутренней консолидации усиливают вооруженное давление на кочевые племена Ордоса, Ганьсу и других районов древнего китайского пограничья. Естественно, что с момента, когда во взаимной борьбе китайцы и кочевники уже применяют одинаковое оружие, борьба эта переходит из области чисто тактических задач в область военной стратегии и даже государственной политики: при равном оружии идет постоянный поиск наиболее совершенных способов его применения, а также форм постоянной защиты и наиболее эффективного нападения. Так что перестройка социально-экономического устройства сюнну, возникновение у них централизованной «державы» при Мао-дуне вполне закономерное последствие реформы чжаоского У-лина и того столетия степной войны, которое отделяет его легкую конницу от мобильных тюменов Мао-дуня. История отдаленного прошлого знает немало примеров таких коренных преобразований, когда наступление древней «цивилизации» оказывало огромное воздействие на общественный строй, на государственную организацию «варваров».

Такая ситуация сопутствовала борьбе Рима с германо-кельтскими племенами Центральной и Западной Европы, военным действиям римских императоров на севере Британии. Подобное положение было в глубочайшей древности в месопотамских землях, когда окружающие города-государства кочевые группы, в конце концов, выходили победителями в борьбе и не только переходили на оседлость, но закладывали начало новым этапам цивилизации (Амурру, Митанни и пр.), которые в свою очередь растворялись в новых волнах кочевников. Таково же было положение в Центральной Азии. Древнейшие отголоски подобной ситуации сохранились в легендарных сведениях о конце династии Ся, а также в сообщениях о кочевом периоде в истории чжоуского «племени». Еще более подробно освещается сложный процесс взаимодействия кочевых и оседлых групп населения в IV—III вв. до н.э., и можно надеяться, что новое аналитическое обследование источников, выработка методик для прямого сопоставления археологических, лингвистических, палеоэтнографических данных с указаниями древних текстов прольет новый свет на ранние периоды центральноазиатской истории как в конкретном событийном аспекте изучения, так и методико-теоретическом и методологическом аспектах. При этом использование гигантского научного наследия, оставленного одним из первых крупных русских синологов, несомненно, будет оставаться проблемой сугубо актуальной, так как при разрастании специальных

проблем в особой отрасли науки, при глубоком интенсивном анализе различных специальных вопросов особенно необходимой становится работа, сделанная целиком на одном уровне специальных знаний, выполненная по единой программе, решенная в одном ключе, но с привлечением возможно более обширной источниководческой базы [34]. Именно такие работы оставил нам русский синолог Н.Я. Бичурин (отец Иакинф).

Примечания

1. Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М. ; Л., 1950. Т. 1—3.
2. Сыма Цянь. Исторические записки. М., 1972. Т.1.
3. Повторные переводы см.: Материалы по истории сюнну / предисловие, перевод и примечания В. С. Таскина. М., 1968. Вып. 1. С. 34—62 ; Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961. С. 101—130. Тексты указанных глав: Сыма Цянь. Шицзи. Пекин, 1975, Т. 9. С. 2879—2920 ; Там же. Т. 10. С. 3157—3180.
4. Литаврин Г. Г. Некоторые особенности этнонимов в византийских источниках // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 198—217 ; Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература // Избранные сочинения. М. ; Л., 1957. Т. 4. Ср. данные, заимствованные у Геродота через последующую историографическую традицию: Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. М., 1936. Переиздание: Рязань, 2009. О значении убеждений при историческом описании близких по времени событий, см.: Willhelm S. M. Scientific Mythology : a speculative Overview // Sociological problem in American Society. Boston, 1973. P. 343—366.
5. Кононов А.Н. Родословная туркмен : сочинение Абу-л-гази, хана хивинского. М. ; Л., 1959 ; Щербак А. М. Огуз-наме. Мухаббат-наме. М., 1959 ; Жирмунский В. М. Народный героический эпос : сравнительно-исторические очерки. М. ; Л., 1962 ; Короглы Х. Огузский героический эпос. М., 1976.
6. Материалы по истории сюнну... Вып.1.
7. Бартольд В. В. Сочинения. М., 1977. Т. 9. С. 619—641, 765—772, 779—788, 259—262 ; Зеймаль Е. В. Кушанская хронология. Душанбе, 1968.
8. Bonstetten G. von. Notice sur les armes et chariots de guerre découvertes à Tifenu près Berne en 1851. Lausanne, 1852 ; Бузескул В. Введение в историю Греции. Пг, 1915 ; Déchelette J. Manuel d'archeologie prehistorique, celtique et gallo-romaine. P., 1927. Vol. 3—4.
9. Eberhardt W. History of China. Berkeley ; Los Angeles, 1969.
10. И.Х. Овдиенко. Внутренняя Монголия. М., 1954.
11. Сыма Цянь. Шицзи. Пекин, 1975. Т. 9—10.

12. Шовэнь ицзянь. Шанхай, 1917.
13. Мерперт Н. Я. Из истории оружия племен Восточной Европы в раннем средневековье // Советская археология. М. ; Л., 1955. Вып. 23. С. 131—168.
14. См., например: Таохунбала ди сюнну му Цяньгуаньцзинь : Сюннунские могилы Цяньгуаньцзинь в Таохунбала // Каогу сюэбао. 1976. № 1. С. 134 ; Мерперт Н. Я. Акинак с когтевидным навершием // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М. ; Л., 1948. Вып. 22. С. 74—79 ; Членова Н. Л. Ранняя история племен тагарской культуры. М., 1966.
15. Creel H. G. The Role of the Horse in Chinese History // The American Historical Review. 1965. Vol. 70. N 3. April. P. 647—672.
16. Латышев В. В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. СПб., 1900. Т. 1. Вып. 3. С. 570. Сами предметы, изготовленные из рога копыт, не исследовались. Зато были проведены «эксперименты», будто бы доказывающие, что этот материал не пригоден для долговечных и прочных поделок.
17. Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М. ; Л., 1953.
18. Laufer B. Chinese Clay Figures. Chicago, 1914. Pt. 1 : Prolegomena on the History of defensive armor.
19. Jettmar K. Die frühen Steppenvölker. Baden-Baden, 1964 ; Гумилев Л. Н. Статуэтки воинов из Туяк-Мазара // Сборник Музея антропологии и этнографии. М. ; Л., 1949. Т. 12. С. 232—253.
20. Владимирцов Б. Я. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934.
21. Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М. ; Л., 1951 ; Стеблева И. В. Поэтика древнетюркской литературы и её трансформация в раннеклассический период. М., 1976.
22. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960.
23. Древнетюркский словарь. М., 1969.
24. Ср.: Геродот. История. М., 1972. С. 203 (IУ,66).
25. Последующие работы: Ельницкий Л. А. Скифия Евразийских степей. Новосибирск, 1977 ; Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М., 1977 ; Хазанов А. М. Социальная история скифов. М., 1975 ; Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы. Л., 1974 ; Черников С. С. К вопросу о хронологических периодах в эпоху ранних кочевников // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 132—137 ; Ср. Кожин П. М. Некоторые данные о древних культурных контактах Китая с внутренними районами Евразийского материка // Н. Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение : материалы конференции. М., 1977. Ч. 2. С. 32.
26. Weber G. W. Jr. Ornaments of the Late Chou Bronzes. New Brunswick , New Jersey, 1973. P. 525, 527 ; Черников С. С. Загадка Золотого кургана. М., 1965. С. 160, 165 ; Шкурко А. И. Об изображении свернувшегося в кольцо

хищника в искусстве лесостепной Скифии // Советская археология. 1969. № 1. С. 31—39 ; Ильинская В. А. Образ кошачьего хищника в раннескифском искусстве // Советская археология. 1971. № 2. С. 64—85 ; Виноградов В. Б. К характеристике кобанского варианта в скифо-сибирском зверином стиле // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976. С. 147—152 ; Алексеев А. Ю. Хронография Европейской Скифии, VII—IV вв. до н.э. СПб., 2003.

27. Аракелян Б. Н. Клад серебряных предметов из Эребуни // Советская археология. 1971. № 1. С. 143—158 ; Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М. ; Л., 1953.

28. Смирнов К. Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. С. 155 ; Савельева Т. Н., Смирнов К. Ф. Ближневосточные древности на Южном Урале // Вестник древней истории. 1972. № 3.

29. Мартынов Г. С. Иссыкская находка // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М., 1955. Вып. 59. С. 153, 154 ; Руденко С. И. Сибирская коллекция Петра I. М. ; Л., 1962. Табл. VII, 1,7. О китайской шубе: Сычев Л. П., Сычев В. Л. Китайский костюм. М., 1975. С. 35.

30. Кожин П. М. О сарматских повозках // Древности Восточной Европы. М., 1969. С. 92—95 ; Жданко Т. А. Каракалпаки Хорезмского оазиса // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М., 1952, Т. 1. С. 444—449 ; Ибрагимова А. А. Некоторые материалы к вопросу о колесном движении у кочевников Средней Азии // Труды Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР. Алма-Ата, 1962. Т. 15. С. 130—137 ; Кожин П. М. Колесный экипаж впервые преодолевает пустыни // У истоков цивилизации. М., 2004. С. 282—289.

31. Ср.: Чеснов Я. В. Историческая этнография стран Индокитая. М., 1976. С. 117—133.

32. Кожин П. М. Об иньских колесницах // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977. С. 278—289.

33. Кожин П. М. Распространение лошади и этнокультурные перемены в Северной Америке в XVI—XIX вв. // Америка после Колумба : взаимодействие двух миров. М., 1992. С. 93—102.

34. Показательно в этом плане значение для европейской историографии Дж. Легга, давшего переводы основной части классической литературы Древнего Китая, плодотворно осуществлявшего преподавание китайского языка и литературы, вначале на Востоке, а потом и Англии, используя при этом весь научно-исследовательский опыт, приобретенный при выполнении этих переводов. Тщательность их выполнения подтверждает та огромная работа, которую он вел при участии китайских специалистов, привлекая к своим словарным, методическим и языковедческим наблюдениям и выводам возможно более широкий материал, заключенный в двухтысячелетней аборигенной китайской комментаторской традиции. Приятно было читать о возвращении научного и переводческого авторитета другому классическому европейской синологии — Г. А. Джайлсу (Pollard D. E. H. A. Giles and his

Translations // Europe Studies China : Papers from International Conference on the History of European Sinology. L., 1995. P. 492—511), но тягостно думать об еще одном отчасти опороченном синологе-классике — Я. Я. М. де Грооте, который уже в конце XIX века стал искать новые исследовательские возможности для изучения, как древнего прошлого Китая (в частности, им было начато **социологическое направление** в изучении древнекитайской литературы), так и современной традиционной духовной культуры (достаточно указать на многотомную «Религиозную систему Китая»). Многие его исследования, начатые в интернациональном Амое, в дальнейшем, после Первой мировой войны, остались достоянием французской школы, а, сменивший его на синологической кафедре Лейденского университета, Г. Борель всячески старался дискредитировать своего выдающегося предшественника. Вся научная деятельность де Гроота, в том числе его сотрудничество с одним из крупнейших знатоков персидской и тюркской классической литературы, истории и филологии Й. Марквардтом, заслуживают пристального внимания историков гуманитарных наук.

§ 2. Доисторические истоки тохарской проблемы

До прочтения первых документов на тохарских языках все эти понятия — тохары, Тохаристан, государство Тухоло (Духоло) — были обычными, проходными терминами в описании народов Центральной и Средней Азии [1]. Трактовка текстов, особенно интенсивно шедшая до середины XX в., превратила эти термины в составляющие серьезнейшей лингво-исторической и лингво-культурологической проблемы. Тохарские языки по своей специфике оказались более близки к западным индоевропейским, чем к языкам восточных индоевропейцев в окружении которых они находились в исторический период. Тохарская проблема с начала 1960-х годов была представлена в нашей литературе сборником, изданным Вяч. Вс. Ивановым [2]. Дальнейшее развитие тохарских исследований особенно активизировалось в 1980—1990 годы, в частности, в связи с вневременными находками, сделанными неким Виктором Майром в бассейне Тарима. Описывать эти находки не имеет смысла. И тем более мало смысла имеет попытка привязать их к тохарским материалам, которая была предпринята в рекламной книге «Таримские мумии» [3], написанной Дж. Меллори и В. Майром. Исследование письменного тохарского наследия непрерывно продолжалось в течение всего XX в., и в этом плане проблема разрешается позитивно и перспективно. Но этот вывод относится к исследованию самих текстов и их лингвистических особенностей. Как только речь заходит

о культурологическом, историко-культурном, и, более широко, историческом взгляде на проблему, возникают всевозможные сомнения и сложности. Они касаются места тохарских языков в индоевропейской семье, а таким образом самой проблемы носителей тохарской речи, и, что особенно важно для понимания историко-культурологического значения народов-носителей тохарских языков, возникает вопрос об исторических судьбах этого населения и возможностях определения пути прихода этого индоевропейского народа в оазисы Синьцзяна [4].

Попытки определения археологической культуры, которая могла бы являться демографической средой для развития и распространения тохарских языков, делались очень давно. Так, в 1963 г. Б.В. Горнунг безапелляционно связал носителей тохарских языков с абашевской культурой Среднего Поволжья. В западноевропейской литературе по совершенно не понятной причине к рубежу веков сложилось представление, что носителями тохарских языков было население афанасьевской и, возможно, андроновской культуры [5]. В 2000 г. Л.С. Клейн пытался обосновать точку зрения о происхождении тохарских языков из движущихся на восток групп фатьяновско-балановской культуры, соединившейся с карасукской культурой [6]. Собственно, выводы эти основаны были на очень формальной оценке сходных (условно) профилей сосудов вышеуказанных культур. Особо характерно для всех этих весьма эклектичных наблюдений то, что ни один из авторов не может привести в качестве обоснования своих выводов хоть какие-то следы материальной культуры, реально сближающих вышеуказанные археологические культуры с лингвистическими данными, полученными при исследовании самих тохарских наречий и того населения, которое на них, по всей видимости, говорило.

Китайские летописи знакомы с тохарским населением, скорее всего, с первых веков новой эры. Во всяком случае, с этого времени упоминается «царство» Тухоло. Однако наиболее подробные сведения о Тухоло восходят к «Запискам о западном крае» буддийского паломника Сюань Цзана [7], совершившего путешествие через Центральную Азию в Индию для обретения оригиналов священных буддийских книг в 629—641 гг. К его времени государство Духоло в Западном крае, т. е. в местностях, далеко выходящих за пределы Синьцзяна в Среднюю Азию, практически уже не существовало. Как отмечает Сюань Цзан, население его прежних составляющих подвергалось тюркизации в отношении материальной культуры и, вероятно, обычаев. Хотя исключить

употребление индоевропейского языка этим населением в целом нельзя. Какие-то следы заброшенных тохарских городов наблюдал Сюань Цзан и в оазисах Синьцзяна. Как ни странно, хотя проблема эта, прежде всего сам путь Сюань Цзана и буддийские святыни на этом пути, страны, которые он посетил, изучались очень пристально и неоднократно, полной ясности в этих вопросах так до сих пор и не образовалось.

Фактически, проблему следовало бы поделить на две части. Одна часть должна касаться пунктов, из которых происходят аутентичные тохарские тексты, и тех синьцзянских уездов, где определенно проживало в историческое время тохароязычное население (носители тохарского языка В). Другая — должна быть посвящена вопросу о происхождении тохарских языков и говоривших на них народов. В лексике, представленной всесторонне обследованными тохарскими документами и материалами, не выявлено специфических обозначений предметов материальной культуры, прямо и непосредственно связанных с находками, сделанными в могильниках и на поселениях, относящихся к периоду от начала новой эры до VIII в. н.э. в регионе Центральной и Средней Азии. Это не значит, что каких-то специфических признаков в лексическом материале нельзя обнаружить. Но я убежден, что только глубокий филологический анализ, проделанный специалистами-филологами, может эти особенности выявить. Другая сторона проблемы — происхождение индоевропейского населения — может быть прояснена исследованием всего наличного археологического материала, который характеризует в Центральной Азии период от II тысячелетия до н.э. до второй половины I тысячелетия н.э. Попытки такой характеристики, правда не всеобъемлющие (принимаются во внимание материалы с середины I тысячелетия до н.э., происходящие из Синьцзяна, Средней Азии, Казахстана) и выполняемые с совершенно с другими целями, а именно, как способ доказать наличие раннего движения масс населения с востока на запад (в частности, «восточный импульс протосакского населения» по С.Г. Боталову), были проделаны недавно С.Г. Боталовым [8], когда истинная миграция больших групп монголоидного населения гуннского времени, шедшая реально с востока на запад, получала «предысторию» в передвижениях населения позднего бронзового и раннего железного века, будто бы осуществлявшихся в том же направлении. Идея о движении с востока групп карасукского населения, которое одно время ассоциировалось с северокитайскими *динли-нами*, отстаивали на антропологических и археологических осно-

ваниях Г.Ф. Дебеч и С.В. Киселев, но это было во времена, когда северные территории Китая, связанные со степными и пустынно-плоскогорными пространствами, представляли почти полный археологический вакуум. Накопление археологических данных разрушило эту яркую гипотезу предвоенного времени. Впрочем, ныне искать глубокие восточные корни вновь становится модным. Достаточно напомнить историю с необоснованной передачкой северокайтайских боевых бронзовых шлемов, которые из достаточно объективно установленного времени их изготовления и употребления в VII—VI вв. до н.э. были перенесены чуть ли не в X в. до н.э.

В последние десятилетия вопрос о возможности установления прямых соотношений между археологическими материалами (собственно, археологическими культурами) и какими-то древними языковыми общностями разрешается обычно в положительном плане. Огромная литература посвящена установлению закономерных связей между археологическими культурами и языковыми проявлениями в областях Ближнего Востока, Северной Африки, где на сравнительно небольших территориях издавна существовали устойчивые группировки культур, для которых, опять же, издавна была известна их языковая принадлежность. То есть здесь имели место случаи выяснения реальной древней языковой среды, от которой можно было в ретроспективе устанавливать, в частности, крупные языковые единства афразийских народов, семито-хамитское развитие и многие другие моменты, связанные с культурным миром этих территорий. Эти удачные примеры совмещения лингвистического и археологического материала привели к какому-то повышенному энтузиазму в отношении возможностей решения этнокультурных и языковых проблем с активным использованием данных археологии, не подкрепленных реальными языковыми свидетельствами. Эта проблема особенно остро встала в отношении индоевропейского языкового массива и затронула, во-первых, обстоятельства происхождения индоевропейской языковой семьи, во-вторых, возможное установление первоначального центра ее формирования, в-третьих, направление и скорости ее распространения из многочисленных уже теперь гипотетически устанавливаемых территориальных центров [9]. В-четвертых, в отношении индоевропейских языков, начиная с первых десятилетий XX в., неоднократно менялось представление о тех археологических культурах, население которых могло принадлежать к числу носителей индоевропейской речи. Здесь не хотелось бы возвращаться к пробле-

ме политизации археологии и попыткам связать археологические материалы с определенным кругом этнокультурных приоритетов и притязаний. Поэтому ограничусь только общими констатациями, связанными с последними попытками отыскать соответствие между языковой средой, археологической культурой и определенными этнокультурными образованиями.

Так, на Западе прочно утвердилась схема, предложенная в монументальном труде В.В. Иванова и Т.В. Гамкрелидзе (1984 г.). Это, несомненно, шаг вперед по сравнению с многими предшествующими схемами. В том числе и с безнадежно устаревшей работой О. Шрадера «Индоевропейцы» [10]. Однако и эта последняя схема, в конце концов, базируется не на археологическом материале (на данных, имеющих относительно четкую пространственную и временную привязку), а по преимуществу на общетеоретических разработках, связанных с лингвистическими исследованиями грамматики и лексики индоевропейских языков, позволяющими проводить глубокую ретроспекцию индоевропейской речи в дописьменное прошлое и накладывать лингвистическую реконструкцию на карту археологических культур того региона, который согласно лингвистическим оценкам мог быть связан с наиболее вероятной прародиной индоевропейцев. Приходится вновь повторять, что в самом археологическом материале признаков, указывающих на использование индоевропейской речи в тех или иных культурах, выявить невозможно при современном состоянии разработки этнокультурной проблематики в связи с доисторическими археологическими исследованиями.

Соглашаясь с возможностью условной локализации индоевропейской прародины и возможных путей распространения индоевропейских языков, намеченных указанными современными исследователями, я в то же время не могу признать приемлемыми те сопоставления напрямую, которые делаются в отношении отдельных частей индоевропейской общности, связанных с разными периодами ее существования и распада и считающихся наиболее правдоподобными и чуть ли не общепризнанными [11]. В связи с этим и возникает необходимость посмотреть на тот круг культур, который обрисовывает археологический материал, относящийся к периоду от III тысячелетия до н.э. по первые века нашей эры и связанный с территориями от Южной Сибири, востока Средней Азии и районов Синьцзяна, где зафиксированы тохароязычные письменные памятники.

Археологический и отчасти историко-культурный обзор территорий, примыкающих к Синьцзяну, имеет смысл начать с се-

вера, т. е. с юга Красноярского края. Здесь во второй половине 20-х годов XX в. были разработаны классификация и относительная хронология культур бронзового и раннего железного века [12], окончательно оформленная в систему и распространенная на значительную территорию в монографии С.В. Киселева «Древняя история Южной Сибири» [13]. Древнейшей энеолитической культурой была признана **афанасьевская**, представленная некрупными могильниками в Хакасии и на Алтае. Захоронения совершались в каменных кольцах, образованных рядами вертикально поставленных плиток, либо многорядной кладкой из таких же плиток. В обширных могильных ямах могли помещаться парные и даже тройные захоронения взрослых, при них встречались и детские захоронения. Инвентарь преимущественно сводится к глиняным сосудам трех основных форм: узкие и высокие сосуды с острым дном и низкой шейкой; крупные бомбовидные круглодонные сосуды и плоски-курильницы на низких ножках или на невысоком поддоне [14]. Встречаются плоскодонные формы сосудов, по всей видимости, позднего времени. Культура, вероятно, сосуществует с целым рядом последующих [15]. Орнаментация на керамике выполнялась преимущественно гребенчатым штампом очень интенсивно и занимала большую часть поверхности изделий. Культура имеет западные связи с ямной и катакомбной культурами европейского энеолита, выявляющиеся по формам и орнаментам керамики и, отчасти, по антропологическим наблюдениям.

Следующая по времени культура — **окуневская** [16]: также захоронения организованы в небольшие могильники, но с прямоугольными, даже квадратными оградами из вертикально поставленных плит. В каждой ограде могло находиться по несколько могил, представляющих собою вкопанные в землю каменные ящики. Иногда могилы в ограде могут располагаться рядами. Встречается незначительный бронзовый инвентарь — это отдельные находки игольников, игл, украшений, орудий и оружия. Сосуды — плоскодонные банки двух видов, либо с прямыми стенками, либо тюльпановидной формы, небольшие горшки, а также чашечки-курильницы на поддонах и с внутренним боковым отделением. Орнаментация выполнялась отступающей лопаточкой, занимала стенки сосудов сплошь и имела различные геометрические очертания, как прямолинейные, так и криволинейные. Способ исполнения орнаментации и некоторые орнаментальные композиции напоминают узоры, выполнявшиеся на деревянных изделиях. Оценки этой культуры достаточно разнообразны. Не-

которые исследователи ограничивают ее пределами Хакасии и придают ей значение хронологической стадии развития культур эпохи энеолита и бронзы этого региона; другие считают, что она взаимосвязана с большинством последующих культур Хакасии и, имея значительную временную протяженность, может выходить далеко за пределы Минусинских котловин, взаимодействуя с культурами Тувы, юга Новосибирской области, в частности, кротовской, и Томским неолитическим могильником [17].

Следующая культура — **андроновская** — отличается широчайшим распространением, что было отмечено еще создателем этой хронологической шкалы С.А. Теплоуховым в 1927—1929 гг. Андроновские памятники выявляются от Зауралья до юга Красноярского края и от границ западносибирской лесостепи до Южного Казахстана и пустынных областей Средней Азии. Какие-то ремнищенности этой культуры, или, точнее, андроновской культурной общности, наблюдаются и на юге Восточной Европы, а целый ряд памятников Туркмении могут быть отнесены не к андроновской, а к группе андронидных культур, таких, в частности, как тазабагыбская [18]. Характерной чертой андроновской керамики являются горшковидные крупные сосуды с выпуклыми стенками и сравнительно высоким горлом, покрытые горизонтально-зональным прямолинейным геометрическим орнаментом, который может охватывать верх сосуда и его придонную часть. Встречаются также (особенно часты они в детских погребениях) баночные сосуды с более простым орнаментом. В разных ареалах обнаруживаются достаточно большие поселенческие центры андроновской культуры с крупными полужемляночными жилищами. Андроновское население широко практиковало различные формы земледелия, хотя животноводство, видимо, все же преобладало. Андроновская культура уже давно, в силу громадных объемов своего ареала, воспринимается скорее как культурная общность с большим числом локальных, ареальных и хронологических вариантов. Очень многие исследователи склоняются к ее разделению на два основных массива, условно обозначаемых как алакульские и федоровские памятники. Есть и другие виды подразделений, в том числе связанные с выделением из общего массива андроновского расселения южнозауральских памятников типа Синташты и Аркаима, которые связаны с распространением конных колесниц и сложных архитектурных сооружений. Однако все эти разделения имеют скорее методологические и методические основания и могут даже не отражать реальных историко-культурных и этнокультурных подразделений данного мас-

сива археологических памятников [19]. В последние годы все назойливей делаются попытки увязать андроновскую культуру с основной популяцией носителей индоиранских языков [20]. Хотя оснований для этого, кроме эвристических гипотез, по-прежнему реально не наблюдается.

Следующая по времени культура, приближающаяся, по наиболее общим оценкам, к рубежу II и I тысячелетия до н.э. — это культура **карасукская**. К ней относятся погребальные памятники в Минусинской котловине, часто объединенные с могильниками более поздней тагарской культуры. Эти грандиозные кладбища состоят обычно из примыкающих друг к другу прямоугольных оградок с каменными ящиками в них. Слитно расположенные оградки, по всей видимости, отмечают захоронения родственных групп погребенных. Видно, что некоторые оградки подвергались при последующих захоронениях перестройкам, и таким образом ясно, что кладбища существовали в течение длительного срока. При погребенных, положенных обычно в скорченном положении, находились бомбовидные круглодонные керамические сосуды с высокой шейкой, украшенные нарезным и гладкоштампованным геометрическим орнаментом, чаще всего в виде различных сложных треугольников [21]. Некоторые орнаменты заполнялись каким-то веществом, напоминающим белую пасту. Карасукские могилы сопровождаются сравнительно большим количеством металлического инвентаря, по преимуществу из бронзы хорошего качества, дающей темную, блестящую, «благородную» патину, чем они напоминают, в частности, китайские изделия времен Иньской и Раннечжоуской династий, столичного для этого государственного образования, так называемого Аньянского круга [22]. Карасукская культура, ее разновидности и дериваты распространены по Западной Сибири достаточно широко. Встречаются они на «северной варварской» периферии Китая, во Внутренней Монголии, в Монгольской Республике, на Алтае, в Туве, в Синьцзяне и т. д.

Сходство металлических изделий этой культуры с металлом сейминско-турбинских памятников давно служило основанием для хронологического их сближения, так же как для сближения с памятниками аньянских северокитайских бронз. Однако увеличение объема находок, как карасукских памятников, так и сейминско-турбинских, позволяет разделить их во времени, учитывая, в частности, тот факт, что изделия карасукских комплексов меньшего размера и как бы более «грацильны», что обычно указывает на более поздний абсолютный возраст изделий, которые

могут быть размещены в пределах единой генетической производственной традиции. Представляется, что они последовательно (вначале сейминско-турбинская, а позже карасукская со всеми своими многочисленными западно-сибирскими вариантами) обособлялись от какой-то мощной, пока археологически невыявленной протокультуры, длительно существовавшей на территории современного Ирана [23] Отдельные пережиточные формы карасукских бронзовых изделий сохраняются в указанных выше пределах распространения археологических памятников и в раннем железном веке [24].

Наконец, крупный хронологический горизонт, по С.В. Киселеву, занимает **тагарская** культура, стоящая на переходе от бронзового к раннежелезному веку. Теплоухов в свое время назвал ее **курганной**, хотя термин далеко не полностью отражал специфику этого культурного образования. Исследования школы М.П. Грязнова казались бы продолжали теплоуховскую традицию, но в действительности были связаны с попытками расчленить сложный и многообразный по своему культурному облику «тагарский комплекс» на целый ряд более мелких хронологических, территориальных и культурных группировок [25]. Особенно это касалось позднего периода, приближающегося к рубежу нашей эры, когда в общей хронологической сетке начинает доминировать так называемая **таштыкская** культура Минусинской котловины [26].

Рассматривая столь подробно периодизацию культур Хакасско-Минусинских степей, хочу обратить внимание еще на одно существенное обстоятельство: по внешнему виду всех без исключения погребальных сооружений этого ареала можно, не проводя раскопок, достаточно достоверно определить культурную принадлежность и, в сравнительно узком диапазоне, также и дату данного памятника. Это уникальная археологическая ситуация. Ясно, что здесь раскопками охвачены все специфические местные виды погребальных сооружений. В какой-то мере распознаванию специфики погребальных сооружений разных культур способствует то, что все они выполнены из камня и хорошо заметны бывают на поверхности степных почв. Однако каждый, кто попытается по поверхностным наблюдениям над разновидностями каменных погребальных сооружений Тувы, Забайкалья, Алтая, Монголии, Сынцзяна определять их возраст и культурную принадлежность, будет глубоко разочарован, так как не сможет найти надежных соответствий между наземными погребальными сооружениями, порою даже весьма замысловатыми, и находками в соответствующих могилах. Это не значит, что на-

дежных соответствий вовсе нет, просто раскопки не затронули пока достаточно представительное количество разновременных и разнокультурных памятников [27]. Легко выделяются пока, в частности в Синьцзяне, протяженные цепочки земляных курганов (имеющие и каменное наземное оформление), которые, выстраиваясь друг за другом поодиночке, идут вдоль речных и горных долин, пересекают плоскогорные участки степи, организуясь в параллельные цепочки, могут тянуться непрерывными нитями на многие километры, отмечая пути вторжения, а затем и непрерывных перекочевок по всему степному и пустынному пространству Центральной Азии и Востока Средней Азии, скифо-сакских (их можно называть и скифо-сибирскими) кочевых скотоводов. Протяженные цепочки курганов, кстати, встречаются на многих путях постоянных контактов отдаленных друг от друга групп населения и в Европе (особенно часто в степном ее поясе: это кладбища ямных и катакомбных групп, а от Балтийского моря к Черному устремляется «янтарный путь», выявленный в конце XIX в. С. Мюллером [28]).

Последние две культуры, тагарская и таштыкская, уже приближаются непосредственно к тому самому времени, от которого доходят до нас отдельные первоначальные свидетельства о тохарских народностях. Увязать материальную культуру, изученную на юге Сибири, с культурами синьцзянского археологического массива, оказывается довольно трудно. Но исследования, проведенные в последние десятилетия в самом Синьцзяне, показывают, что скифо-сакский компонент в местных культурах в конце бронзового века и начале железного века приобретает особую распространенность и мощь. Культурный комплекс скифо-сакского населения на рубеже китайских периодов Чуньцю и Чжаньго находит выражение и в металлической посуде северокитайских царств, где часто сосуды с профилями, напоминающими сакские горшки, изготавливаются четырехугольными в плане [29]. Синьцзянский комплекс определенно не был однородным в I тысячелетии до н.э. и особенно после н.э. (На это указывают антропологические наблюдения, лингвистические данные I тысячелетия н.э. и сведения исторических источников.) Но сказать с уверенностью, какие именно компоненты культуры доисторических археологических комплексов должны соответствовать этнокультурной специфике популяции, говорящей на тохарских языках, в настоящий момент было бы необоснованным, самоуверенным актом.

Подводя итог, нужно отметить, что на пути дальнейшей разработки вопроса происхождения тохарских языков и населения,

говорящего (и пишущего) на этих языках, необходимо проведение в определенной последовательности нескольких исследовательских процедур. Приступать к ним, не имея возможности пользоваться всем объемом наличного материала, так или иначе связанного с данной проблемой, это значит сознательно обречь себя и последующих исследователей на необходимость повторного выполнения этих процедур при дополнении основного массива данных теми свидетельствами, которые всего лишь по воле случая не вошли в общую совокупность изначально. Конечно, пополнение материалов — более чем вероятное следствие последующих полевых работ, но это будет уже очередной этап исследований.

Итак: необходимо установить:

- в каких памятниках и в каких контекстах встречаются тохарские тексты;
- что представляют собою функциональные комплексы (состав, производственная специфика изделий, их даты, в каких ассоциациях они могут находиться с людскими останками), в которых могут быть встречены тексты;
- даже, учитывая то, что для большинства материалов из старых раскопок и сборов эти вопросы представляются буквально праздными (см., например, фразу: «Доставленный экспедицией мешок с обрывками рукописей, подобранных и купленных в разных местах Турфанского оазиса...» [30]), проверка и попытки установления этих данных для каждого листка со знаками, любой положительный результат может оказать неоценимую помощь в этнической, культурной, технической атрибуции носителей соответствующих языков;
- установление связей выявленных диалектных групп и непосредственных носителей этих диалектов также может способствовать определению соотношения между материальной и духовной культурами. То, что специфика в материальной культуре тохарского населения еще присутствовала в VII в., свидетельствуют отдельные указания Сюань Цзана, попавшие и в уйгурский перевод. Самое любопытное из них — описание головного убора замужних женщин: «шапка с деревянным рогом высотой около 3 *чи*» [31], у которой впереди «две ветви». Однако нужна твердая уверенность, что это именно тохарский предмет материальной культуры! Если это доказуемо, то вот уже достаточно прочный кирпич, на котором можно будет основывать дальнейшую более глубокую ретроспекцию, но необходимы и другие фактические данные.

Примечания

1. См., например, Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М. ; Л., 1950. Т. 1—2.

2. Тохарские языки : сборник статей / под ред. В. В. Иванова. М., 1959.

3. Mallory J. P., Mair V. H. The Tarim Mummies // Ancient China and the Mystery of the Earliest Peoples from the West. L., 2000.

4. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы : реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. Кн. 1. С. 416—428. Особенно важна схема 3 (с. 416) ; Adams D. Q. Position of Tocharian among the other Indo-European Languages // Journal of American Oriental Society. 1984. Vol. 104. P. 395—402 ; Tocharian Languages // Encyclopedia of Indo-European Culture / eds. by J. P. Mallory and D. Q. Adams. L. a. ; Chicago, 1997. Vol. 3. P. 591—594.

5. Qawrighul culture, Indo-European languages // Ibid. Vol. 2. P. 300—303.

6. Клейн Л. С. Миграция тохаров в свете археологии // Stratum. Кишинев, 2000. № 2. С. 78—87. Здесь дано чрезмерно решительное обобщение материалов карасукской и фатъяновско-балановской культур. Керамика, будто бы связывающая эти культуры воедино, выполнена однотипной техникой, «техникой выбивки» или «техникой наковальни и лопатки» (paddle-and-anvil technic), широко распространенной в ручном, бескруговом гончарстве. При этой технике особенно часто посуда сохраняет устойчивую **круглодонную традицию**, но совсем не обязательно, что между культурами, использующими такую технику в керамическом производстве, должно проявляться прямое генетическое родство. Применительно к этим проблемам техника наиболее полно описана: Кожин П. М. О технике выделки фатъяновской керамики // Краткие сообщения Института археологии М., 1964. Вып. 101. С. 53—58. Распространение техники и ее разновидности рассмотрены в работе Э. В. Джиффорда (1928). Безосновательно было бы объединять указанные культуры напрямую в какое-то историко-культурное или этнокультурное единство.

7. Si-yu-ki. Buddhist Records of the Western World / transl. by S. Beal. L., 1884—1886. Vol. 1—2 ; Александрова Н. В. Путь и текст : китайские паломники в Индии. М., 2008 ; Тугушева Л. Ю. Уйгурская версия биографии Сюань-цзана. М., 1991. С. 201—204 ; Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана / пер. Л. Ю. Тугушевой. М., 1980. Тюркский текст переведен с китайского, но это необходимо исследовать как одну из важнейших историко-культурных и языковых проблем, связанных с многонациональной историей Синьцзяна. Однако при наличии большого числа публикаций, посвященных истории, культуре, политике, экономике, религиозной философии и другими проблемами народностей, населявших Синьцзян, являвшихся строителями и хранителями огромной многотысячелетней трансконтинентальной дороги (точнее, путей), именно эта проблема оказалась затронутой минимально. См.: Восточный Туркестан в древности и средневековье :

очерки истории. М., 1988 ; Восточный Туркестан в древности и средневековье : этносы, языки, религии. М., 1992.

8. Боталов С. Г. Туркестан как единое геокультурное пространство в эпоху раннего железа // Алтае-Саянская горная страна и соседние территории в древности. Новосибирск, 2007. С. 61—83. Уже само название работы вызывает недоумение. Неужели автор всерьез может вести с востока, из Синьцзяна и окружающих его территорий, **все культуры** скифо-сакского мира, а тем более предшествующие им позднебронзовые и раннежелезные комплексы? Справедливо было бы ограничить свои научные возделания последними веками до н.э., когда над Западным миром начинает собираться гроза Великого переселения народов. И уж полной бессмыслицей выглядит здесь «единое геокультурное пространство» Синьцзяна, когда все специалисты согласно фиксируют различия в этнокультурной жизни оазисов региона, резкие антропологические различия среди его населения. Лишь быстрое прохождение через регион мощных волн **пришлого** населения могло создать поселенческие структуры, в которых стало проявляться внешнее формальное единство, но этот процесс начинается именно перед порогом смены летоисчисления (конечно, здесь оказываются важны не условные даты, а сам ход эпохальных событий. Причем чтобы не возвращаться к бессмысленной полемике, скажу лишь, что «теория» деградации почв (ранее ее пытались приспособить к изучению Ютландского неолита, который будто бы своей аграрной деятельностью умудрился исчерпать ресурсы местных почв) попросту лишена здоровой логической основы: значение антропогенного фактора в условиях глубокой древности умудрились приравнять к современным антропогенным процессам, чуть ли не к атомному взрыву. Полагаю, что обзорную и историографическую функции значительно надежнее и полнее выполняет работа: Худяков Ю. С., Комиссаров С. А. Кочевая цивилизация Восточного Туркестана : учебное пособие. Новосибирск, 2002.

9. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы : реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. Кн. 1—2 ; Кожин П. М. Воздействие культурологических концепций на реконструкции древнейших языковых состояний // Лингвистическая реконструкция и древняя история Востока. М., 1984. Ч. 2. ; Меллори Дж. Индоевропейские прародины // Вестник древней истории. 1997. № 1 ; Иванов Вяч. Вс. Двадцать лет спустя : о доводах в пользу расселения носителей индоевропейских диалектов из древнего Ближнего Востока // У истоков цивилизации : сборник статей к 75-летию В. И. Сарияниди. М, 2004. С. 41—67.

10. Шрадер О. Индоевропейцы. СПб., 1913 ; Childe V. G. The Aryans : a study of indo-european origins. L. ; N.-Y., 1926 ; Сафронов В. А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989 ; Bågenholm G. Arkæolog: och språk i norra Östersjöområdet. Göteborg, 1999.

11. Я вынужден безоговорочно отвергнуть то легкомысленное обоснование, которое предложили К. Ф. Смирнов, Е. Е. Кузьмина (Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М., 1977. С. 51—57)

для «доказательства» индоиранской принадлежности населения андроновской культуры Западной и Южной Сибири и Казахстана. Ссылаясь на заключительные страницы этой книги, я хотел бы обратить внимание на всю их хаотичную бездоказательность, что становится еще более выразительным, если последовательно, по могильным комплексам проанализировать материалы того кургана, который якобы дал исследователям основание и право для утверждения, что находки этих далеко не изначальных и к тому же смешанных по своему этнокультурному составу комплексов ознаменовали открытие индоиранской прародины, одного из узловых моментов индоевропейской периодизации. Именно этот ложный вывод сделал возможным переход к следующему историографическому чуду: появлению работ С. А. Григорьева. Как и сочинение К. Ф. Смирнова и Е. Е. Кузьминой, книга С. А. Григорьева «Древние индоевропейцы: опыт исторической реконструкции» (Челябинск, 1999), не получила оценки специалистов и идеи ее в их первозданной простоте расплозились по многим зарубежным изданиям.

12. Теплоухов С. А. Древние погребения Минусинского края // Материалы по этнографии. Л., 1927. Т. 3. Вып. 2; Его же. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края: (в кратком изложении) // Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4. Вып. 2. С. 41—59.

13. Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1949. (Материалы и исследования по археологии СССР; № 9). 2-е изд. — М., 1951.

Попытка последовательной характеристики культур Юга Красноярского края от поздней доистории до тюркской эпохи см.: Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск, 1980.

14. Киселев С. В. Древняя история... М., 1951. С. 22—66. Характерно, что разнообразие разновидностей афанасьевской посуды постепенно увеличивается, что обычно является свидетельством расхождения путей развития отдельных групп, связанных в изначальную генетическую общность. См. фазы алтайской афанасьевской керамики в книге «Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях» (Барнаул, 2009. С. 157, рис. 1). В эпонимном могильнике у Афанасьевой горы в мог. 26 у женского (вероятно, по определению М. П. Грязнова) костяка левое предплечье окружено аргиллитовыми пуговицами, перемежающимися с железными обоймами, как полагает исследователь — это остатки браслета. Железо, конечно, признано метеоритным. Юношеское, мужское (?) захоронение этой могилы снабжено плоскодонным сосудом с рядом орнамента в виде «жемчужин» (отверстия, не проходящие насквозь, проделанные внутри сосуда, когда на внешней поверхности видны становятся округлые выпуклины) под венчиком, необычны также форма, орнамент, конструкция венчика у сосуда, находившегося при женском захоронении (Грязнов М. П. Афанасьевская культура на Енисее. СПб., 1999. С. 18, 50, 89, рис. 3; с. 94, рис. 8; с. 92, рис. 6, 17—19; с. 97, рис. 11, 2, 5). В паре десятков метров от указанной могилы в ряд афанасьевских могил, не нарушая его и не разрушая афанасьевских захоронений, включается небольшая компактная группа раннетагарских могил (Пшеницына М. Н. Раннетагарские погребения в могильнике

Афанасьева гора на Енисее // Южная Сибирь в древности. СПб., 1995. С. 118—125). Прямую связь этих захоронений с афанасьевскими не приходится исключать.

15. Впервые возможность прямой связи афанасьевского и карасукского населения отметил С. В. Киселев (Материалы археологической экспедиции в Минусинский край в 1928г. Минусинск, 1929. С. 56—57, 160 (примеч. 67)). См.: Кожин П. М. Относительная хронология погребений в могильнике Окунев улус // Советская археология. 1971. № 3. С. 31—39 ; Иванова Л. А., Кожин П. М. О характере взаимосвязей культур эпохи бронзы Хакасско-Минусинских степей // Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии Академии наук СССР, 1970. Л., 1971 ; Их же. Об этноисторических составляющих «тагарского комплекса» // Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии Академии наук СССР, 1971. Л., 1972. С. 93—95 ; Их же. О воздействии традиций населения окуневской культуры на материальную культуру предтюркского населения Хакасско-Минусинских степей // Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии Академии наук СССР, 1972—1973. Л., 1974. С. 116—117. О позднем переживании афанасьевской культуры на Алтае, см. : Ларин О. В. Афанасьевская культура Горного Алтая: могильник Сальдьяр-1. Барнаул, 2005. С. 175—178. Учтите-вая, что я считаю возможным длительное сосуществование афанасьевского населения с более поздними насельниками Южной Сибири, приписанная мне «сенсационная атрибуция» афанасьевских псалиев, остается на совести Е. А. Миклашевич (Окуневские лошади : к проблеме появления одомашненной лошади в Южной Сибири // Окуневский сборник : культура и ее окружение. СПб., 2006. Вып. 2. С. 192). Никакой «трассологической атрибуции» М. П. Грязнов не проводил. **Его рассуждения всего лишь мнения.** Я тоже разговаривал с ним на эти темы, как и Э. Б. Вадецкая. Так что имею право сообщить то, что касалось наших разговоров: он считал, что роговые стержни были наверхшими посохов. Доказательств у него не было. Он не признавал, что уздечки, плетенные из конского волоса, применялись в индейских культурах, хотя это очевидный этнографический факт и незнание этого факта во многом затрудняет и без того убогие эксперименты по воссозданию процесса управления упряжкой в бронзовом веке (См.: Епи-махов А. В., Чечушков И. В. К вопросу о способах управления пароконной колесницей бронзового века // Происхождение и распространение колесничества. Луганск, 2008. С. 205—211). Кстати, в бронзовом веке формируются два вида псалиев: **пластинчатые**, круглые либо прямоугольные и **столбчатые** (как афанасьевские). Иногда в одном изделии они могут быть конструктивно соединены. Однако, в последние десятилетия исследованию пластинчатых типов отдается явное предпочтение (См: Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности : сборник статей. Донецк, 2004), хотя столбчатый вид ближе к железному веку становится доминирующим и почти полностью вытесняет пластинчатые формы. К сожалению, остались не исследованными арканы из конского волоса, обнаружен-ные в ходе раскопок склеповой конструкции кургана Салбык в 1955 г. Ка-

кие-то веревки из растительного волокна, как указывали казахстанские исследователи применялись для транспортировки бревен волоком за верхней лошадь (Акишев К. А., Кушаев Г. А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. Алма-Ата, 1963. С. 80—82).

16. Окуневская культура была окончательно введена в стратиграфическую колонку лишь в 1965 году (Максименков Г. А. Окуневская культура в Южной Сибири // Новое в советской археологии. М., 1965. С. 168—174). Ранее ее памятники, отчасти, присоединялись к афанасьевским, но в основном рассматривались как раннеандроновские. С того же времени к «окуневскому этапу» начинают причислять, в основном, все известные наскальные изображения и каменные изваяния Юга Красноярского края. Окуневская культура выявляется также и в Туве. Далеко не все специалисты принимают вывод об «окуневской» культуре как периодизационном этапе южно-сибирского бронзового века. Так, Я. А. Шер (О соотношении между афанасьевской и окуневской культурами // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул, 1991. С. 53—55) видит в ее популяции местные туземные энеолитические группы, активно сосуществовавшие с афанасьевским и, возможно, более поздним пришлым, степным населением. Это было возможно за счет того, что разнокультурные группы занимали различные экологические ниши.

17. Молодин В. И. К вопросу о культурно-хронологическом соотношении кротовской и окуневской культур // Исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, 1987. Ч. 1. С. 136—138 ; Комарова М. Н. Томский могильник, памятник истории древних племен лесной полосы Западной Сибири // Материалы и исследования по археологии СССР, 1952. № 24. С. 7—30 ; Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1985.

18. Обычно в качестве **андроноидных культур** рассматривают памятники лесостепных вариантов общности, но, видимо, правильнее было бы распространить его и на памятники Туркменистана, и нижнего течения Аму-дарьи, тем более, что отличительные черты их, как разновидностей культур андроновской общности, или родственных ей культурных проявлений, или локальных вариантов, не суммированы и не систематизированы. К тому же не издан до сих пор обобщающий том по культурам эпохи бронзы степной полосы «Северной Евразии», который должен был первоначально войти в 20-томную «Археологию СССР». Впрочем, обобщение могло быть выполнено еще по изданию «Средняя Азия в эпоху камня и бронзы» (М. ; Л., 1966. С. 213—232, 239—259).

19. Работа над фактическим материалом всех основных регионов и ареалов андроновской общности была мною кратко обобщена: см.: Кожин П. М. О последовательности формирования и периодизации андроновской культурной общности // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири : тезисы докладов к всесоюзной научной конференции. Барнаул, 1991 ; Его же. Принципы построения и типология андроновской орнаментации // Культуры древних народов степной Евразии и феномен протогородской цивилизации Южного Урала : материалы 3-й меж-

дународной научной конференции «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». Ч. 5. Кн. 1. С. 73—78.

20. Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994. Позволю себе оставить без комментария эту книгу и некоторые вариации на ее темы: всадничество, колесничество, коневодство, керамика индоариев, псалии, арийская проблема, в общем все, что может быть превращено в «увлекательный рассказ».

21. Киселев С. В. Древняя история..., С. 106—183 ; Членова Н. Л. Хронология памятников карасукской культуры. М., 1972 ; Ее же. Карасукские кинжалы. М., 1976 ; Новгородова Э. А. Центральная Азия и Карасукская проблема. М., 1970.

22. Jettmar K. Karasuk culture and its South-Eastern Affinities // Bulletin / Museum of Far Eastern Antiquity. Stockholm, 1950. N 22. P. 83—126. Это очень хороший реферат соответствующей части монографии С. В. Киселева (Древняя история..., С. 67—183), дополненный антропологической характеристикой населения рассматриваемых культур, сформулированной Г. Ф. Дебецом (Палеоантропология СССР. М. ; Л., 1948), выполненный специалистом полноценно изучившим материалы степных культур «северной периферии Китая» и сформировавшим самостоятельную позицию по вопросам о соотношении этих культур с данными по истории Иньской и Чжоуской династий Китая и с культурами народов Южной Сибири.

23. Кожин П. М. Сибирская фаланга эпохи бронзы. Новосибирск, 1993 ; Его же. К вопросу о происхождении иньских колесниц // Культура народов Зарубежной Азии и Океании: сборник Музея антропологии и этнографии. М., 1969. Вып. 25. С. 36—40.

24. См.: Ulangom — Ein Gräberfeld der skythischen Zeit aus der Mongolei / E. A. Novgorodowa, V.V. Volkov, S. N. Korenevskij, N. N. Mamonova. Wiesbaden, 1982. (Asiatische Forschungen ; Bd. 76) ; Новгородова Э. А. Древняя Монголия. М., 1989. С. 257—315. Здесь четко проявилась двойственность подхода к материалам формально однородным, но могущим выявляться в разновременных культурных комплексах (причем разновременность эта, возможно, вызвана тем, что культура, в которой такие вещи обнаруживались, могла в разных ареалах и регионах распространяться в разное время): Улангомский могильник Э. А. Новгородова датирует «скифским временем» в Монголии (V—III вв. до н. э.) (С. 261), тем самым признавая, что «карасукские» предметы из этого памятника относятся к указанному времени. Однако, при датировке «типов» изображений на «оленных камнях» Монголии (С. 179, 185—195) она датирует формально аналогичные предметы значительно более ранним временем (вплоть до второй половины II тыс. до н.э.).

25. Начиная с монографии: Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая речка. М. ; Л., 1956. (Материалы и исследования по археологии СССР ; № 48), — Грязнов всегда жестко придерживался стадияльной концепции, причем, устанавливая стадии на памятниках, располагавшихся наиболее близко друг к другу, он не стремил-

ся выявлять между этими хронологическими стадиями культурные, этнические и прочие связи и, тем более, генетическое родство. Связи он, обычно, выявлял в пределах культур «определенного времени и типа» и даже значительные пространства, разделяющие аналогичные памятники, не влияли на его оценку временных соотношений: «однокультурность» определяла единство хронологических пределов вне зависимости от расстояний между «однотипными» находками. Вот последний яркий пример:

«...сходство их (памятников афанасьевской культуры — П.К.) с памятниками ямной культуры, позволяет *лишь* считать, что они синхронны ямной культуре, которую принято датировать второй половиной III тыс. до н.э. Отсюда и афанасьевскую культуру принято датировать тем же временем (Курсив мой. Думаю, основания дат и методология вполне прозрачны! — П.К.). Если дата ямной культуры будет изменена, соответственно, и дату афанасьевской культуры надо будет изменить». (Грязнов М. П. Афанасьевская культура на Енисее..., С. 54) . Ни расстояния между культурами, между р. Уралом и р. Енисеем, ни какие бы то ни было факты и выводы не могут поколебать, а тем более изменить это заключение, если только сам мэтр не придет к иному, что не раз случалось. Объективности работы это часто мешало!

26. Киселев С. В. Древняя история... С. 184—303 ; Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 206—246 ; Кызласов Л. Р. Таштыкская эпоха в истории Хакаско-Минусинской котловины. М., 1960 ; Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999

27. Характерный пример — это наблюдения С. В. Дмитриева над могильными полями в долине Ганьшигоу, близ западной границы Синьцзяна с Казахстаном (Dmitriev S., Holotová-Szinek J. La vallée de Ganshigou : note sur enquête archéologique et ethnographique // Arts asiatiques. 2007. Vol. 62. P. 146—151).

28. Müller S. Routes et lieux habités à l'âge de la pierre et à l'âge du bronze // Mémoires de la Société Royal des Antiquities du Nord. Copenhague, 1903.

29. См., например, Го Баоцзюнь. Шаньбаочжэнь юй Люлигэ. Пекин, 1959. Табл. XIY, 1 ; XY, 3 ; XLIII, 1 ; XC1,1 ; XCIII ;

30. Пещера тысячи Будд..., С. 29.

31. Александрова Н. В. Путь и текст..., С. 239. В примечании 615 на с. 301, исследователь, без прямых оснований, пытается локализовать страну Сымодало в Бадахшане. Я не считаю возможным на чем-то настаивать, но первые аналогии, которые приходят на ум — это головной убор из кургана Иссык (50 км восточнее Алма-Аты) (Акишев К.А. Курган Иссык. М., 1978. С. 14, рис.5; с. 16, рис. 7), а также находки в погребениях на Тилля-тепе, на окраине г. Шибиргана, Афганистан (Сарианиди В. И. Афганистан : сокровища безымянных царей. М., 1983). Несмотря на явную разновременность этих крупных комплексов и очень сложный (с точки зрения культурной принадлежности: китайские, эллинистические, индийские предметы) состав афганских находок — общая культурная основа в них ощутима очень заметно. Поч-

ти двухсотлетний период западного «научного» комментирования этнокультурных и политических ситуаций, связанных с разными историческими периодами, в древней Центральной и Средней Азии, привел к такому положению, что, после работ сэра Г. Юла, мы уже не имеем никакой связной системы представлений о каждом из этих периодов и картах, отражающих реальные расстановки политических сил в них. Комментарии наслаиваются друг на друга, как в китайской традиционной науке. Все они хороши настолько, что их стараются полностью принять, согласовать и, в конце концов, забыть до того момента, когда в них неожиданно вновь появится необходимость. Поневоле усомнишься в комментариях к Чжан Цяню, в локализации и характеристике Цунлина (Лукового хребта), от которого отгалкивается путешествие в описании своих маршрутов и комментаторы в своих, увы! фантазиях. Начинаешь понимать, почему многие специалисты ограничивают свои интересы областью восточных гуннов и их политической историей. История Центральной Азии, ее политическая география явно нуждаются в том (особенно после «забав» Л. Н. Гумилева), чтобы написать ее заново, опираясь исключительно на тексты и их реальное сопоставление с природной обстановкой и современными данными о реальном состоянии полевых археологических исследований на изучаемой территории.

Глава 6

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ

§ 1. Китайские зеркала в Сибири*

В европейской культуре, а тем самым и в науке, порожденной этой культурой, за последние полтора столетия стало привычно смотреть на ход истории как на массовый процесс, в котором доминируют и которым управляют статистически исчисляемые вероятности. Привычная форма событийной истории все больше абстрагируется от частных фактов, личных судеб, проявлений случайности — всего того, что придавало описаниям течения общественной жизни какую-то индивидуализирующую окраску (пусть даже это, по преимуществу, касалось деятельности представителей власти и элит, но исторический процесс, благодаря регулярно вкрапленным в его описание картинам повседневной жизни, в принципе представал как гуманитарное самопорождаемое и самоуправляемое действие), региональную специфику, этнокультурные и этноисторические особенности. С помощью такого последовательного абстрагирования проще становится выводить некоторые «общеисторические» законы (экономические, геополитические, культурологические) [1], констатировать «непреложные вечные истины», которые не требуют доказательного обоснования, могут быть приняты на веру либо подтвержденные

* Основу этого параграфа составляет статья, написанная к 75-летию юбилею академика М. Л. Титаренко.

силой общественного мнения («так все утверждают или говорят»), либо — весом чьего-нибудь, пусть даже эфемерного сиюминутного, авторитета [2].

Однако наряду с такими «холистическими» подходами к макропроблемам независимо существуют и аккумулируются во все большем числе различные направления историко-культурных, историко-политических, этноисторических, этнопсихологических и тому подобных исследований, образующих в целом самостоятельный горизонт научной активности, не всегда даже связанный с макропроблематикой общими установками (или вступающий с ними в противоречия) и даже в пределах одной отрасли, скажем, исторической и политической географии и тесно связанных с нею «геополитики», проблем «региональных цивилизаций» (в той форме, как они, например, заданы в трудах А. Тойнби) и т. п., руководствующихся не общими установками данной отрасли (которые к тому же могут быть ныне уже забыты, осмеяны, огульно отвергнуты), а положениями какой-либо, часто одиозной, школы, сложившейся внутри отрасли (как, например, «школа» Л.Н. Гумилева [3]).

В настоящее время перед русскоязычными китаеоведами стоит задача привести в соответствие многолетний опыт изучения исторического прошлого Китая, страны с многотысячелетней культурой, составившей основу дальневосточной (восточной и юго-восточноазиатской) цивилизации, с теми общими принципами и основаниями, которые складываются в наших общественных науках как следствие отхода от однозначных трактовок, постулированных марксистским обществоведением. Конечно, размытые и противоречивые принципы постмодернистской философии допускают значительный произвол в подходах к изучению исторического процесса (как, впрочем, и любого другого явления, процесса, события, проявления жизни), но именно при изучении истории наиболее правомерно может (и должно!) прозвучать аргументированное возражение против постмодернистского вывода о том, что наука — это не поиск истины, а всего лишь возможное непротиворечивое решение соответствующих проблем. Такой подход еще можно понять (тогда как принятие его для всякого серьезного специалиста остается под вопросом: это нечто вроде испытания свободой совести), когда речь идет о проблемах будущего в любой отрасли знаний, причастной к футурологии, но история — это всегда прошлое, в крайнем случае, краткий миг перехода из будущего в прошлое. История — это то, что уже однозначно состоялось в судьбе человека, поколения,

народа, человечества. Вопрос может заключаться лишь в том, каково качество, разрешающие возможности того исследовательского инструментария, которым в момент проведения соответствующего исследования пользуется историческая наука, и насколько те методические, методологические, технические, теоретические и логические приемы, используемые в исследовании, отвечают требованию самой науки: получению однозначно истинного ответа.

Собственно, значение наук о прошлом, важность их для человечества (естественно, при ответственном, сознательном отношении к ним!) заключается в том, что только в пределах их компетенции возможны ответы, которые могут быть объективно проверены (отрицать такую оценку человеческих возможностей было бы допустимо лишь при безоговорочном признании агностицизма как формы мироощущения и мировосприятия) и соотнесены с истиной (с различной, конечно, степенью приближения к ней, зависящей не только от вышеперечисленных обстоятельств, но и от эпохи, состояния и уровня культуры и многих других показателей, включая и личность ученого). Полагаю, что такая постановка проблемы правомерна уже исходя из того, что события, оставшиеся в прошлом, состоялись и происходили только по заведомо однозначному сценарию, ибо тут действуют объективные законы практики: ни одна ситуация не может окончательно разрешиться, если не разрешились все противоречия, могущие повлиять на ее ход.

Именно поэтому, помимо уже рассмотренных принципиальных положений, в области отбора материала, его подачи и трактовки огромное значение приобретает выбор однозначных решений вопросов на микроуровнях. К числу их относится, прежде всего, трактовка такого методологического понятия, как **исторический факт**. В самом обобщенном понимании мы расцениваем «исторический факт» как некое сообщение в письменном документе, трактующее о каком-то историческом событии, явлении, его действующих лицах (участниках, свидетелях, современниках события), пространстве действия, изменениях, происшедших на исторической сцене в результате данного события, возможности порождения им цепи последующих взаимосвязанных действий и т. д. Степень «историчности» факта, его реальности либо виртуальности (еще недавно можно было использовать менее многозначный термин: «вероятность» и даже «пределы вероятности») зависит, в свою очередь, от времени записи «свидетельств» о нем, значимости его для самих свидетелей-очевидцев или их

потомков и от многих других моментов, в частности, историко-идеологической, социальной и политической обстановки, в которой оно передается, осуждается, обсуждается, культивируется (или, выражаясь языком некоторых философских направлений, которые представляются многим нынешним русскоязычным авторам ультрасовременными: «фальсифицируется» [4]). Чтобы не быть голословным, напомним такие историко-культурные данные из древнейшей китайской истории, как вопрос о реальности древнейшей династии Ся, с которой в историко-дидактической и философско-политической китайской литературе увязывается вся непреходящая мудрость древних законов и обычаев, и блестящие пассажи *Шуцзина*, трактующие деятельность и биографию одного из «отцов основателей» традиционного китайского монархического государственного строя — Чжоу-гуна. Каждое из этих письменных свидетельств стремятся представить как исторический факт (это не случайная оговорка: каждое из этих исторических явлений можно сформулировать афористически как проявление эмпирических знаний), подкрепляя такую оценку уже не письменными документами, а новыми археологическими находками в пределах тех территорий, где «протекала жизнь Чжоу-гуна» и осуществлялись «исторические акции» мифических правителей Ся.

Использование археологических данных в качестве иллюстраций для исторических фактов теперь уже дело обычное, но здесь намечается операция методологически более значимая, а именно, попытка (и достаточно решительная!) подкрепить археологическими материалами надежность, реальность, достоверность исторического факта, т. е. письменного свидетельства. Когда в самом археологическом памятнике встречены письменные данные, подтверждающие исторический письменный документ, такого рода подтверждение является уже само по себе достоверным историческим свидетельством. Подобная ситуация имела место при изучении текстов гаданий на костях и панцирях черепахи. В отношении династии Ся и Чжоу-гуна аргументация имеет качественно иной характер: имеются свидетельства существования высокой культуры эпохи бронзы, предшествующей Шанской — значит, найдены памятники династии Ся. Имеется монументальный памятник раннечжоуского времени, посвященный некоему «культурному герою» — значит, это памятник Чжоу-гуну. Это заставляет вспомнить тот период развития европейской археологии, когда в каждом значительном скоплении археологических находок хотели видеть иллюстрацию к письменным историческим свиде-

тельствам — эпизодам осады Трои, описанным в «Илиаде», или битвам Юлия Цезаря, описанным в его «Записках». Отголоски такого рода оценок в отношении археологических памятников, в принципе, присущи народному «мифотворческому сознанию». Подозреваю, что опасение подпасть под действие подобного психологического эффекта, навязываемого массовым сознанием, вынудило составителей последней «Кэмбриджской истории древнего Китая» весьма ограниченно использовать данные археологии для исторических реконструкций [5]. Однако представляется, что этого эффекта можно избежать, повышая степень обоснованности при трансформации археологических данных и фактов в реальные исторические факты. Это становится особо актуальным ныне, когда в КНР, особенно в период «культурной революции» и позднее, было обнаружено непомерно много новых археологических памятников, причем значительное их число подверглось систематическим археологическим раскопкам [6]. Выявленные при этом археологические объекты, предметы, сооружения, следы хозяйственной, социальной, бытовой деятельности требуют скорейшей научной интерпретации с точки зрения возраста находок, их принадлежности населению той или иной археологической, а также этнической культуры. Длительное пребывание крупных коллекций в музейном хранении без их всестороннего изучения, как показывает опыт, ведет к депаспортизации материалов, к снижению информативности всего комплекса находок за счет того, что слабозафиксированные данные стираются из памяти специалистов и труднее становится восстанавливать картины взаимосвязи предметов и явлений в том виде, в котором они изначально проявлялись в момент их извлечения из земли. Единственный путь, способствующий ускорению и совершенствованию научной работы, — это разработка надежных методических и методологических принципов, позволяющих стандартизировать исследовательские процедуры, намечать моменты, когда сами предметы материальной культуры, выявленные в раскопках, могут быть преобразованы в функциональные комплексы [7], характеризующие определенные области человеческой культуры на синхронном срезе, где проявляется этническая, хозяйственная, лингвистическая и т. п. уникальность этих комплексов, превращающая их в документы, соотносимые по значению с письменными данными. К сожалению, сложность процедуры вынуждает меня ограничиться минимальным количеством примеров. Приведу вначале общеизвестный конкретный факт. В своем трактате «О происхождении германцев и местоположении Германии» рим-

ский историк Тацит (*Tacitus. Germania*, 12) сообщает о том, что у германских племен было принято за определенные преступления карать преступника позорной смертью — топить его в болотной грязи, а затем забрасывать валежником. Такого рода захоронения были найдены [8]. Они подтвердили реальность существования особой нормы германского обычного права и таким образом подкрепили правомочность признания существования **у всех германских племен I в. н.э. племенных собраний для обсуждения общенародных дел**, т. е. с помощью подобных неоднократно повторявшихся археологических находок специалисты сочли возможным намечать достоверную историю германских народных собраний, первых сводов правовых норм и, в частности, скандинавских судебных тингов с первых веков до нашей эры [9].

Начиная с первых веков до нашей эры на огромных просторах Восточной, Центральной, Средней Азии, Сибири стали известны китайские металлические зеркала, медные и из белого металла [10]. В большинстве своем это случайные находки. Однако, встречаются они и при современных научных раскопках, когда могут быть определены время их попадания в соответствующий археологический объект (а оно может быть значительно более поздним, чем время изготовления) и значение находки в контексте культурного слоя или какого-то объекта в нем. Характерно, что эти зеркала часто встречаются и в виде отдельных крупных обломков: причем, их явно берегли, даже когда они не были пригодны для того, чтобы в них смотреться при совершении туалета. На обломках часто видны следы инструмента (долота), с помощью которого зеркала намерено разламывали. Несколько находок таких обломков в погребальных комплексах [11] привели к созданию типичной «археологической гипотезы», какие обычно возникают, когда специалисты встречаются с непонятным явлением, которое не кажется настолько важным, чтобы над ним специально задумываться: вещь-де намерено «убивали», разрушая ее, чтобы она могла перейти в иной мир вслед за своим умершим владельцем. Однако в комплексах находят обычно не просто намеренно разбитые зеркала, а их отдельные обломки, что определенно требует какого-то иного объяснения. Более того, случайная находка в Минусинских степях разбитого зеркала, сложившегося из трех отдельных частей [12], показывает, что эти части долгое время хранились по отдельности друг от друга (орнамент на каждой из частей стерся по особому), т. е. если разбивание зеркала и было ритуальным актом, то он не был связан с захоронением последнего владельца зеркала.

ла. В этих обломках часто проделывали отверстие для подвешивания или носили их в специальных мешочках. На обломке танского зеркала (VIII—IX вв.) из Минусинских степей еще академиком В.В. Радловым была прочитана руническая владельческая надпись: «человек... Это обломок моего зеркала ...» [13]. Это повышает значимость находки: владельческие надписи делались на далеко не случайных вещах!

Интенсивность распространения зеркал за северные и западные пределы Древнего Китая нарастает начиная с Циньской династии, когда усиливается внешняя экспансия Китая. Китайский перебежчик евнух Чжунхан Юэ, ставший одним из идеологов восточных гуннов (сюнну китайских источников) в I в. до н.э. объяснял это тем, что, усиливая приобщение гуннов к китайской культуре, распространяя моду на эту культуру, имперские власти создают особую форму зависимости кочевого населения от земледельческого Китая, хотя в условиях степей эта бытовая и общественная культура оказывается несостоятельной. Однако это справедливое и рациональное объяснение необходимо дополнить в отношении зеркал еще и иррациональным с современных позиций моментом. Ведь одной из важных целей внешней экспансии времен ханьского императора У-ди (140—87 гг. до н.э.) [14] являлись поиски страны бессмертных и возможностей достижения бессмертия для императора (в последующие века память об этой составляющей внешней политики Древнего Китая в народном сознании обрела крайне фантастический вид). На пути достижения этих целей стояло много препятствий, в том числе в виде всякого рода локальных черных сил («нечисти, духов, привидений» и т. п.). Надписи на некоторых видах зеркал [15] должны были предохранять китайцев от этой напасти. Но, как показывают танские новеллы, древние зеркала могли даже и независимо от надписей противостоять враждебным воздействиям духов, поглощать их: отсюда и желание распространять на «проблемных» территориях эти «надежные» средства защиты, обереги, апомропей в возможно большем числе.

Однако функции зеркал не исчерпываются указанным набором. Еще одно направление их использования указано в одной из новелл сборника «*Цзин бэнь тунсу сяшо*» («Столичные сюжеты популярных рассказов»), относящегося, видимо, к концу династии Сун (XIII в.) [16]. Молодожены, разлученные в период очередной смуты в стране, расставаясь, разделили на половинки зеркало, которое наследовалось в роду мужа. Через 20 лет, при случайной встрече, удалось вновь соединить принадлежавшие им

половинки зеркала, чем был подтвержден факт заключенного между ними брака. К сожалению, при длительной передаче сюжета потерялись кое-какие подробности. Так, я не встречал зеркала, на котором сюжет уточек-неразлучниц (мандариновых уточек, символа супружеской верности) был бы обозначен иероглифами *юань ян* — «селезень и утка», что иносказательно, символически и означает «верные супруги». Обычно на украшениях их изображают парой уток с переплетенными шеями [17]. Затем, из текста не ясно, как зеркала делились на половинки. Ничто не противоречит выводу о том, что зеркало было расколото (быть может и раньше с его применением уже заключался какой-то договор, а тогда его раскололи ранее) для подтверждения заключенного договора и участники договора получили по куску (в переводе новеллы говорится, что каждый получил одну створку) зеркала. Характерно, что для хранения половинки зеркала использовался специальный кошелек. Во всяком случае само по себе заключение договора с применением зеркала как удостоверяющего его средства у рассказчика новеллы и его слушателей явно не вызвало удивления. Видимо, это был достаточно обычный прием.

В таком случае здесь представлена достаточно обыденная ситуация заключения договоров на длительное время и при отсутствии постоянного взаимного общения их участников, допускающая возможность передачи договорных прав другому лицу (допустим, наследнику или кредитору). Не стоит забывать, что в описанное время уже много веков функционировала транзитная трансевразийская дорожная сеть («шелковый путь» со всеми его ответвлениями), а постоянные войны с чжурчжэнями и общение с ними и другими участниками торгового оборота на караванных дорогах непременно оказывало воздействие на торговые, правовые и обыденные распорядки в самой ханьской среде.

Проблема гарантий в различного рода правовых отношениях в пределах больших государственных образований, а уж тем более тогда, когда договоры могли заключаться лицами, являющимися подданными разных государств, да еще и на территории какого-то третьего государства, становилась все более актуальной по мере разрастания и интенсификации евразийских контактов населения. Для правового обеспечения таких контактов возникали соответствующие административные и чисто торгово-караванные или общественные органы. Параллельно с их созданием, расширением их функций, совершенствованием разрастался и инструментарий, обеспечивающий технические гарантии сделок, их заключения, исполнения, продления и т. д. Например, Ибн-Фадлан

в своей «Записке», посвященной поездке к «царю русов» (922 г.), описывает некоторые нормы отношений между торговцами — тюрками (кочевниками-язычниками, купцами) и мусульманами: «...не может ни один из мусульман проехать их (тюрков. — П.К.) страну пока не назначат ему из их среды друга, у которого он останавливается... и если тот человек захочет уехать, то берет все нужное ему для поездки у своего друга-тюрка (лошадей, верблюдов, деньги), а потом возмещает ему затраты». Существовала процедура расчетов на случай смерти «друга-кредитора» [18]. Аналогичную картину отношений изобразил в своей первой записке Абу-Дулаф [19].

Итак, существование длительных торговых контактов требовало для их обеспечения различного рода документального инструментария. Представляется, что одной из его разновидностей является договор, заключенный над обломками зеркала: соединение обломков по месту разлома в неразрывное целое становилось гарантией реальности договора. Договор, очевидно, подкреплялся как устными, так и письменными условиями, но гарантией правомочности участия в нем определенных лиц служили обломки зеркала, которыми они располагали. Аналогии с Европой греко-римской и средневековой эпох показывают, что многие сделки оставались нереализованными. Такие факты знаменуются находками крупных монетных кладов на караванных путях, пересекавших Европу в эти эпохи. Изученность Центральной Азии в этом плане значительно слабее, но вряд ли можно рассчитывать на частые находки таких кладов в будущем [20]: различна была демографическая обстановка в европейских и азиатских регионах. Однако находки в могилах подобных обломков зеркал подтверждают наличие таких нереализованных договоров.

Но, пожалуй, куда важнее более общая постановка проблемы о различного рода гарантиях, которыми в древности обеспечивались надежность и прочность долговременных договорных отношений, в которых предусматривалась их длительность, наследственная передача прав, удостоверения правомочности и самоличности субъектов сделок и т. п. Наиболее важные договорные акции издавна научались оформлять различного рода материальными свидетельствами. Греческие *σύμβολον*, римские *tesseræ*, китайские *лоуфу* (разрезные верительные бирки) [20], семитические «таблички гостеприимства», о которых, в частности, писал Плавт [21], — все это материальные свидетельства прочных межличностных, межобщинных, межгосударственных, заключенных крупными торговыми «фирмами», храмовыми объединениями, госу-

дарством и отдельными лицами (профессиональными, конфессиональными, семейными, этническими группами лиц и т. п.) договоров и договорных условий, действовавших в расчете на большую временную длительность и отсутствие постоянных личных контактов (а часто и полное отсутствие таких контактов, что могло быть связано с передачей прав другим лицам по наследству либо по условию). Эти документы становятся материальными свидетельствами выработки правовых договорных норм, в том числе и международных, но остаются пока малоизученным деловым материалом. Понятно, что изучать, скажем, песни средневековых миннезингеров в литературоведческом плане много привлекательней, чем исследовать их всего лишь как способ заполнения полей нотариальных актов, лишаший возможных фальсификаторов пустого пространства на деловых документах и тем самым исключающий выполнение на них различного рода дополнений и приписок!

Примечания

1. Если О. Конт во второй лекции своего «Курса позитивной философии» в общих чертах оценивал исторический процесс и противоречия в его понимании среди современных ему историков, философов, обществоведов, то его последователи и особенно сторонники статистического подхода к научным истинам стремились выразить свои выводы с возможно большей статистической «достоверностью». Попыты К. Риккерта, считавшего необходимым разделить принципы исследований в области гуманитарных и точных наук, практически не остановили развитие статистического направления в истории, сближение истории с социологией также направляло исследования в область статистических вероятностей.

2. Ярким примером в этом является отношение специалистов к «идеальным типам» социально-экономических структур, сложившихся под давлением различных религиозно-идеологических доктрин, на Западе и на Востоке. Эта незрелая и незавершенная экономико-культурологическая конструкция вдруг приобрела доминирующее значение через десятки лет после ее создания (Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Sociologie*. Köln-Berlin, 1964 ; Item. *The Protestant Ethik and Spirit of Capitalism* / trad. by T. Parsons. N.-Y., 1958 ; Item. *The Religion of China : confucianism and taoism* / transl. and ed. by H. H. Gerth with introduction C. N. Yang. N.-Y., 1964. Ср.: Кожин П. М. Проблемы изучения традиций КНР. М., 1982. С. 112, 114—115).

3. Гумилев Л. Н. *Этногенез и биосфера Земли*. М., 1989 ; Его же. *Этносфера : история людей и история природы*. М., 1993. Кожин. П. М. Тради-

ции в системе этноса // Этнографическое обозрение. 1997. № 6. С. 5, 11, прим. 10; с. 13, прим 34.

4. Фальсификация // Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 4. С. 159.

5. The Cambridge History of Ancient China : From Origins of Civilisation To 221 B.C. / ed. by M. Loewe and E. L. Shaughnessy. Cambridge University Press, 1999. 450 p. Благодарю М. Ю. Ульянова за предоставление в мое распоряжение этого издания. На недостаточное использование в «Истории» археологических данных обратила внимание уже Т. В. Степугина («Предисловие» к монографии К. В. Васильева «Истоки китайской цивилизации» (М., 1998. С. 6—7)).

6. Сейчас остается только констатировать ту огромную пользу для археологических исследований, которую принесла организация науки в СССР, плановая подготовка специалистов, разработка выверенных тематических планов полевых и кабинетных исследований, обеспечение государственного музейного хранения добытых при раскопках экспонатов, коллективная или государственная собственность на землю и содержимое ее недр, планирование расходов на науку, выделение средств на раскопки, действенное обеспечение охраны и сохранности памятников прошлого. Все это сумел сохранить и продолжает использовать современный Китай.

7. Вводя термин-определение «функциональный комплекс», я имел в виду обозначить объединение синхронных предметов материальной культуры, которое обеспечивало либо отдельные сферы деятельности древних человеческих коллективов, либо, в целом, для определенных кратких моментов истории, обозначало весь комплекс материальной культуры, которым пользовался и который употреблял в производстве и быту каждый член древнего коллектива или представитель отдельных его социальных, производственных управленческих жреческих и прочих групп. Насколько погрешительные комплексы, обнаруживающиеся в могилах, соответствуют и могут быть приравнены к функциональным, — это вопрос для специальных методологических исследований. Работа в этом направлении начата О. Монтелиусом еще с 70-х гг. XIX в., но не получила активного развития из-за нечеткости внутренних микрохронологий самих доисторических и раннеисторических культур. Очень ценное замечание в связи с этим принадлежит Ф. Гвиччардини (Заметки о делах политических и гражданских / пер. М. С. Фельдштейна под ред. Г. Д. Муравьевой. М., 2004 С. 94—95, афоризм 143): «Мне кажется, что все историки без исключения ошибались в одном: о многих известных в то время вещах они не писали именно потому, что предполагали их известными. Из-за этого получилось так, что теперь нам хочется узнать о многом таком в истории римлян, греков и всех других народов — например, о власти и различии магистратов, о порядке правления, о родах войска, о величии городов и тому подобном, что во времена тех писателей было известно всем и каждому и потому ими пропущено. Если бы они подумали, что с течением времени погибают города и за давностью лет утрачивается память о том, что было, и что история пишется именно для

того, чтобы это увековечить, они бы все описывали так, чтобы перед взором тех, кто родится в отдаленные времена, все совершившееся предстало бы с той же ясностью, как и дела настоящего, — ведь это и есть истинная цель истории». Сэр Томас Браун (1605—1682), врач и антиквар, издавая в 1658 г. трактат «Захоронения в урнах», сумел увидеть в археологических исследованиях огромные познавательные возможности, ибо именно археологические материалы вводили исследователей в мир материальной культуры, синхронной древним событиям, т. е. историческим фактам как таковым. К сожалению, реализация такого прогноза и более, чем через триста лет, остается во многом лишь мечтой.

8. Тацит К. Сочинения : в 2 т. Л., 1969. Т. 1. С. 435, прим. 32.

9. Ср.: Берман Х. Дж. Западная традиция права : эпоха формирования. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 61, 63—72, 531. Автор все же склонен видеть западные правовые реалии лишь ближе к рубежу I-II тыс. н.э., а переводчик не дает комментариев, определяющих позиции русскоязычных исследователей. См. также: Гуревич А. Я. Норвежское общество в раннем средневековье. М., 1977.

10. О металлических зеркалах и их «белом металле» см.: Industries anciennes et modernes de l'empire chinois. Traduites par. S. Julien. P., 1869. P. 63—65; ср.: У. И. Каримов. Неизвестное сочинение ар-Рази «Книга тайны тайн» (Ташкент, 1957. С. 93, 150—151, прим. 405), где рассмотрены наблюдения Ю. Руски, одного из исследователей и переводчиков химических и алхимических трактатов Абу Бекра Мохаммеда ибн-Закарийя ар-Рази (865—925), об *аль-хар сини* (или *аль-хадид сини*) — **китайском железе, или белой меди**, возможно являвшихся обозначением металла именно таких зеркал.

11. Могильник Пазырык, курган 6, половина раннеханьского зеркала в могиле (Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М. ; Л., 1953. С. 375, рис.14, 85, табл. XXIX, 6) ; могильник Кирилловка V, кург. 1, погребение 1, у локтя женского(?) костяка половина сунского (X—XI вв.) зеркала с явными следами намеренного его слома (Могильников В. А. Находка китайского зеркала в Кулундинской степи // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 1996. С. 158—162. Приведен список зеркал и их обломков в тюркских могилах) ; могильник Чендек, мог. 6, раскопки 1991—1992 гг., половина раннеханьского зеркала у пояса костяка (Киреев С. М. Китайское зеркало из могильника булан-кобинской культуры Чендек (Горный Алтай) // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. Барнаул, 2008. С. 50—53). Ценность случайных находок, даже при проведении систематических раскопок на широких площадях памятников, все же остается очень значительной. Случайно полученные результаты порою по значению перевешивают значимость результатов систематических работ. С этим необходимо считаться при проведении любых полевых краеведческих исследований, как это, в частности, повелось в Императорской Археологической комиссии во времена А. А. Спицына (История и практика археологических исследований. СПб., 2008).

12. Лубо-Лесниченко Е. И. Привозные зеркала Минусинской котловины : к вопросу о внешних связях древнего населения Южной Сибири. М., 1975. С. 39, № 8, рис. 6.

13. Рыгдылон Э. Р. Китайские знаки и надписи на археологических предметах // Эпиграфика Востока. М. ; Л., 1951. Вып. 5. С. 118, прим. 2, рис. 7 ; Лубо-Лесниченко Е. И. Указ. соч. С. 57, № 72 ; с. 124 ; Рыгдылон Э. Р. Новые рунические надписи Минусинского края // Эпиграфика Востока. М. ; Л., 1951. Вып. 4. С. 92, рис. 7. Еще одна такая надпись — предположительно.

14. Loewe M. Ways to Paradise : The Chinese Quest for Immortality. L., 1979. Index ; Loewe M. Chinese Ideas of Life and Death : Faith, Myth and Reason in the Han Period (202 b.c. — AD 220). L., 1982.

15. Karlgren V. Early Chinese Mirror Inscriptions // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. 1934. N 6. P. 9—79 ; Лубо-Лесниченко Е. И. Указ. соч. С. 39.

16. Цзин бэнь тунсу сяошо. Шанхай, 1954 ; Русские переводы сборника: Пятнадцать тысяч монет. М., 1962 ; Простонародные рассказы, изданные в столице (цзин бэнь тунсу сяошо). СПб., 1995.

17. Евтюхова Л., Киселев С. Чаа-гас у села Копёны // Труды Государственного Исторического музея. М., 1940. Т. 11. С. 47, рис.50 ; Ср.: Синьцзян чуту вэньу. Пекин, 1975. Рис.117.

18. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / пер. и коммент. под ред. И. Ю. Крачковского. М. ; Л., 1939. С. 61, 62, 98 ; Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956. С. 126, 127. Сюжет 20.

19. Rohr-Sauer A. von. Des Abu Dulaf Bericht über seine Reise nach Turkestan, China und Indien, neu übersetzt und untersucht // Bonner Orientalische Studien. Stuttgart, 1939. Bd. 29. S. 5—72 ; Мешхедская рукопись // Архив ЛО ИВ РАН. № Ф-В 202.

20. Римские тессеры сравнительно хорошо известны уже со времен работ И. В. Цветаева, судя по литературе неплохо изучены греческие *символон* (symbolon). Китайский материал, хотя и вошел в государственную административную практику, вероятно, в доханьское время известен меньше, но уверен, что материальных возможностей для его изучения существует значительно больше. Сыма Цянь пишет о чиновных бирках, своего рода патентах на должность. Одна половина документа поступала в имперский архив, другую получал чиновник (Исторические записки. М., 2002. Т. 8. С. 152, 155, 159, 188, 190, 245, 497). Данные такой бирки превращались в основу послужного списка и становились фактическим материалом для биографий чиновников в династийных историях и надписей на их надгробиях. Юань Мэй сообщает о другом способе использования разрезанной бамбуковой пластинки: «Купцы и земледельцы народности *ли* не имеют письменных контрактов и пользуются бамбуковыми пластинками, на которых ножом вырезают цифру продажной цены. Пластинку разрезают пополам. Покупа-

тель и продавец держат у себя свои половины в качестве свидетельства. Если по истечении длительного времени совершается перепродажа, то берут половину пластинки у прежнего хозяина, проверяют, совпадают ли они...» (Юань Мэй. Новые Записи Ци Се (Синь Ци Се), или О чем не говорил Конфуций. М., 1977. С. 313—314, сюжет № 592).

21. Плавт. Пуниец. Акт V. Сцены 1—2 // Комедии. М., 1997. Т. 3. С. 204—212, 452. Включенный сюда пунийский текст исследован И. Ш. Шифманом (Финикийский язык. М., 1963). Ср.: Закон и обычай гостеприимства в античном мире. М., 1998. Остается сожалеть, что именно эта — материальная — сторона проблемы не привлекла внимания авторов. В этой связи представляется весьма важной «охранительная» табличка V—VI вв. с «иудейско — арамейским» текстом (Церетели К. Г. Арамейский амулет из Мцхета // Вестник древней истории. 1999. № 3. С. 3—23). Оформление подобных документов всегда осуществлялось с учетом того, что могли быть люди желавшие их подделать, чтобы получить незаконно ценности, о которых договаривались владельцы: отсюда многочисленные средства и приемы, удостоверяющие подлинность договоров и соглашений. Эта непрерывная многовековая работа непосредственно переходит в изобретение все более высоких «степеней защиты» для современных денежных знаков и документов.

§ 2. О приемах художественного оформления серебряных изделий в эпоху Тан

К вопросу о типологии танского серебра

Атрибуция по времени и месту изготовления изделий ранне-средневековой восточной торевтики, обнаруживаемых в регионах, прилегающих к трансевразийскому «шелковому пути», связана со значительными трудностями [4]. Они обусловлены отсутствием прямых данных о центрах производства, случайным характером находок, малочисленностью предметов, отсутствием связи между ними и датированными комплексами. Однако значение этих предметов для выяснения условий экономической и политической жизни народов Центральной, Восточной и Средней Азии очень велико. Поэтому разработка новых, более совершенных приемов исследования этих материалов неизменно остается актуальной проблемой [1]. Естественно, что особенно интересными представляются случаи обнаружения больших комплексов изделий восточной торевтики. Один из таких комплексов — крупный клад драгоценных предметов в 1970 г. обнаружен в г. Сиани, расположенном на месте танской столицы Чанъань (См.: Вэньу.

1972. № 1. С. 37—42). Несмотря на то, что отдельные вещи этой коллекции датированы 731 г., она не является однородным комплексом. Обнаруженные здесь изделия из драгоценных металлов могли происходить из различных ремесленных центров. Сама пестрота коллекции указывает на ее связь с караванным путем и с кочевым миром, в котором накопление драгоценных вещей, обусловленное не столько экономическими потребностями, сколько стремлением к поддержанию престижа власти, было типичным. Собственно, на неизбежность такого сборного характера древних собраний изделий торевики указывают те сведения, которые позволяют судить об источниках их приобретения. Так, эти предметы могли быть личной военной добычей правителей, либо входить в состав дани подвластных народов, либо являться дарами, полученными от купцов за право прохода караванов и для обеспечения их безопасности, либо дарами правителей стран, с которыми существовал обмен посольствами. Наконец, накопление этих предметов могло происходить в результате непосредственного или поэтапного, случайного или систематического обмена. Вполне естественно, что вещи, распространявшиеся столь многообразными способами, можно обнаружить в местах, необычно удаленных от места их производства. Что касается локализации производственных центров, то она, помимо прочего, затруднена еще и тем, что мастерские были связаны между собой, располагаясь вдоль караванного пути. К тому же они в силу специфики спроса основных заказчиков продукции, из-за возможного перемещения ремесленников-художников из одного центра в другой могли производить сходную продукцию, а также изделия, в которых сложно сочетались технические и художественные приемы разных мастеров [4, с. 89]. Кроме того, в пределах одного центра могли возникать местные различия, обусловленные изготовлением предметов разного качества, массовой продукции и уникальных экземпляров.

Впрочем, в работе по локализации центров производства необходимо учитывать комплекс социально-политических условий, способствующих возникновению крупных торгово-промышленных центров на караванном пути и специфику организации ремесленного производства в них. При этом не следует преувеличивать подвижность ремесленников-златокузнецов. Склонность к такому рода преувеличениям возникла, в частности, потому, что издавна в археологических исследованиях сформировалась абстрактная схема развития металлообработки, начинающаяся будто бы деятельностью отдельных бродячих мастеров и лишь

постепенно, с развитием феодализма либо в условиях развитых древних цивилизаций, приближающаяся к ремесленно-цеховой организации. Судя по техническим данным, организация такого ремесла требовала кооперации многих профессионалов, в то время как массовое производство могло быть обеспечено лишь при наличии постоянного места производства, требующего к тому же сложного и многообразного оборудования. К прочной оседлости принуждали также длительность сроков профессионального обучения и необходимость постоянной практики, без которой работник мог легко потерять квалификацию. Можно даже утверждать, что к переездам ремесленников вынуждали исключительные обстоятельства, такие, как недостаток сырья, резкое его вздорожание, неспокойная обстановка в регионе, трудности сбыта продукции и уменьшение спроса на нее. Это могло быть связано с изменением моды, ослаблением интенсивности обмена, частичными нарушениями в функционировании караванных дорог, появлением новых эквивалентов обмена и, наконец, с войнами. Немаловажное воздействие на сбыт продукции оказывали также особенности выполненных на изделиях сюжетов с религиозной подоплекой. Кстати, религиозные убеждения также могли ограничивать возможности перемещений ремесленников, ибо на Западе (включая сюда также и Иран) с III в. н.э. шла сложная религиозная борьба, сопровождавшаяся преследованиями и изгнаниями «иноверцев». Эта борьба резко усилилась с победой ислама, которому к тому же оказался чужд основной набор художественных сюжетов предшествующей эпохи. Известно, что монголы насильственно переселяли ремесленников в свои административные центры.

Таким образом, если понятия «танское серебро», «сасанидское серебро» в широком смысле этого слова являются фикцией [ср.: 5, с. 62], так как определяемая таким образом продукция отражает многовековую деятельность различных центров и «художественных школ» [4, С. 17], то реальное количество производственных центров, формирующих художественный стиль каждой эпохи, а также региональную, а порой и этническую специфику сюжетных и орнаментальных композиций, было все же сравнительно невелико. Это подтверждает, в частности, специфика некоторых композиций танских изделий.

Рассматривая историю развития китайской торевтики и ювелирного дела, Б. Гюлленсвэрд отмечал, что появление в Китаековки драгоценных металлов в качестве основного приема изготовления изделий (а не для тонкой их доработки) относится

лишь к эпохе Тан, либо несколько предшествует ей [6, с. 1, 2, 28, 29]. Расцвет танской торевтики связан, в первую очередь, о освоением ковки и пайки драгоценных металлов. Ковкой формировались не только общие контуры изделия, но и выполнялись на нем различного рода выпуклые или вогнутые фигуры: медальоны, обегающие сосуд по окружности пояса, канеллюры и т. д.

Характерной особенностью общей для торевтики I тысячелетия было выполнение чаш и блюд, напоминающих по своей форме различные цветы. Так для западно- и среднеазиатских чаш и блюд характерна форма цветка лотоса, чьи лепестки выполнялись в виде сравнительно узких миндалевидных или трапецевидных углублений. Мотив стилизованного цветка лотоса мог формировать и основной орнамент. В танском серебре разнообразны выполнения «лепестков цветка». На некоторых чашах лепестки имеют вид сердцевидных медальонов. Углубленные промежутки между ними в нижней части — каплевидной формы, а верхние края лепестков образуют под венчиком чаши выпуклый фестончатый бордюр, аналогичный очертаниям фестончатых краев некоторых зеркал и блюд [2, с. 42]. При этом верхний край каждого лепестка подчеркивается позолоченной каймой с волнистым краем, воспроизводящей отогнутые края лепестков.

Техника выполнения выпуклых лепестков довольно своеобразна. На внутреннюю поверхность чаши накладывалась металлическая пластина. Она имела параллельные боковые стороны, нижний край ее был выпуклый, овальный, а с верхней стороны в ней был сделан сложный вырез. Путем проковки на внешней поверхности чаши получался выпуклый оттиск пластины, причем верхний ее вырез формировал края соседних лепестков. Новый оттиск с помощью пластины делался рядом с ранее сделанным [8, табл. 25. С. 60—61].

Применение пластинчатой матрицы требовало предварительного расчета, так как при случайном выборе ее размеров она могла не уложиться на поверхности чаши заданное количество раз. В орнаментации лепестков, пространств между ними и поддонов чаш, выполненных подобной техникой, есть различия. Однако они образуют в целом ранний тип танских чаш [6, с. 169]. Поздний тип характеризуется уменьшением сердцевидных медальонов, расположением их в несколько рядов друг над другом, применением матриц более простых форм (очевидно, они выполнялись в форме медальонов), менее глубоким оттиском [7, с. 58. № 57].

Чаша из чанъаньского клада, на которой медальоны располагаются в два ряда и притом в верхнем ряду теряют уже характерные сердцевидные очертания, приобретая (благодаря приострешениям сверху и снизу) луковичную форму, занимает промежуточное положение в данном типологическом ряду (См.: Вэньу. 1972. № 1. Рис. 34. С. 42). При этом она может быть датирована не позднее первой половины VIII в. Однако одна из чаш коллекции К. Кемпе [7, с. 51. № 45] указывает на существование иного пути типологических изменений. Эта глубокая и широкая чаша с плоским дном без поддона украшена снаружи по бокам сложным сплошным переплетающимся гравированным орнаментом. В нем преобладают геометрические растительные мотивы. Орнамент организован в несколько рядов сердцевидных и луковичеобразных медальонов, причем в медальонах нижних рядов с помощью позолоты подчеркнуты ленты с волнистым растрепанным краем, которые на чашах с рельефно выполненными лепестками изображают завернувшиеся края этих лепестков. На данной чаше, где обрамление медальонов имеет вид гравированных растительных стеблей, эти ленты теряют свой первоначальный смысл. Таким образом, для лотосовидных чаш намечается две линии типологического развития. Одна связана с увеличением количества рядов рельефных лепестков. Другая — с изображением этих лепестков гравировкой. При этом количество рядов гравированных лепестков-медальонов также возрастает.

Очень важными для типологических наблюдений над этим материалом представляются пластинки-матрицы, с помощью которых выполнялись рельефные медальоны. Форма удлиненных пластин с овальным узким концом полностью соответствует форме и размерам наконечников ремней (ср.: Каогу. 1978. № 2. С. 118), обойм пряжек и накладок наборных поясов, встречающихся в могилах знатных кочевников, обнаруженных севернее линии прохождения через Центральную Азию «шелкового пути» [3, табл. V—VI и др.]. Достаточно близки по форме к сердцевидным медальонам и некоторые разновидности поясных накладок [2, рис. 19, 22, 31, 34].

В связи с этими наблюдениями следует обратить внимание на комплексы предметов из драгоценных металлов, обнаруженные в курганах Копенского чаатаса в Хакасии. Пока для датировки этих комплексов привлекались данные художественной стилистики, сведения о топографии могильных комплексов, анализ политико-исторических ситуаций в азиатских степях во второй половине I тысячелетия н.э. В результате датировки колеблются в пределах

первой половины VII в. — середины IX в. [4, с. 54—58]. Не претендуя на исчерпывающий анализ комплекса и установление наиболее приемлемой даты, коснусь лишь вопроса орнаментации золотой тарелки из тайника № 2 [2, с. 35—38, 48, 43; табл. VI]. Обнаруженные вместе с нею бронзовые бляхи украшены такой же стилизованной растительной орнаментацией, как края и центр тарелки. Это указывает на то, что данная находка представляет собою единый комплекс, а не сборную коллекцию. Далее, на обнаруженных в этом комплексе золотых поясных бляшках имеется изображение двух уток с перевитыми шеями [2, с. 47, рис. 50], аналогичное гравировке на раннетанской туалетной коробочке, украшенной по кругу восемью сердцевидными медальонами [6, табл. 60, с. 106, 107]. На самой тарелке имеется лишь один ряд сердцевидных медальонов, что позволяет сближать ее с ранними образцами чаш в форме лотоса. Наконец, центральный круглый медальон на дне тарелки близок к чеканной орнаментации раннетанских туалетных коробочек [6, фиг. 80 с, d] и чаш. Но это типологическое сходство с танскими формами, бытовавшими до середины VIII в., можно рассматривать лишь как показатель типологической близости, а не полного хронологического соответствия. Ибо пока не доказано, что копенские находки восходят к тому же производственному центру, что и соответствующие танские. Не доказано и то, что эти предметы происходят из мастерской, связь которой с предприятиями, поставлявшими продукцию в танский Китай, не прекращалась. Ведь в случае обособления художественного центра древний стиль мог в ней законсервироваться и воспроизводиться лишь по традиции в позднее время.

Примечания

1. Даркевич В. П. Художественный металл Востока. III—XIII вв. М., 1976.
2. Евтюхова Л., Киселев С. Чаа-тас у села Копёны // Труды Государственного Исторического музея. М., 1940. Т. 11.
3. Ковалевская В. Б. Поясные наборы Евразии IV—IX вв. Пряжки. М., 1979.
4. Маршак Б. И. Согдийское серебро. М., 1971.
5. Маршак Б. И., Крикис Н. К. Чилекские чаши // Труды Государственного Эрмитажа, Л., 1969. Т. 10.
6. Gyllensvard B. Tang Gold and Silver. Goteborg, 1959.

7. Gyllensvard B. Chinese Gold, Silver and Porcelain : The Kempe Collection. New-York, 1971.

8. Jenyns R.S., Watson W. Arts de la Chine. Or, argent, bronzes des epoques tardives... Fribourg, 1963.

§ 3. Тюркский всадник из Копенского чаатаса

Вопрос о значении для этнокультурной истории тюрков изделий из драгоценных металлов и художественных произведений, обнаруживающихся в курганных погребальных памятниках тюркской военно-кочевой знати, представляет одну из важных проблем в истории этнических и этнокультурных образований Центральной Азии. Большинство могильников, относимых к тюркскому времени и даже содержащих определенные небольшие назывные тюркские надписи, что прямо свидетельствует об их связи с тюркским этносом, лишены богатого и художественного убранства. Рядовые вещи, обнаруживающиеся в этих могильниках, в погребальном уборе человека и коня, довольно стандартны. Это сосуды из глины, иногда остатки деревянных бытовых изделий, остатки металлических или костяных поясов и застежек, а в убранстве коня — части седла, уздечки, ремней управления и стремена. Все эти вещи могли быть выполнены в условиях относительно подвижного быта в небольших полудомашних кузнечных мастерских иногда даже работниками очень невысокого класса. То же относится и к костяному убранству, заменявшему во многих памятниках, отдаленных от источников металлического сырья и ремесленных центров, металлические изделия. Поэтому появление высокохудожественных ремесленных изделий, преимущественно из драгоценных металлов, оказывается показателем не просто специфики обряда погребения кочевой знати, но и каких-то крупных исторических событий, связанных с военной активностью тюрков, а тем самым, с крупными их политическими объединениями и свидетельствующих об успешных завоевательных походах, когда тюркские воины грабили завоеванных и получали с них дань. Само по себе появление во многих памятниках художественных изделий необычайно высокой ценности указывает на специфику представлений о собственности в тюркском обществе, на личностный характер форм обладания захваченными ценностями, оказавшихся нормой в тюркской общественной структуре. То, что в погребальных памятниках преобладают изделия, связанные с костюмом, снаряжением воина и украшениями

членов его семьи, а также украшения его собственного постоянного боевого коня (а значение коня в жизни каждого воина подчеркивает и то, что в наиболее ответственных и крупных текстах специально указываются имена боевых коней [1], принадлежавших данному военачальнику, данному герою), еще более тесно увязывает весь набор личных вещей и украшений с каждым конкретным членом тюркского военного сообщества. В пределах дружественной среды личные вещи, как явствует из погребального обряда, не подлежали наследованию и произвольной передаче, они оказывались в могиле собственника. Каким образом распределялись среди военачальников и дружинников личные вещи поверженных врагов, мы не можем установить не только по археологическим объектам, но и по сохранившимся письменным памятникам [2]. Хотя момент этот очень важен с точки зрения возможности выяснения происхождения тех или иных предметов в уникальных погребальных наборах. Затруднительно также выяснить вопрос о возможности меновой торговли, которая бы указывала на формирование постоянного сбыта среди тюркской знати изделий, по своему производственному происхождению восходящих к крупным центральноазиатским ремесленным центрам. Пока единственным, хотя и отчасти гипотетическим, решением вопроса о происхождении драгоценных тюркских индивидуальных погребальных наборов может являться вывод о приобретении их именно в условиях победоносной военной активности. Но такой вывод неизбежно связывается с идеей об эклектичном характере складывавшихся индивидуальных наборов изделий. Собственно, эклектика проявлялась в различиях таких изделий, как пояса, украшения сбруи и посуда индивидуального пользования. Каждый из этих компонентов мог иметь определенную внутреннюю самобытность, отличающую данную серию предметов, функционально однозначных, от серии предметов других функций. Практическое обоснование таких возможностей сборного характера индивидуальной собственности тюркского воина-военачальника подтверждается и тем, что в историко-политических текстах, относящихся к периоду расцвета тюркской раннесредневековой государственности, есть указания на проведение походов и военных действий в самых разных по отношению к основной тюркской территории направлениях, но в очень краткий период. Такой подход к проблеме заставляет оценивать каждую комплексную погребальную находку даже в случае одновременности ее захоронения как клада ценностей, имеющего различные исходные источники формирования. Конечно, искусство Центральной

Азии и Китая периода с VI по IX вв. имеет определенные традиционные закономерные основы. Находки представляют небольшой в функциональном отношении набор предметов. Их конструктивное сходство определялось принадлежностью единому цивилизационному пространству. Если до недавнего времени вопрос о центральноазиатском и, в частности тюркском, художественном ремесле мог решаться в силу недостатка материалов исключительно в связи с их хронологической позицией, то накопление этих материалов позволяет поставить вопрос о существовании на центральноазиатских пространствах курганов нескольких художественных школ.

Находка в тайнике № 1 кургана Копенского Чаатаса разрозненных фигурок из золотой фольги, составлявших, как это удалось выяснить автору раскопок С.В. Киселеву, определенную композицию в седельном убранстве [3], теперь, благодаря обнаружению в комплексе VII в. могильника Астана в Турфанском оазисе кусков шелковой ткани, украшенных композицией, аналогичной реконструированной [4], позволяет приблизиться к решению вопроса о существовании одной из таких художественных школ, и к тому же, уточнить как датировку копенских находок, так, отчасти, и положение оставившего их населения в пределах тюркского политического кочевого единства. Композиция на ткани включает всадника со сложным тюркским луком, готового выстрелить, обернувшись назад, во вставшего на дыбы разъяренного льва. Фигуру всадника окружают несколько птиц, небольшой фрагмент горного пейзажа, бегущий заяц, преследуемый собакой. Эта сцена в обнаруженной набойке повторяется, хотя и в сильно фрагментированном виде, трижды. Она сведена к наибольшему графическому лаконизму, очевидно, в соответствии с требованиями этого вида изобразительной техники, которая применялась для украшения тканых изделий.

В седельных же украшениях набор животных оказывается значительно шире: здесь и горный баран, лань, кабан, а также несколько видов кошачьих. С точки зрения реалистичности изображений они также различаются. В плоскостном рисунке набойки многие черты изображаемых животных оказываются менее правдоподобны и в них чувствуется стилизация. Прямое сопоставление этих сюжетов и поиск в них единого типологического развития неправомерно из-за использования различных художественных техник, обусловленных различием материала, в котором сюжет исполнен. К тому же наличие у копенских блях краевых отверстий для пришивания свидетельствует о возможности

сравнительно свободной компоновки из них соответствующих сюжетов. Однако единый замысел композиции подтверждается самим по себе соотношением двух ведущих ее фигур: всадника-стрелка и противостоящего ему разъяренного кошачьего хищника. В копенской бляхе этот хищник, скорее, приближается по своему виду к леопарду, тигру или пантере, быть может, близость с тигром подчеркнута рядами чеканных полос, которые вполне могли передавать полосатую шкуру хищника. В то же время в тканом изображении присутствуют черты, которые делают его как бы вторичным производным от первоначального реалистического сюжета. Так, не точно показано расположение уздечных ремней, а опущенные на шею лошади в изображении на бляхе поводья заменяются парой значков, напоминающих сложную тамгу. Быть может, изогнутая S-образная линия на морде лошади, выполненная в набойке, передает псалий, видимый на бляхе. Кроме того, изображение на бляхе показывает ногу всадника, протетую в стремя с округлой верхней частью, тогда как всадник на сюжете набойки, похоже, одет не в кожаные штаны, а в какие-то свободные шаровары и положение его согнутой ноги позволяет думать, что он скачет без стремян.

Иконография всадника на набойке в значительной мере сближается с сасанидскими сюжетами на ритуальных блюдах, восходящих ко времени IV в. Этот сюжет почти неизменно проходит до конца сасанидской эпохи, но в то же время поза вздыбленного хищника значительно больше напоминает образ, созданный на копенской пластине, с его раздвинутыми и поднятыми по бокам морды лапами, чем профильное каноническое сасанидское изображение. Украшения лошадиной сбруи в виде свисающих удлиненных, а не круглых блях, более типичных для сасанидских рельефов, указывает на сравнительно поздний возраст этих сбруйных украшений. В передаче туалета лошадиного хвоста многократно, очевидно, обвязанного лентами, нет выразительных указаний на хронологическую атрибуцию данного образа, в то же время различия в изображении ландшафта переданного в Копенах отдельной бляхой, выразительны как показатели специфичности художественных традиций, отраженных, с одной стороны, набойкой, где запечатлен типичный скудный сасанидский ландшафт, а с другой — на копенской бляхе с китайской традицией передачи горного стесненного рельефа, где на вершинах произрастают цветы, напоминающие одну из трактовок китайских изображений лотоса в торевтике. Характерен для тюркской кочевой среды тактический прием стрельбы из лука назад против

хода лошади, как бы «убегающего всадника», широко применявшийся тюркскими конниками в боях и заимствованный у них китайцами.

Такая синкретичность двух противостоящих традиций в отдельных самобытных изображениях указывает на встречу этих традиций в среде, достаточно отдаленной и независимой от областей их первоначального распространения. При этом можно подозревать, что изображения набойки принципиально ближе стоят к сасанидским художественным композициям, тогда как перевод такой композиции в набор свободно komponующихся блях позволил мастеру оторваться от жесткого схематизма первоначального композиционного оформления и приблизиться в каждой бляхе к конкретной специфике образов, подсказываемых центральноазиатской действительностью VI—VIII вв. В конце этого периода резко усиливаются связи центральноазиатского искусства с Китаем. На распространение продукции из Центральной Азии в пределы Китая указывает практически весь набор композиций и изображений, связанный с ритуально-пиршественной утварью. Но если большинство китайских находок, отраженных в сводках Б. Гюлленсвэрда, тяготеют к синхронному китайскому искусству как в разработке сюжетов, так и в соотношении самих форм ваз и кубков с классической китайской передачей цветка лотоса, что особенно ярко проявилось в чаше, найденной в составе клада, обнаруженного в Сиани (Чанъань) и относящегося к 19-му году правления танского императора Сюань-Цзуна (731 г.), то центральноазиатское искусство в копенских его репликах проявляет большую независимость от китайской традиции и обнаруживает отчетливое стремление к передаче сюжетов традиционными способами, восходящими к сасанидскому художественному миру, но с возвратом к новому осмыслению реальных объектов, служивших прототипами изображений. Недостаток находок на территориях, близких к трассам Великого шелкового пути, не позволяет ясно представить себе те центральноазиатские культурные центры, которые складывались и функционировали вдоль «шелкового пути». Отток художников-ремесленников с территории сасанидского Ирана, точнее, с территорий его прежнего политического господства, перешедших под власть арабского халифата, объясняется тем, что в мусульманской традиции не поощряется и не находит спроса анималистический, портретный стиль искусств, вообще изображение животных и человека.

Новая художественная традиция, формирующаяся в Центральной Азии, хотя и передает достаточно точно внешний вид тюрков, ландшафты, животный мир их страны, создается не тюрками, а все теми же персепольскими сасанидскими мастерами. Тюрки выступают в качестве потребителей их продукции, которую часто захватывают и присваивают в ходе завоевательных походов.

Примеров, когда чужое искусство служит нуждам среды, генетически с ним не связанной, в истории художественной культуры довольно много, но здесь достаточно назвать греческую и ирано-ахеменидскую продукцию, определившую характерные особенности скифского северопричерноморского искусства, искусства юэжжйских племен, распространившегося на рубеже нашей эры по степям Центральной и Средней Азии и дошедшего до северопричерноморских степей [5], а также искусство времени Второго тюркского каганата, тюркский характер которого не может быть подтвержден местной традицией. По сути своей это искусство является одной из ветвей художественного стиля, развивавшегося на территории Центральной Азии с середины 1 тысячелетия до н.э. По всей видимости, в течение всего этого периода малоизвестные нам центры художественной техники и культуры Центральной Азии не угасали окончательно, а лишь перемещались в пределах огромного цивилизационного пространства в прямой зависимости от политической ситуации региона и демографических изменений.

Примечания

1. В науке время движется обычно со своей независимой от бытового времени скоростью. В памятниках Второго каганата присутствуют упоминания о лошадях, на которых попеременно сражался Кюль-Тегин. Изначальная переводческая интерпретационная традиция признала их обозначения личными именами этих коней. Такая трактовка является обыденной и поныне. Однако О.А. Мудрак, консультировавший меня по этому вопросу, доказательно объяснил, что употребляемые по отношению к коням наименования обозначают те разряды, к которым их относили по рабочим и служебным качествам.

2. Можно в отношении этих предметов попытаться применить тот же принцип, который использовался при дележе охотничьей добычи у первобытных племен и сохранился в виде ритуального поведения, в частности в тюркской кочевой среде.

3. Евтюхова Л., Киселев С. Чаа-гас у села Копёны // Труды Государственного Исторического музея. М., 1940. Т. 11. С. 21—54, табл. 1—8.

4. Синьцзян чу ту вэньу. Пекин, 1975. С. 109, рис.154 (могильник Астана, 1972 г.)

5. Конечно, название «юэчжийское искусство» — это всего лишь дань историографической традиции, но под этим условным термином пока можно объединять те проявления художественной культуры, которые предшествуют по времени характерным формам гуннских культур (ср.: Древности эпохи великого переселения народов V—VIII веков. М., 1982) и тончайшей амальгамой сходства сближают огромный пласт евразийских степных памятников, которые еще С. В. Киселев (Древняя история Южной Сибири. М., 1951. С. 307—326), 393—484) объединял под условным названием «гунно-сарматское время». Исключая из этого определения Алтае-саянские древности скифской эпохи и время резкой гуннской экспансии, можно объединять в этот культурный пласт гигантские территории периферий античного мира и восточно-азиатской цивилизации, т. е. древности, приблизительно, с III в. до н.э. по IV в. н.э. Именно в этой подвижной этнической среде находятся истоки культур, сближающихся с находками в Артюховском, Курджипском курганах Северного Причерноморья, Керченскими склепами, Армазийскими древностями, комплексом кургана Иссык близ Алма-Ата, материалами из раскопок В. И. Сарияниди в афганском Тилля-тепе и «постскифскими» находками на севере излучины Хуанхэ.

Глава 7

ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОГЕОГРАФИИ В ТРУДАХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

§ 1. Путь саманидского посольства из Бухары в «столицу» Китая

«Первая записка Абу-Дулафа», середина X в.

Обнаружение в 20-х годах XX в. в одном из медресе г. Мешхеда сборника географических сочинений, содержащего, в частности, две записки арабского литератора Абу-Дулафа Мисара ибн-аль-Мухалхила аль-Йанбуи аль-Хазраджи [1], дает возможность вновь вернуться к углубленному изучению этих сочинений, представляющих огромный интерес для истории и географии средневековой Азии.

«Вторая записка Абу-Дулафа» тщательно и длительно изучалась В.Ф. Минорским, она была издана П.Г. Булгаковым и А.Б. Халидовым [2]. Данные ее признаны достоверными, вполне соответствующими общей картине историко-культурной жизни Ближнего Востока, известной по ряду других сочинений. Совершенно иную оценку получила «Первая записка» (М., лл.175а — 182б). Первоначально изданная по экскерптам из «Словаря» Ибн-Якута и «Космографии» аль-Казвини [3], она подверглась резкой критике профессора В.В. Григорьева [4], а затем Й. Маркварта [5] В 1939 г. А. фон Рор-Зауэр, ученик П. Кале, издал перевод «Первой записки», основанный на ее рукописном тексте,

вошедшем в «Мешхедский сборник», но с учетом всех разночтений, выявленных в прежних публикациях отрывков. Сводный критический арабский текст, на котором основывается этот перевод, к сожалению, опубликован не был. В приложенном к переводу исследовании многие моменты критики В. В. Григорьева были опровергнуты, но общий вывод остался неутешительным: либо записка была составлена по памяти, либо путешествия и вовсе не было, а «Записка» является компиляцией, составленной по каким-то неизвестным источникам, дополненным выдумками автора [6].

Однако еще в 1903 г. при обсуждении вопроса о достоверности сведений о Древней Руси и Восточной Европе в «Записке» старшего современника Абу-Дулафа — Ибн-Фадлана была издана небольшая по объему, но крайне важная для развития российского востоковедения статья академика барона В.Р. Розена, одного из основоположников русской школы исследователей Ближнего и Среднего Востока, «Пролегомена к новому изданию Ибн-Фадлана» [7]. Академик Розен предлагает принципиально изменить подход к средневековым источникам, учитывая при их анализе не только самый текст, но и ту обстановку, в которой он воспринимался современниками, а также наследниками той специфической культурной традиции, где он был создан и распространялся, не забывая при этом о научном потенциале и житейском опыте как автора, так и его оппонентов. В критическом отношении к данным Абу-Дулафа так же, как к сообщениям Салламы ибн-Тарджумана [8], Тамима ибн-Бахра [9], того же Ибн-Фадлана, решающую роль сыграло то, что для их ученых современников и их последователей (также и для позднейших издателей рукописей и специалистов смежных исторических дисциплин) сообщения указанных путешественников не укладывались в «общепризнанную научную и культурно-историческую традицию». Их проще было отвергнуть или усомниться в их достоверности, чем затевать из-за них серьезный критический анализ или даже полный пересмотр этой традиции.

Записка Абу-Дулафа как исторический, историко-культурный, этнокультурный, историко-географический источник требует полного и бережного издания, основанного на том разумном, сдержанном и строго научном подходе, к которому призвал своих ученых коллег патриарх нашего востоковедения академик барон В.Р. Розен. Здесь же я ограничиваюсь лишь отдельными вопросами затронутой темы: рассмотрением тех данных, которые непосредственно (прямо или косвенно) сообщают-

ся в тексте Абу-Дулафа о тех территориях и народах, что стали ему известны на пути из Бухары в Китай.

Начну с адресата послания и структуры описания народов и местностей. Братья, к которым обращается Абу-Дулаф, не были жителями Хоросана. Мнение о его возможном сотрудничестве с Джейхани, к сожалению, не подтверждается. Подход к предмету изучения и круг связанных с ним интересов у Абу-Дулафа ближе всего соответствуют установкам мировоззренческой школы «Чистых братьев» [10]. Порядок подачи материала: название народа/местности (здесь возможны почти произвольные ошибки, связанные со спецификой письменности, особенно ее диакритикой, и почерков переписчиков; пища; внешний вид, одежды, занятия туземцев; законы; религия и религиозные сооружения; то, что привлекает особый интерес (собственно то, что называют «чудесами» в арабо-персидской географической литературе). Абу-Дулаф не упоминает о караване, с которым двигалось посольство, и караванной дороге, что, возможно, связано с нестандартным маршрутом и затрудняет исчисление длины дневных переходов [11].

Маршрут от Бухары и через Мавераннахр по исламским городам не описан и длительность его не указана. О близком к исламу племени [12] *харках* [13] сообщается лишь, что по их владениям двигались месяц пути и что питались там ячменем и пшеницей. Следующее племя *тахтах*, выступающее вместе с предыдущим в набегах на отдаленных язычников, питается ячменем, просом, различными видами мяса и овощей. Территорию его посольство пересекло за 20 дней. (Как всегда при таком сообщении невозможно установить, был ли маршрут прямым, какова общая конфигурация этой страны, в каком направлении — по длине, ширине, периметру прошел через нее Абу-Дулаф. Надо сказать, что чаще всего *случайные путешественники* этого не знают, в итоге, принимая на веру их сообщения, касается ли это Геродота, Константина Багрянородного и других — специалисты не учитывают эти возможные особенности пути.) Это племя платит дань предыдущему, путь через их земли безопасен. Следующее племя — *наджа*. Протяженность безопасного маршрута — месяц. Они платят дань *тахтах*, правитель которых из китайского рода. Это замечание особенно ценно: видимо, в составе посольства были представлены члены китайской миссии, побывавшей у Насра-ибн-Ахмеда (правил в 914—943 гг.), осведомленные об установлении условных вассальных отношений данного «племени» с Китаем, что давало правителям право на заявление о родственных связях с китайскими властями (что обычно входило в пункт-

ты установления вассальных отношений и подкреплялось жеманством правителя на какой-нибудь придворной женщине — «китайской принцессе»). В данном случае, когда у племени существовали реальные вассальные отношения с соседями, вряд ли сами его представители были так уж заинтересованы в признании родства с китайцами. В стране много винограда, фиг, черного кизила. Идолы изготовляют из огнеупорного дерева.

Далее племя *баджнак* [14]. Известно, что печенег носили длинные бороды и усы. Можно думать, что Абу-Дулаф столкнулся с ними на юго-восточной окраине их «племенной» территории. Они граничили со славянами на западе [15]. Их миграция на запад, по Константину Багрянородному, происходила менее чем на полстолетия раньше этого путешествия, но часть печенегов явно осталась на востоке, в местах более раннего расселения. Эту независимую страну прошли за 12 дней (необходимо чуть больше данных!).

Затем 40 дней идут по земле племени *джикил* [16]. Здесь впервые описаны кочевники, носившие одежды исключительно из шерсти и меха, которые едят ячмень, горох, баранину, но не верблюдов (можно предполагать, что поблизости проходит северная граница естественного распространения последних). Сообщается о почитании звезд; о мирном нраве населения, которое грабят все окружающие; об отличающихся от исламских правилах брака, о ячменном вине; домах из дерева и костей; о добыче безоара; о рогах *хуту* («они происходят от быка, который там имеется»). Это еще одно, после Ибн-Фадлана (М., лл. 208б—209а), прямое упоминание **лося**. Таким образом, становится ясно, что путники приблизились к южной границе азиатской (сибирской) **лесостепи** [17]. Упоминание длительной засухи указывает, что в этой области они находились **летом**. Далее они проходят через земли племени *баградж*. Это суровые, усатые почитатели Али-ибн-Аби-Талиба. В пищу они употребляют мясо баранов и просо. Они носят только одежды из войлока. Целый месяц ехали в страхе, оплатив проезд десятой частью имущества. Люди искусны в конном и пешем бою на копьях. Далее лежит земля племени *т-б-т* (знаки для обозначения гласных не проставлены: прочтение как Тибет — необоснованно). Сорок дней спокойно ехали по земледельческому краю. Едят там пшеницу, ячмень, стручковые, мясо, рыбу, овощи, виноград (это опять же достаточно четкое указание на **конец лета**, как время проезда), фрукты. Одежды у жителей **тканные**. Есть там город с постройками из камыша, в нем храм из промасленных бычьих кож. Идолы там из рога **лося** (?). Население горо-

да смешанное: мусульмане, евреи, христиане, маги, индийцы. Они платят дань баграджам. По земле племени *кимак* ехали 35 дней. У них дома из шкур. Едят они горох и другие стручковые, мясо только самцов овец и коз, виноград. В реках встречаются золотые самородки и алмазы (?). Имеют камень, вызывающий дождь [18]. Нет царя и храмов. Очевиден ландшафт предгорий.

Показав на предыдущих данных реальный объем информации и, отчасти, степень информативности сообщений, далее перечислю в авторской последовательности посещенные «племена». К предшествующим данным добавлю, что они имеют характер либо одномоментных наблюдений, иногда дополненных сведениями, полученными от спутников или местного населения (скорее всего в караван-сараях, где останавливались на ночлег, а, возможно, и на дневки). Они лишь отчасти дополнены выводами, основанными на личном опыте, на собственных «научных» познаниях (драгоценные камни, безоар, хуту), либо условной генерализацией впечатлений от каждой отдельной страны. Так, вряд ли столь резкими были смены продуктов питания при переходе из одной области в другую, а также изменения условий быта: неизбежны были и размытые пограничья. Конечно, все указанные замечания имеют смысл лишь в случае реальной поездки, но общая картина смены ландшафтов и быта выглядит настолько правдоподобно, что в целом сообщение вызывает доверие. Здесь необходимо добавить еще один момент: когда Абу-Дулаф после пребывания в столице Китая отправляется морем в Индокитай, его сообщения становятся более развернутыми и в большей степени напоминают «Вторую записку» по своей информативности и обычной для него лаконичной толковости. Может быть, поездка в составе посольства стесняла автора, лишая его временного простора, необходимого для самостоятельных наблюдений, поэтому он и фиксировал лишь то, что узнавал в караван-сараях от относительно надежных собеседников.

Итак, далее следует поездка через территории племен: *гузз* (месяц безопасного пути); *тогузгуз* (20 дней страха); *хиргиз* (месяц безопасной поездки); *харлух* (25 дней езды) [19]; воинственное племя *хутлух* (10 дней); *китан* (*хитайян* у Рор-Зауэра, 20 дней). Наконец, области (*балад*) *Б-хи* и *Кулиб* (Бахи и Кулайб у Рор-Зауэра) (соответственно: 20 дней и месяц пути). Так пришли к Стоянке Ворот (Макама аль-Баб), где начинается земля Китая и где турки должны испрашивать разрешение на въезд в нее. Характерно, что на эту достоверную деталь обратили внимание лишь в связи с сообщением посольства Шахруха (ближе к сере-

дине XVв.), когда были уже найдены подлинные «караванные пропуска». Далее 3 дня пути с почетным конвоем, остановка на 3 дня и затем однодневный переход к столичному городу С-нд-б-л [20]. Далее описаны сам город, его ворота, арыки для водоснабжения и т. д.

Примечания

1. Мешхедская рукопись : фотокопия // Архив ИВ РАН. № Ф-В 202. Л. 175а — 196б. Приношу глубокую благодарность сотрудникам фотоархива ЛО ИВ РАН, а также д.и.н. Е.И. Кычанову, к.и.н. Р.М. Асланову за помощь в получении фотокопии «Первой записки Абу-Дулафа».

2. Вторая записка Абу Дулафа / издание текста, перевод П. Г. Булгакова и А. Б. Халидова. М., 1960 ; Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента X—XI вв. М., 1963.

3. Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература // Избранные сочинения. М. ; Л., 1957. Т. 4. С. 186—189.

4. Григорьев В. В. Об арабском путешественнике Абу Долефе // Журнал Министерства народного просвещения. 1872. Т. 163. № 9. С. 1—45.

5. Marquart J. Osteuropäische und Ostasiatische Streifzüge. Lpz., 1903. S. 74—95.

6. Rohr-Sauer A. von. Des Abu Dulaf Bericht über seine Reise nach Turkestan, China und Indien, neu übersetzt und untersucht // Bonner Orientalische Studien. Stuttgart, 1939. Bd. 29. S. 5—72. Ср. мнение И. Ю. Крачковского (Вторая записка Абу Дулафа в географическом словаре Якута // Избранные сочинения. 1955. Т. 1. С. 280—283).

7. Записки Восточного Отделения Русского Археологического Общества. Т. 15. С. 39—73.

8. Goeje M. J. de. De Muur van Gog en Magog. Amsterdam, 1888. 38 s.

9. Minorsky V.F. Tamim ibn Bahr's Journey to the Uyghurs // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 1948. Vol. 12. P. 2. P. 275—305.

10. Послания чистых братьев // Арабские источники VII—X вв. по истории и этнографии Африки южнее Сахары. М. ; Л., 1960. С. 150—151.

11. Эти данные составляют лишь часть текста «Первой записки» в М. — это лл. 175а — начало 179б. Далее следует описание путешествия в Индо-Китай.

12. В. В. Григорьев (Указ. соч. С. 4) переводит *кабиле* — как «народ», что не согласуется с древнеарабской традицией (Полосин Вл. В. Поэты племени *абс*. М., 1995. С. 383). Рассматривать здесь вопрос о понимании термина «племя» у арабов я не имею возможности. Отмечу только, что из описа-

ний явствует, что каждый раз имеется в виду большое автаркичное демографическое единство, характеристика которого складывается из полного набора специфических этнокультурных признаков.

13. Собственно, племя названо персидским словом «шатры» (Marquart J. Указ. соч. С. 75 ; Миллер Б. В. Персидско-русский словарь. М., 1953. С. 191)

14. Общепризнано, что это «печенеги» русских летописей. Я вижу основания для того, чтобы вновь вернуться к этимологии этого названия, которая абсолютно неудовлетворительна, но считаю, что техническую языковую работу необходимо проделать не здесь. Пока же остановлюсь на возможной реконструкции: Веѣ оѧ — «пять стрел», т. е., в конце концов, «пять родовых подразделений», что имеет, в частности, прямую параллель в «народе десяти стрел» или иначе «десяти родовых подразделений» (оп оѧ) [Древнетюркский словарь (Л., 1969), 367а], известном уже по надписи Тоньюкука. Такого рода популяционные образования обычно могли делиться и в их наименования включались новые числовые обозначения. Однако при этом нельзя забывать, что письменная языковая среда VII—XI вв. была неоднородна и в пределах восточной традиции включала три основных языка: арабский, персидский, тюркский. Четкая фиксированная и сохраненная от этого времени нарративная традиция имеется только у первых двух, что способствовало распространению фонетического разнообразия по мере того как менее понятной становилась и даже забывалась изначальная семантика топонимов, гидронимов, этнонимов, употреблявшихся в письменных источниках в течение многих столетий. В связи с этим, чтобы иметь возможность ориентироваться в географическом и историческом пространстве, летописцы-историки средневековья старались сохранять за группами населения, живущими в малодоступных для посещения современниками местах, названия прежних обитателей этих мест, вследствие чего в византийской историографии появились, в частности, «тавроскифы». Стремление привести все тексты к терминологической однозначности превращало многие этнонимы в некие абстракции, условные обозначения. Часто ономастика и само описание народов и местностей, которые они населяли, создавало на древней этнической и этнополитической карте сложную **анахронистическую картину**, что ясно прослеживается по китайским династийным историям (в частности, периода III—VI вв. н.э.), когда летописец был вынужден, не имея свежих реальных сведений об отдаленных народах, воспроизводить почти механически касающиеся их тексты из более древних описаний.

15. Бартольд В. В. Извлечение из сочинения Гардизи «Зайн ал-ахбар» // Сочинения. Т. 8. С. 35 (текст), 56—57 (перевод).

16. Там же. С. 61, 62

17. См: Биология и использование лося. М., 1986. С. 22, 23.

18. Бартольд В. В. Указ. соч. С. 26, 42

19. С этим племенем связан был большой караванный центр (Мешхедская рукопись : фотокопия // Архив ИВ РАН. № Ф-В 202. Л. 1776), где, по

всей видимости, постоянно могли находиться приезжие купцы. И занятия жителей сосредоточивались на их обслуживании.

20. Кожин П. М. Арабский путешественник Абу Дулаф об этнокультурных контактах в Центральной Азии в середине X в. // 6-й конгресс этнографов и антропологов России : тезисы. СПб., 2005. С. 214. Синьдабэйлу — полагаю, так можно «объяснить» арабское наименование «столицы Китая», т. е. «новый Большой северный военный округ государства Цзинь».

§ 2. Этноисторические наблюдения Ибн-Фадлана (922 г.). «Носорог» у Ибн-Фадлана

Интересы арабо-персидских компиляторов и ученых-гуманитариев были крайне разнообразны и широки. Арабский мир, мир ислама, с первых лет своего становления стремился к всестороннему познанию окружающих стран. Очень многие из этих стран в течение первоначальных арабских завоеваний оказались под властью арабского халифата, но и окружающие его страны также включались в сферу пристального внимания арабских политиков, географов, историков и гуманитариев. Познанию окружающего мира способствовали грандиозные по своей протяженности торговые пути, которые распространялись из халифата на большую часть евразийского пространства. С момента, когда завершается активная завоевательная политика халифата, поддержанию отношений с внешним миром всемерно начинает содействовать установление и укрепление дипломатических отношений с соседними странами. Естественно, это способствовало усилению практической значимости гуманитарных познаний (история, политическая и этнокультурная география и пр.) в среде арабо-персидских ученых [1].

Среди многочисленных «загадок» и «чудес», привлекших внимание арабов, в новой для них географической среде оказалась одна, как бы не очень значительная деталь, а именно, редкая разновидность рогового сырья, связавшаяся в сознании арабов с неким загадочным существом «хуту». Это очень ценный с точки зрения ближневосточного мира поделочный материал, который получали из целого ряда местностей севера и востока. Хотя материал этот был явно неоднороден по своим свойствам, в сознании средневековых специалистов он связался с неким столь же загадочным существом — носорогом (коркодан) [2]. Этот зверь не был азиатским носорогом индийского или юговосточноазиатского происхождения. «Носорожьи рога» являлись важной частью

регулярного арабского импорта. Хотя заведомо известно, что часть этих рогов принадлежали ископаемым животным — мамонтам, арабы в большей степени связывали эти рога с каким-то одним определенным животным, которое в общем контаминировало в своих качествах особенности реального носорога и каких-то четвероногих копытных зверей, известных им преимущественно по описаниям иноземцев. Одно из немногих четких описаний этого неведомого зверя принадлежит арабскому путешественнику Ибн-Фадлану, который в 921—922 гг. совершил большое путешествие в Восточную Европу. Сведение об этом путешествии сохранились в довольно просторном документе — «Записка (рисала) Ибн-Фадлана». К сожалению, единственный сравнительно полный список этой записки обрывается на полуслове [3]. Но даже тот текст, который сохранен в Мешхедской рукописи, обнаруженной Зеки Валиди Тоганом, видным мусульманским ученым, в одном из Мешхедских медресе, и фрагменты текста, зафиксированные в широко распространенном в арабском мире географическом словаре Ибн-Якута (первая четверть XIII в.), дают очень красочную картину жизни хазар, русов и многих степных племен восточноевропейского пространства. Среди данных, сообщаемых Ибн-Фадланом (Мешхедская рукопись, лл. 208б—209а), большой интерес представляет отрывок, особо посвященный этому неведомому зверю, — носорогу. Вот это описание:

«...Джавашир. Река небольшой ширины — ширина ее пять локтей. Вода ее до пупа и местами до ключицы, а наибольшая ее глубина в рост [человека]. Вокруг нее деревья, причем многие из этих деревьев — хаданги (белые тополя) и другие. Недалеко от нее обширная степь, о которой рассказывают, что в ней (есть) животное по величине меньшее чем верблюд, но больше быка. Голова его, — голова верблюда, а хвост его — хвост быка, тело его — тело мула, копыта его подобны копытам быка. У него посреди головы один толстый круглый рог; по мере того, как он приближается к концу, он становится все тоньше, пока не сделается подобным наконечнику копья. Из них (рогов) некоторые имеют в длину от пяти локтей до трех локтей, больше или меньше этого. Оно пасется на листьях деревьев, имеющих превосходную зелень. Когда оно увидит всадника, то направляется к нему и если под ним рысак, то он спасается от него с трудом, а если оно его догонит, то оно хватает его своим рогом со спины его лошади, потом подбрасывает его в воздух и подхватывает его своим рогом и не перестает (действовать) таким образом, пока не убьет его. А лошади оно ничем не вредит, никоим образом и

никаким способом, и они (жители) ищут его в степях и лесах, чтобы убить его. Это (происходит) так, что влезает на высокие деревья, между которыми оно находится. Для этого собираются несколько стрелков с отравленными стрелами и, когда оно оказывается между ними, то стреляют в него, пока не изранят его и не убьют. И действительно я видел у царя три больших блюда, похожих на йеменский оникс, о которых он мне сообщил, что они сделаны из основания рога этого животного. Некоторые из жителей страны утверждают, что это носорог» [4].

Итак, Ибн-Фадлан описывает это животное, как быка, отличающегося огромными разветвленными, мощными рогами, достигающими более чем метрового размаха. Подробный анализ деталей сообщения позволяет видеть в этом звере восточноевропейского лося. Кроме особенностей хабитуса животного [5] об этом свидетельствует и зона его распространения — район восточноевропейских лиственных, южных хвойных лесов и лесостепья, где он кормится листвой березы и других древесных пород с сочной листвой, древесной корой, почками [6] и где будто бы Ибн-Фадлан наблюдал его в естественной среде обитания [7]. Существенны и замечания об отношении лося к охотнику. В связи с этим вспоминаются очень непосредственные впечатления князя Владимира Мономаха, включенные в его записки (Лаврентьевская летопись, под 1096 годом), предназначенные, как представляется, в качестве пособия для летописца Сильвестра, готовившего редакцию Летописного свода 1116 г.: «Тура мя два метала на розъх и с конемъ, олень мя одинъ боль, а 2 лоси — одинъ ногами топталъ, а другый рогома боль» [8]. Интересный момент связан с упоминанием о блюдах, сделанных из **основания** рога лося. Такие блюда известны уже в савроматских памятниках [9]. Это плоское неглубокое блюдо [10]. Часто в различных описаниях сообщения о рогах *хуту* проходят без каких-либо уточнений. Авторам было вполне достаточно упомянуть эту привычную статью импорта в Халифат. Важное дополнение вносит Абу-Дулаф, который сообщает, что у племени *джикил* имеются «лбы хуту» (М., л.176а). Они «происходят от быка, который там имеется» [11].

Когда Ибн-Фадлан приводит также данные об охоте на это животное, которая осуществлялась местными лучниками, для безопасности размещавшимися на крупных деревьях, окружавших место их встречи со зверем, то в описании этой охоты отчетливо проявляется специфика арабских естественно-исторических знаний [12]. Энциклопедическая культура арабского халифата в VIII—XI вв. заметно сблизилась с письменной культурой антич-

ного мира. Арабы прекрасно знали в переводах, а многие ученые, по-видимому, могли читать и в подлиннике, античные литературные памятники. Так, Марвази [13] в описаниях тюрок сохранил трактовку Гиппократов, касающуюся связи соматических особенностей скифов с их пристрастием к конной езде [14]. Все, что приписывалось в античности скифам, в Средние века в арabo-персидской географии и этноистории переносится на тюрок. Впрочем, и новое время не устояло перед этой тенденцией: переводя монолог скифа-лучника, входившего в состав полицейских охранных отрядов Афин [15], переводчик комедии Аристофана «Женщины на празднике фесмофорий» коверкает его греческую речь так, что в ней можно распознать «тюркский акцент» [16]. А вот что пишет Геродот об охоте на неведомого грекам зверя: «...Живут охотой, занимаясь ею следующим образом: охотник сидит в засаде, взобравшись на дерево, а деревья там в изобилии растут по всей стране. У каждого наготове конь, обученный ложиться на брюхо, с тем чтобы стать ниже, и собака. Как только охотник увидит с дерева зверя, он, выстрелив из лука и сев на коня, устремляется в погоню, а собака следует за ним» (Herod., IV, 22,2) [17].

Этот сюжет выглядит не вполне законченным (хотя явно перекликается с арабскими сообщениями об охоте на лося). Это объясняется тем, что в поясе евразийских степей греки и их информаторы часто также сталкивались с фауной, которая была совершенно неизвестна в их странах. К числу не известных Западу животных принадлежали слон, гиппопотам, носорог, жираф [18], лось, отчасти, верблюды. Так, скифо-сарматские бляхи, на которых изображена борьба верблюдов [19], в значительной мере повлияли на создание изобразительной традиции, связанной со сценами терзания копытных какими-то достаточно нереалистичными полуживотными-полуптицами, грифами, грифонами, широко представленными в древнегреческой торовитике, имевшей очень широкий оборот в скифских землях Северного Причерноморья. Рассматривая сюжеты восточных блях, изображающих борьбу зверей, западный художник воспринимал узкую морду верблюда как клюв, и так из реального животного с помощью фантастических ухищрений получались такие мифологические образы, как грифоны и грифы, восходящие к изображению кусающихся верблюдов. Конечно, немаловажную роль в создании синкретических образов крылатых животных играли традиционные для месопотамского искусства древности различного рода фантастические звери, порожденные фантазией месопотам-

ских художников шумерийских, древневавилонских царств и ассирийской империи.

Можно полагать, что выявление специфических сюжетов с участием животных определенных видов будет способствовать локализации территорий сложения древнейших сюжетов и композиций скифского искусства, а также и уточнению связей арабских торговцев с внутренними районами Евразийского материка. Однако в принципиальном плане эта проблематика имеет значительно больший смысл, так как показывает реальные взаимосвязи contemporaneous авторов, авторских коллективов (их открытия и заблуждения), создававших в течение многих веков описание природы ойкумены, а также — географии и этнографии народов мира в их сложной динамике, когда реальность могла превращаться в миф, а миф вдруг оказывался реальностью.

Примечания

1. Время, к которому относится путешествие Ибн-Фадлана, — это период расцвета культуры халифата, его успехов во всех областях культуры, науки, политики, когда исламский мир продолжал медленно расширяться за счет сравнительно «мирных побед» (в Испании, Иране, Северной Африке, в странах Восточной Европы, в Средней Азии). В Европе их отмечает большое число крупных кладов восточного монетного серебра, которое часто указывает на размещение в этих местах крупных торговообменных центров, куда протягивались регулярные маршруты восточных торговцев с их товарами и где могли принимать восточных «гостей» — купцов, обменивать им долговые, залоговые, кредитные обязательства и расписки на ходовую монету тех владений, где были расположены клады. Ср.: Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1966.

2. По средневековым «Космографиям», «Бестиариям» и ранним европейским сочинениям по естественной истории (в частности, многотомному посмертному изданию трудов патриция из Болоньи Улисса Альдрованди (1522—1607) о животном мире, его разнообразии, географии, видах животных) видно насколько в них переплелись реальные сведения о животном мире с различного рода мифическими contemporaneous описаниями. Особенно это коснулось таких крупных видов, как слоны, жирафы, носороги (заведомо мифические «единороги» и китайские «цилины»), гиппопотамы и копытные (северный олень, лось). Слон, который не может сам подняться, если упадет, из-за того, что в ногах у него нет «связок и сочленений», перемешался в сведениях Юлия Цезаря с **лосем** (*De Bello gallica*, VI, 27). И в то же время он очень внятно описывает рога **подлинного лося**: «здесь (в Герцинском лесу — П.К.) водится бык с видом оленя; у него на лбу между ушами

выдается один рог, более высокий и прямой, чем у известных нам рогатых животных. В своей верхней части он широко разветвляется наподобие ладони и ветвей» (Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / пер. М. М. Покровского. Изд. 2-е. М., 1962. С. 96—97. Правда, некоторые специалисты считают, что §§ 25—28 не принадлежат Ю. Цезарю (С. 366, прим. 12)). Бенвенуто Челлини описывает как он исполнил скульптурную голову «единорога»: «я взял частью облик конской головы, а частью оленьей, обогатив прекрасного рода шерстью и другими приятностями», а на лбу голова эта была украшена «подлинным рогом единорога», подаренным французскому королю Франциску I (Жизнь Бенвенуто Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции. М., 1958. С. 150). Сложность истории описаний этих животных связана с тем, что они формировались вследствие неоднократной устной и письменной передачи сведений от одного специалиста к другому. Причем часто эти сведения не подкреплялись никакими наблюдениями на природе. История изучения животного мира и, в частности, создания различного рода «Космографий» и «Бестиариев» увлекательнейший предмет исследований, совмещающий в себе литературные, этнографические и естественно-исторические описания и зарисовки. Остается сожалеть, что А. Г. Юрченко ограничился в современной обработке этих данных лишь констатационным подходом, не пожелав в своих публикациях этих сюжетов (Юрченко А. Г. Александрийский «Физиолог»: зоологическая мистерия. СПб., 2001, С. 279—296; Тигрица и грифон: сакральные символы животного мира. СПб., 2002. С. 277—285), прибегнуть к тем изощренным исследовательским приемам, которые он использовал, пытаясь навязать русскоязычному читателю мысль о создании в эпоху монгольских завоеваний «Романа о Чингиз-хане» (Христианский мир и «великая монгольская империя: материалы францисканской миссии 1245 года. СПб., 2002). В истории зверей это могло быть более правдоподобно, эффективно и убедительно. В Китае Танского времени существует самостоятельная традиция описания чужой фауны. См.: Шефер Э. Золотые персики Самарканда: книга о чужеземных диковинах в империи Тан. М., 1981. С. 118—120, 319—320.

В цинскую эпоху иезуиты знакомят Китай с европейским бестиарием: Iannaccone I. Lo zoo dei gesuiti: la trasmissione scientifica del bestiario rinascimentale europeo alla Cina dei Qing in Kunyu tushu di Ferdinand Verbiest (1674) // Studi in onore di Lionello Lanciotti. Napoli, 1996. Vol. II. P. 739—764. На С. 755 изображение единорога, близкое по внешности к лошади, с которой его сравнивают и по размерам.

3. Рукопись, обнаруженная в Мешхедском медресе (Мешхедская рукопись: фотокопия // Архив ИВ РАН. № Ф-В 202. Далее — Мш.) в 1922 г., через **тысячу лет** после путешествия Ибн-Фадлана, содержит второй том полного текста книги Ибн-аль-Факиха Хамадани, приложением к которому даны две записки Абу-Дулафа (о путешествии в Китай и описание Азербайджана и Северо-Западного Ирана) и записка Ибн-Фадлана, к сожалению, оборванная на описании Хазарии (Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу...

С. 172—174, 21—30. В приложении дана фотокопия листов Мешхедской рукописи (1956—2126), содержащих текст «записки Ибн Фадлана»).

4. Мешхедская рукопись : фотокопия // Архив ИВ РАН. № Ф-В 202. Л. 2086—209а. При переводе этого текста я старался учесть всю работу, проделанную А. П. Ковалевским (Путешествие ибн-Фадлана. С. 76—77, прим. 718—734 ; Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956. С. 139—140, прим. 613—628. Это самостоятельные сюжеты 84—86, в соответствии с тематической разбивкой текста, выполненной А. П. Ковалевским) по комментированию и уточнению текста перевода.

5. По Аристотелю (О частях животных. М., 1937. С. 95, прим. 78; с. 194) — это единорог. Расхождение в трактовке сравнений, упоминание вместо головы барашка в издании 1956 г. головы верблюда зависит от диакритики оригинала, которая в этой рукописи, как впрочем и во многих, подобных ей, — не полна.

6. См.: Биология и использование лося. М., 1986. С. 61—70. Здесь в библиографии указано значительное число предшествующих работ Л. М. Баскина по той же тематике и ряд других принципиально значимых работ. Однако, необходимо к этому списку добавить работы С. В. Кирикова, на которые обратил мое внимание академик В. П. Алексеев: Кириков С. В. Изменения животного мира в природных зонах СССР : степная зона и лесостепь. М., 1959. На с. 83, рис. 10 дана карта, показывающая южную границу распространения лося ; Его же. Промысловые животные, природная среда и человек. М., 1966. Лось по указателю: с. 346.

7. Наблюдения Ибн-Фадлана, определенно, были сделаны не только в окрестностях указанного им *Болгара*, но также и в других пунктах территории, причем в разных природных зонах. Слишком, точны, подробны и, часто уникальны, приводимые им детали описаний, чтобы видеть в них простые заимствования из чужих текстов. Насколько подробно он описывает хвойный лес, или ту же реку, с которой связаны данные о лосе. Можно смело говорить о том, что в отношении текста записки незавершенным остался сам процесс комментирования (думаю, что реконструкция названий речной сети, предложенная А.П. Ковалевским, во многом произвольна, также, как и его многочисленные чувашские экскурсы, объяснимые как следствие увлеченности яркой работой академика Н. Я. Марра «Чуваши-яфетиды на Волге» (Чебоксары, 1926), но не удовлетворительные ни с лингвистических, ни с исторических позиций).

8. Орлов А. С. Владимир Мономах. М. ; Л., 1946. С. 148. Глагол «бости, боду», от которого будто бы возводится форма использованная Мономахом, к сожалению, недостаточно проанализирован и приведенные примеры не смотрятся убедительно (Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975. Вып.1. С. 302). Фактическое объединение двух корней **bosti* и **bodakъ* — **boďьpъ* (jь) предлагает словарь академика О. Н. Трубачева (Этимологический словарь славянских языков : праславянский лексический фонд. М., 1975. Вып. 2. С. 222—223, 152—157), но объяснять это явление он не берется.

9. Смирнов К. Ф. Савроматы... С. 340, рис. 46, *10*, рис. 33 (вклейка). В памятниках раннежелезного века на Енисее в последние десятилетия неоднократно встречены в могилах овалы и прямоугольные со скругленными углами блюда-столики на четырех очень низких ножках. Эта очевидная деталь кочевого быта заставляет вспомнить описание Ибн-Фадланом приема у «царя», где, по повелению «царя», на пиру каждому гостю приносили особый отдельный маленький столик (Мешхедская рукопись... Л. 204а).

10. Первоначально А. П. Ковалевский писал о сходстве этих мисок с йеменскими раковинами определенного вида, что было вполне правдоподобно, но затем опять же, благодаря свободе, предоставляемой непроставленной диакритикой, решил облегчить свою задачу, заменив раковины «йеменским ониксом» и заявив, что речь идет не о блюдах, а о глубоких мисках. Но если «блюдам» соответствует сама конфигурация основания рога лося и они, фактически, встречаются, пусть и в более древнее время, то «мисок» нет в наличности, да и практически их нельзя изготовить из цельного куска рога.

11. Rohr-Sauer A. von. Des Abu Dulaf Bericht über seine Reise nach Turkestan, China und Indien, neu übersetzt und untersucht // Bonner Orientalische Studien. Band 29. Stuttgart, 1939. S. 5—72. Перевод по: Мешхедская рукопись... Л. 175а — 182б. Разночтения представлены по всем известным переводчику рукописям, но сводный критический текст остался неопубликованным. Данные о путешественнике и рукописи: Кожин П. М. Арабский путешественник Абу-Дулаф об этнокультурных контактах в Центральной Азии в середине X века // 6-й конгресс этнографов и антропологов России : тезисы докладов. СПб., 2005. С. 214.

12. Говоря о естественно-исторических знаниях арабов, нельзя не обратить внимания на две разновидности крупных деревьев, упоминаемых Ибн-Фадланом. Если по поводу дерева *халандж*, кажется уже со времени работ К. Фрэна (Fraehn С. М. Ibn-Foslan's und anderer Araber Berichte über die Russen älteren Zeit. SPb., 1823) нет особых сомнений, что это береза, то по поводу дерева *хаданг* нет, несмотря на обширные пояснения А. П. Ковалевского, уверенности в том, что это именно «белый тополь». (Так Б. Н. Заходер в своей реконструкции «Каспийского свода» (Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., 1967. Т. 2. С. 39) предпочитает оставить название дерева *хаданк* вообще без перевода). Впрочем — это общая беда многих лингвистических исследований: слишком большая самоуверенность в отождествлении древней и современной растительности определенных областей и оперирование названиями, взятыми из лексики народов, которые гипотетически связывали в определенном периоде прошлого с определенной местностью, с целью обоснования изначальной гипотезы. Так возникают даже цепочки взаимосвязанных гипотез.

13. Sharaf al-Zamān Tāhir Marwazī on China, the Turks and India : arabic text (circa A.D. 1120) with english translation by V. Minorsky. L., 1942. P. *23, *24, 36—38.

14. Гиппократ. О воздухах, водах и местностях // Избранные книги. М., 1994. С. 297—301.

15. Кожин П. М. Значение материальной культуры для диагностики процессов доисторического этногенеза // Историческая динамика расовой и этнической дифференциации населения Азии. М., 1987. С. 96, 105, 106, прим. 91—93.

16. Аристофан. Женщины на празднике фесмофорий // Комедии. М., 1954. Т. 2. С. 229—238.

17. Перевод И. А. Шишовой в издании: Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М., 1982. С. 108—109.

18. Жираф очень подробно и точно описан в романе Гелиодора (Гелиодор. Эфиопика. Минск, 1993. С. 237) под названием *камелеопард*, но в дальнейшем его образ пополнил репертуар описаний «чудесных животных» различными специфическими деталями, вроде ног без суставов и т. п.

19. См.: Смирнов К.Ф. Савроматы : ранняя история и культура сарматов. М., 1964. С. 321, рис. 28, 6, рис. 80, 13, 14.

§ 3. 0 переправе каравана в тексте записки Ахмеда ибн-Фадлана (922 г.)

Среди арабских сочинений, посвященных различного рода торговым путям и поездкам для установления дипломатических отношений, существует относительно большое количество работ IX—X вв., содержащих непосредственные сведения о самом ходе путешествия и некоторые подробности о посещаемых путешественником странах. Эти сведения очень часто не укладываются в канонические формы, использовавшиеся арабо-персидскими авторами при описании населенных местностей Земли, ее географических поясов и различного рода дорог, по которым происходили постоянные сообщения между халифатом и странами, находившимися от него в разной степени отдаленности. Последнее уточнение очень важно потому, что в разные периоды истории возможности контактов с отдаленными странами резко затруднялись из-за различного рода длительных миграций больших групп населения, прекращения дипломатических отношений с теми или иными соседними государствами, ухудшения состояния дорог и многими другими факторами. В таких ситуациях маршруты путешествий могли сильно варьировать и вносить диссонанс в строго нормативные описания арабо-персидских дорожников, таких, как, скажем, «Книга Ибн-Хордадеха».

В конце концов для книжников, проживавших в столичных центрах, любое такое отклонение, особенно в тех случаях, когда автора записки уже нельзя было опросить лично, становилось причиной для сомнений в правильности, точности и адекватности соответствующей информации. Хотя большинство арабских ученых-энциклопедистов избирали манеру обширного цитирования предшествующих сообщений, критика источников, получившая в арабском мире достаточно большое значение благодаря исследованиям хадисов, т. е. изустных изречений пророка Мухамеда, обычно в синтетических сочинениях присутствовала. И поэтому большинство отклонений, проявлявшихся в географических трудах, так или иначе получали критические отзывы, правда, с поправкой на то, что «аллах лучше знает».

В записке Ибн-Фадлана, во всяком случае в варианте, который сохранился до наших дней, в основном сохранено живое впечатление путешествия. Он писал, не используя тот огромный багаж научных, географических и прочих знаний, которыми обладал, а исходил исключительно из своих личных наблюдений и рассказов и известий, сообщавшихся ему его информаторами в ходе самого путешествия. Следствием такого подхода стали большие противоречия, отделяющие личные впечатления от обычной обобщенной картины «научного» географического сочинения. А наличие этих противоречий вызвало недоверие в средневековом ближневосточном научном сообществе. Хотя, конечно, учитывая эмоциональность арабских путешественников, преувеличения в их известиях могли быть даже значительные. Но в целом картина, представляемая ими, была достаточно правдоподобной. И вряд ли прав Йозеф Маркварт, когда писал, что другой путешественник, младший современник Ибн-Фадлана, Абу-Дулаф, «дурочил своей запиской» [1] несколько поколений ученых.

Необходимо считаться и с тем, что первоначальные тексты географических сочинений, а точнее, отчетов о дальних поездках, практически до нас не дошли в их полном и первоначальном виде. Степень их аутентичности, вследствие того, что они переходили из рук одного компилятора в руки другого, от одного переписчика к другому, оказывалась, во всяком случае, в отношении нынешнего «полного текста», весьма невысока. И прав был барон В.Р. Розен, предлагая вновь вернуться к критическому пересмотру и оценке авторских текстов. К сожалению, даже находка Мешхедской рукописи и содержащиеся в ней тексты Тамима Ибн Бахра, Абу-Дулафа, ибн-Фадлана, да и сам текст

одной из частей сочинения Ибн аль-Факиха, который составляет основу этой рукописи, до сих пор исследованы весьма относительно.

В тексте «Записки» Ибн-Фадлана исследователи выделили десятки самостоятельных сюжетов, каждый из которых в разной степени мог быть подвергнут переработке (А.П. Ковалевский в своем издании «Записки» в 1956 г. даже пересчитал эти сюжеты). Один из наиболее живых и выглядящих аутентичными текстов связан с обычной на караванной дороге ситуацией, а именно, форсированием значительного водного препятствия. Вот как Ибн-Фадлан описывает эту переправу: «...Прибыли к реке Багнади. Люди вытащили свои дорожные мешки, а они из кож верблюдов, и расстелили их. Взяли самок тюркских верблюдов, так как они круглы, и поместили их в пустоту, так что они (мешки) растянулись. Потом они наложили их одеждой и вещами, и, когда они наполнились, то в каждый дорожный мешок села группа (человек) пять, шесть, четыре, — меньше или больше. Они берут в руки шесты из хаданга и кладут их как весла, непрерывно гребя. А вода несет их (дорожные мешки) и они вертятся, пока мы не переправимся. Что же касается лошадей и верблюдов, то на них кричат, и они переправляются вплавь. Необходимо, прежде чем переправится какая-либо часть каравана, переправить отряд бойцов, имеющих оружие, чтобы они служили авангардом для людей. Это из боязни башкир, что они нападут врасплох на людей, когда они будут переправляться. Итак, мы переправились... описанным нами способом. Потом после этого переправились через реку называемую Джам, также в дорожных мешках» [2]. В сюжете № 35, говоря об особенно большой реке, через которую совершали переправу на «дорожных мешках», Ибн-Фадлан видел такой мешок, который перевернулся, и те, кто был в нем, потонули, а также погибло много верблюдов и лошадей.

Ровным счетом такую же переправу в верховьях бассейна Хуанхэ описывает К.Ш. Менон — индийский посол в Китайскую республику, совершавший путешествие к месту службы в 1946 г. И он тоже пишет, что люди тонут. Таким образом, «Записка» Ибн-Фадлана показывает очень многие стороны реальной жизни каких-то сегментов арабского мира, которые были актуальны в период первой половины X в. К сожалению, чем больше вчитываешься в текст Записки и отдельные ее сюжеты и фрагменты, тем больше усиливается впечатление, что ее редакция в период от момента написания и до переписки в составе

Мешхедского сборника в отдельных частях была очень значительна. И поэтому вопрос о новом издании этого текста и многих других, касающихся реалий арабской жизни, остается неизменно актуальным.

Примечания

1. Marquart J. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Lpz, 1903. S. 74.
2. Путешествие Ибн-Фадлана... С. 65 ; Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана... С. 130, сюжет 33.

Глава 8

ЭПОС И НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ЭТНОЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Проблема определения этнической и языковой принадлежности древних наскальных текстов, каковыми всегда являются изображения на выделяющихся элементах природного ландшафта (скалах, горных проходах, обособленных валунах и т. п.), вызывает неизменный интерес исследователей. Конечно, в регионах с устойчиво-монолитной языковой средой этнолингвистическая принадлежность наскальных сюжетов представляется достаточно определенной. Так, нет оснований сомневаться в тюркской этнической принадлежности таких раннесредневековых сюжетов, как моление перед богиней Умай, шаманские камлания [1]. Но для многих подобных изображений возможна трактовка не только в пределах тюркской, но и монгольской, а шире — тюрко-монгольской языковой и этнической среды. В этом плане весьма привлекательными и перспективными оказались изображения, обнаруженные в Центральной Туве на горе Сыын-Чюрек экспедицией С.И. Вайнштейна в 1974 г. [2]. Особенно выразительно выглядит наскальный сюжет, выполненный на очень ограниченном участке скальной поверхности, но представляющий собою определенно единую сцену-композицию. Мы видим здесь двух идущих вплотную друг за другом лошадей, с головами, украшенными султанами. На них сидят всадники, чьи шлемы украшены аналогичными султанами [3]. Всадник на передней лошади явно ведет за собою, придерживая за уздечку, второго коня. На нем перед всадником на крупе лошади сидит

женская фигура в длинном платье и, по-видимому, с прической из кос. Всадник придерживает ее за плечи.

Украшение в форме султанов в сочетании с однотипными шлемами может наводить на мысль не только о военной сцене (хотя конечно, однотипный характер снаряжения прямо указывает, что общество, характеризующее данной сценой, обладало устойчивым и хорошо разработанным военным потенциалом), но и о сцене, имеющей какой-то определенный ритуальный характер. С.И. Вайнштейн назвал данную сцену «Похищение “невесты”», с чем вполне можно согласиться. Однако вряд ли стоит заключать само определение «невеста» в кавычки, учитывая и торжественный характер сцены, и соционормативное значение, придававшееся в монголоязычной среде брачным церемониям, сопровождавшимися похищением девушек-невест. В монгольском историко-эпическом тексте *Юань-чао би-ши* (Тайная история монголов) [4] и в созданной под его влиянием летописи Лубсан Данзана «Алтан тобчи» [5], посвященных истории возвышения Чингисхана, вопросам заключения браков придается немаловажное значение. Причем сами описания «брачных церемоний», несмотря на их, казалось бы, уникальный характер [6], имеют жесткую нормативную основу. Особенно любопытна в этом плане история захвата отцом Чингисхана Есугай-Баатуром будущей матери Темуджина Оэлун-Учжин [7].

Сейчас, когда окончательно выработана транскрипция монгольского текста ЮЧБШ [8] и уточнены переводы источника в целом [9], многие проблемы государственного правления, харизмы правителя, племенных структур, генеалогий и т. п., даже получили монографическую разработку. Настало время вернуться к конкретному изучению особенностей внутреннего монгольского родоплеменного быта.

Проблема брачных церемоний в этом плане является достаточно выигрышным этнографическим показателем. До сих пор при описании древних свадебных обычаев монголов активно подчеркивалось использование при свадебной церемонии крытых повозок, в частности, запряженных верблюдами [10]. Однако при описании пути следования «свадебного поезда» после похищения [11] появляется впечатление, что и Оэлун-Учжин также едет на лошади, которую ведет за поводья Есугай-Баатур, младший брат его, Даритай-Отчигин, едет непосредственно рядом с невестой, а другой, средний брат, Некун-Тайчжи, едет впереди. В целом такое расположение очень точно соответствует графическому сюжету из Сыын-Чюрека. Хотя сначала исследователем

этот сюжет был определен как тюркский. Я полагаю, что выявление его возможных специфических тюркско-монгольских корней не окажется в противоречии с первоначальной предварительной авторской трактовкой. Характерно, что появление жениха с двумя друзьями в юрте невесты зафиксировано и в современной традиционной монгольской этнографии [12].

Композиция из Сыын-Чюрека не поддается узкому датированию, хотя средневековый характер изображения сомнений не вызывает. В то же время в отношении литературного источника также имеются две возможные трактовки: либо в нем передан реальный конкретный индивидуальный факт «свадебного похищения», либо же под этот факт подведена уже сложившаяся эпико-социальная сюжетная норма. В первом случае можно было бы ожидать, что именно индивидуальное событие, переведенное в эпическую традицию, послужило основой для формирования соционормативного стереотипа, чего, конечно, нельзя исключить, учитывая значимость фигуры Чингисхана и его ближайшего окружения для всего монголоязычного этносоциального, политического и духовного мира. Однако вторую возможность, т. е. распространение на индивидуальное событие — брачную церемонию отца Чингисхана — определенного сюжетного этнического норматива, нельзя недооценивать. Тем более, что *Юань-чао би-ши* в ряде мест подчеркивает использование этнических эпических стереотипов. Самые характерные в этом плане примеры обнаруживаются в §§ 78 и 260 текста, где в одних и тех же формулировках описывается проявление гнева по отношению к сыновьям матери Чингисхана Оэлун-Учжин, а в другом случае — самого Чингисхана по отношению к сыновьям. В обоих случаях представители старшего поколения использовали «древние слова», чтобы подчеркнуть значимость своих укоров и их прямое отношение к общественным нормам. Пожалуй, больше всего по сути это напоминает обращение к «старым словесам» древнерусского певца Бояна, отраженное в тексте «Слова о полку Игореве»! [13]

Возвращаясь к наскальной композиции Сыын-Чюрека, можно констатировать, что самый факт ее появления, даже при отсутствии прямых явных параллелей, указывает на большое значение, которое придавалось в раннесредневековой и средневековой тюрко-монгольской и монгольской культурах брачным обрядам умыкания, что свидетельствует, скорее всего, о достаточно сложной, чересполосной системе расселения тюрко-монгольских родо-племенных групп в ранний период (этому не про-

тиворечат и отдельные высказывания и эпизоды в историко-мемориальных надписях Тоньюкука [14] и тюркских правителей Второго Каганата Бильгя-кагана и Кюль-Тегина).

Примечания

1. Кызласов Л. Р. О шаманизме древнейших тюрков // Советская археология. 1990. № 3. С. 261—264.

2. Вайнштейн С. И. Картинная галерея Сын-Чюрека // Природа. 1975. № 5. С. 9—14.

3. Появление специальных конструкций для укрепления султана на лбу лошади, похоже, связано с началом второго тысячелетия н.э. Ср.: Король Г. Г. Семантика уникального декора предметов конской упряжи XI—XIII вв. из Северо-восточного Причерноморья // Этнографическое обозрение. 2005. № 6. С. 140—156.

4. Юань-чао би-ши : Секретная история монголов / текст, издание и предисловие Б. И. Панкратова. М., 1962. Т. 1.

5. Лубсан Данзан. Алтан тобчи : Золотое сказание / пер. Н. П. Шастиной. М., 1973.

6. Юань-чао би-ши : Секретная история монголов / текст, изд. и предисл. Б. И. Панкратова. М., 1962. Т. 1. §§ 9, 54—56, 101, 102, 110.

7. Там же. §§ 54—56.

8. Таубе М. К реконструкции и переводам *Mongqol-un niuča tobčan* на европейские языки // *Mongolica* : к 750-летию «Сокровенного сказания». М., 1993. С. 40—53. Библиогр.: с. 50—53.

9. Козин С. А. Сокровенное сказание. М. ; Л., 1941. Т.1 ; Pelliot P. *Histoire secrète des Mongols*. Paris, 1949. Переведены первые шесть разделов текста ; Cleaves F. M. *The Secret History of the Mongols...* L., 1982. Vol. 1. (Ф. Кливз следует той теоретической установке переводчиков, которая подразумевает, что перевод древнего источника должен быть выполнен возможно более архаизированным языком. Таким образом, его восприятие нашими современниками получает преимущество перед **смысловым содержанием источника**. Когда его писали, то не подразумевали, что его смысл должен быть затуманен нарочитой архаизацией. А если и прибегали к такому литературному приему, то особо отмечали его применение: для историков прошлого язык, который они применяли, был **нормативным языком общения**, а «изысканным переводчикам» почему-то кажется, что его надо в каком-то искусственном стиле коверкать, нарочито затемняя смысл и изложение древних сообщений) ; Racheviltz I. de *Index to the Secret History of the Mongols*. Bloomington, 1972 ; Зограф И. Т. «Юань-чао би-ши» и пекинский диалект юаньской эпохи // *Mongolica...* С. 256—293.

10. Юань-чао би-ши : Секретная история монголов / текст, изд. и пре-
дисл. Б. И. Панкратова. М., 1962. Т. 1. § 64, 54, 55.

11. Там же. § 56.

12. Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры
монголов. М., 1988. С. 127, 128.

13. § 78: «Вскрывала она, разъясняла (распарывала) старые слова» (Цит.
по: Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. Сокровенное сказание монго-
лов. Рязань, 2009. С. 302) ; § 260: «Чингисхан ...повелел Чжочию с Чаадаем и
Огодаем явиться и приняться их отчитывать. Он приводил им древние изрече-
ния и толковал старину» Цит. по: Там же. С. 433). Таким образом в тексте
подчеркивается и **сила самих древних слов, и значение связанных с ними идей.**
Думаю, что здесь указан правильный путь к трактовке «старых словес» «Слова
о полку Игореве»: эти слова (и, прежде всего, их смысл) подкрепляют силу
традиции и ее значение как законодательного норматива. Здесь подчеркива-
ние архаизма выражений, усиливает действенность и «справедливость» дав-
ней традиции. Собственно в этом же плане развиваются идеи Т. Д. Скрынни-
ковой (Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М., 1997). С. В. Дмитриев
(К вопросу о Каракоруме // 39-я научная конференция «Общество и государ-
ство в Китае», 2009. С. 76—100) вполне закономерно расширил значение го-
сударственных исторических традиций, перенес их с **личностного уровня на
историко-геополитический.**

Послесловие

Я отказался от развернутого заключения, так как работа моя, в принципе, еще не закончена. Здесь подведен частичный итог проблеме формирования государственной власти в пределах единого физико-географического и культурно-хозяйственного региона, а также формирования системы единых материально-духовных традиций, способствующих преобладанию центростремительных социально-экономических и историко-политических сил над центробежными. Рассмотрена также одна из ветвей этнокультурных и историко-политических контактов, связывающих особый земледельческий культурно-хозяйственный и политический мир традиционного Китая с западными и северозападными (по отношению к нему) регионами Евразии, а также некоторые последствия этих контактов, приводивших к широчайшему кругу взаимообогащающих культурных достижений.

«Дорога миграций», проходящая через западные провинции современного Китая, — это широкий коридор, обеспечивавший постоянный приток нового населения в страну и постоянный импортно-экспортный оборот с Западом, не была единственным путем, связывавшим Китай с Западом: были и северные степные пути, и таежно-лесные тропы. Все эти пути проходили в очень сложной популяционной среде. Западная дорога, обычно упоминаемая под условным названием «шелковый путь», хотя и сформировалась достаточно поздно, если следовать выводам О. Альмгрена [1], но в антропологическом отношении отражающая очень многообразную популяцию, в основном связана с населением, относящимся к двум языковым семьям — индоевропейской и тюрко-монгольской [2]. Тогда как северный регион расширяет языковое разнообразие за счет тибето-бирманских, тунгусо-маньчжурских и других языков. А этническое, этнокультурное, антропологическое своеобразие здесь, при, казалось бы, неоспоримом господстве монголоидных типов, в историческое время поражает

своим многообразием. Исследователи пока что выработали определенный взгляд лишь на население, причисляемое к «гуннам». Все же остальное до возникновения ранних государств, таких, как Бохай, Тюркские, Уйгурские каганаты, Киданьская, Чжурчженьская, Тангутская империи и пр., — это очень сложная, часто сознательно запутанная еще в Средневековье, этно-языковая и культурная среда. Именно здесь, как я уже говорил в начале работы, комментаторские традиции переплетаются еще с разновременными исследовательскими экскурсами. И только полный пересмотр, по единой программе [3], всего письменного наследия, сохраненного в регионе, позволит этот клубок распутать. Немаловажную роль в этом может сыграть археологический материал.

Примечания

1. B. Almgren. Geographical Aspects of Silk Road // Bulletin / Museum of Far Eastern Antiquity. Stockholm. 1962. N 34. P. 93—106.

2. Дыбо А. В. Лингвистические контакты ранних тюрков : лексический фонд : пратюркский период. М., 2007 ; Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. М., 1992 ; Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschte der Ost-Türken (T'u-küe). Wiesbaden, 1958. Buch 1—2. (Недавно предложена новая транскрипция этого имени — Туй-укук; см.: Жолдасбеков М., Сарткожулы К. Атлас орхонских памятников. Астана — Культегин, 2006. С. 317—323. Благодарю чл.-кор. РАН А. В. Дыбо за предоставленную мне возможность изучить это редкое издание.)

3. Методическое значение в этом плане представляют работы: Кычанов Е. И. Монголы в VI — первой половине XII вв. // Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980. С. 136—148 ; Воробьев М. В. Маньчжурия и Восточная Внутренняя Монголия с древнейших времен до IX в. включительно. Владивосток, 1994 ; Рычков Ю. Г. Антропология и генетика изолированных популяций : (древние изоляты Памира). М., 1969.

Экскурс 1

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН АФАНАСЬЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Набор признаков — показателей, выражающих специфику афанасьевской культуры, определился со времени раскопок на могильнике Афанасьева Гора у с. Батени [1]: обширные грунтовые ямы, иногда с несколькими захоронениями, где погребенные лежали скорченно на боку или на спине; определенные виды керамики, почти исключительно выполненной в круглодонно-остродонной традиции; мелкие металлические изделия; украшения, в частности раковины из Аральского моря, определившие **направление связей** (или **исходную территорию**, с которой могло быть связано **происхождение**) культуры. Могилы окружали круглые ограды из многоярусной плитчатой кладки. Редкие плоскодонные сосуды, предположительно, характеризовали поздний этап культуры [2]. Антропологически, по погребальному обряду, керамике, некоторым категориям инвентаря, афанасьевская культура имеет определенное сходство с «ямно-катакомбными» памятниками юга Восточной Европы [3]. Обнаружение аналогичных минусинским афанасьевских памятников на Алтае, практически, не потребовало никаких переоценок культуры, тем более, что памятники, вошедшие в «минусинскую», точнее «батеневскую», периодизационно-хронологическую шкалу С.А. Теплоухова в большинстве своем были выявлены и вне пределов Красноярского края (андроновская, карасукская, тюркская, а позже также — таштыкская). Даже разрыв ареала, существовавший (и сохраняющийся поныне) между алтайскими и минусинскими афанасьевцами не привлек особого внимания исследователей к вопросу о характере соотношения этих двух, разделенно обитавших групп древнего населения: это результат срав-

нительно малого количества исследованных памятников и большого формального сходства культуры в обеих группах.

Таким образом, для афанасьевской культуры, как и для большинства евразийских культур эпохи энеолита и бронзы, не была четко определена территория и не была всесторонне рассмотрена проблема локальных вариантов. Различия между «алтайскими» и «минусинскими» афанасьевцами остаются условными, фиксированными лишь на уровне практических наблюдений и соображений, с чем связаны две общие тенденции: нечеткость хронологических подразделений (как частность, — отсутствие представления, хотя бы чисто гипотетического, об изначальном **центре происхождения** культуры, обязательное наличие которого подсказывается самим сходством материальной культуры, обрядности и антропологического типа); отсутствие четких оснований для **генетической типологии** [4] материального производства, а, как следствие, — повышение **историко-культурного** значения радиоуглеродных дат и статистических обобщений, перевод их из числа чисто **технических средств обработки материала** в разряд **объективно-доказательных приемов исследования**, логически обосновывающих **культурологические выводы** любой степени сложности и значимости. И это при том, что на пути такого подхода по-прежнему стоит недостаточная теоретическая (да и практическая) проработка проблем о соотношении выборки с неизвестной (для нее даже не предлагается никаких прогнозных значений, а единственный **используемый подход** к поиску этих предполагаемых значений — это опыты палеодемографических предположений, в свою очередь, опирающихся на неразработанные и необоснованные методики) генеральной совокупностью (даже большое сходство алтайских и минусинских памятников вовсе не является доказательством того, что они, будучи территориально разделены, сохраняли между собою связь, хотя бы на уровне некой **историко-культурной общности**. По мере увеличения объема полевого археологического материала алтайская ветвь культуры проявляет все больше своеобразия, так что нельзя исключить, что принципиальное сходство культуры в обоих ареалах является следствием очень медленного процесса культурных изменений в разреженной демографической среде и лишь свидетельством **историко-культурной памяти о преждебывшей, но уже утраченной общности**. Полагаю, не трудно обосновать необычайное многообразие выводов, следующих из вышеуказанных посылок). Следует напомнить, что данное понятие-представление — **«историко-культурная общность»** (если не

рассматривать ее на уровне этнографических исследований современных традиционных культур, как это делали М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров [5], разработавшие и внедрившие эту проблематику в этноисторические работы) оказалось в археологических исследованиях чем-то вроде **символа**, позволяющего априори, без соответствующего материального и исследовательского обоснования, принимать все сходные и подобные культуры, объединенные им, в качестве **однородной этноязыковой среды, сохраняющей значительный уровень** (один ли это уровень или многоуровневая иерархическая система — вообще в специальной литературе речь пока не заходила) **единства**. Почему-то специалисты до сих пор не пришли к согласованному выводу о том, что такой подход сам по себе требует доказательств и в общетеоретическом плане и в каждом конкретном случае исследования поликультурной среды со сходно-аналогичными материальными показателями.

В отношении к афанасьевской культуре эти замечания становятся все более актуальными вследствие находок керамических изделий, сходных с афанасьевской продукцией в Монголии, Синьцзяне (АНР) [6] и Казахстане [7]. С последней находкой связана попытка обосновать генетические отношения ямной культуры Урала и афанасьевской культуры и представить афанасьевскую культуру как производную от «ямной культурно-исторической общности». Исходя из географического положения памятника и общетеоретических соображений, такой вывод мог бы быть приемлемым. Однако ему противоречит характер материала: каменные ящики, стойко выработанные производные формы керамических сосудов, малое количество красной краски в могилах, если только придавать этому показателю датирующее значение [8]. Вероятно, последний показатель при детальном анализе теснее свяжется с горнорудной деятельностью как афанасьевского, так и ямного населения. Продолжая уже предложенные вариации в оценках данного памятника, в нем можно видеть либо позднее проявление развития в Центральном Казахстане какой-то ранее мигрировавшей через эту территорию и частично задержавшейся на ней кочевой группы (далеко не непосредственно связанной с ямной культурой), либо следствие миграции сюда **поздней** афанасьевской группы.

Наследием «стадиальной концепции» и идеи резких скачкообразных качественных изменений при развитии культур прошлого оказались выводы о жесткой синхронной смене не только социально-экономических формаций и их этапов, но и археоло-

гических культур. Отсюда при фиксации любых культурных перемен отдается предпочтение установлению их хронологической последовательности, а не возможности взаимовлияния синхронных культур (хотя этнологическая практика и некоторые принципы отдельных научных школ и направлений сосредоточили внимание именно на последнем подходе [9]). Наиболее показательны в этом отношении вопросы о появлении плоскодонных форм «афанасьевской керамики» [10], которой ни технологически, ни традиционно плоское дно не свойственно. В то же время появление плоского дна в керамических традициях определенных западносибирских культур, вероятно, даже предшествует оформлению самого афанасьевского керамического комплекса и гипотеза Я.А. Шера [11] о возможности постоянного сосуществования окуневской и афанасьевской культур представляется весьма продуктивной. Однако до сих пор появление в афанасьевских памятниках плоскодонных сосудов трактуется исключительно как показатель позднего возраста этих памятников [12]. Длительная связь окуневского и афанасьевского населения подтверждается общей для обеих культур керамической формой. Это — вазочки-курильницы «катакомбного типа» [13]. Причем именно окуневские образцы сохраняют наибольшее сходство с **прототипическими** катакомбными формами [14]. Много общего у всех «сибирских курильниц» (терминология Э.Б. Вадецкой) с катакомбными обнаруживается в орнаментации. Это, в частности, помимо простого горизонтального «елочного орнамента», горизонтальных и наклонных строчек вертикальных оттисков короткого штампа (у «окуневцев» — гладкого), обтекающих сосудов, орнаменты из ритмично повторяющихся в пределах горизонтальной зоны полукружий, вписанных по несколько штук одно в другое. Орнамент на лепной керамике обычно подчеркивает структурные особенности профиля сосудов и способ их лепки. Для афанасьевской керамики типичен кольцевой налеп (т. е. возведение сосуда «этажами» — термин А. Винтера и Р. Хампе [15]), когда верхнее кольцо налепливается на нижележащее после обработки верхнего края этого последнего, что обеспечивало более плотное скрепление соединяемых колец. Термин «лоскутно-кольцевой налеп» попросту избыточен и предназначен лишь для неоправданного сближения приемов кругового и ручного гончарства. (Конечно, в широких местах тулова сосуда очередную ленту не налепливали сразу в виде кольца, а прилепливали отдельными длинными пластинами, о чем свидетельствует наличие на стенках вертикальных швов, соответствующих ширине

лент.) Спирально жгутовой налеп, применявшийся при изготовлении окуневской посуды ведет к использованию в орнаментации большого разнообразия спирально-наклонных узоров и целых композиций (сама структура сосудов и их орнаментов указывает на возможность воздействия на керамические изделия деревянных прототипов. О том же напоминает применение при выполнении прямых и криволинейных орнаментов использование техники «отступающей лопаточки» [16]). Смешение приемов орнаментации (наклонные тяжи, горизонтальные или вертикальные зоны) на окуневских и афанасьевских сосудах также очевидно свидетельствует о длительном взаимообмене традиционными орнаментальными принципами. Малый объем афанасьевских коллективов мог вынуждать население к активным контактам (брачным, адопционным) с соседями. Наличие в окуневских оградках погребений в ямах (без каменных ящиков из тонких плит и часто перекрытых плитами), даже при отсутствии керамики в таких могилах, по-видимому, указывает на проникновение афанасьевцев в окуневские коллективы.

Вопрос о времени и направлениях внедрения афанасьевского населения в Минусинские степи и на Алтай приходится оставлять пока открытым (существенно, что в обоих ареалах они преобладали в южных их частях, хотя на Алтае, благодаря большим раскопкам в бассейне Катуня, это не так ярко заметно). Затухание культуры в обоих ареалах не было, очевидно, одновременным и одномоментным. Похоже, что в некоторых районах Алтая афанасьевская культура сменяется сразу ранней скифо-сибирской.

Примечания

1. Теплоухов С. В. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края // *Материалы по этнографии*. Т. 4. Вып. 2. Л., 1929. С. 41—62.

2. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М, 1951. С. 43, 59, 100.

3. «Ямно-катакомбные памятники» — этот термин становится все более правомочным. По мере того, как растет число исследованных памятников, в них все чаще выявляются черты и особенности, указывающие на смешение этих культур их длительное постоянное взаимодействие, что подразумевает их сосуществование на значительных территориях.

4. Кожин П. М. Этнокультурные контакты... С. 59—63.

5. Ср. в качестве итоговой разработки: Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Расы, народы, культуры.

6. Синьцзян гудай миньцзу вэньу : [Культура древних народностей Синьцзяна]. Пекин, 1985. № 73—75. С. 4.

7. Евдокимов В. Г., Ломан В. В. Раскопки ямного кургана в Карагандинской области// Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. Караганда, 1989. С. 34—46.

8. Ср.: Владимиров В. Н., Степанова Н. Ф. Исследование афанасьевского погребального обряда методом автоматической классификации // Археология Горного Алтая. Барнаул, 1994. С. 6.

9. См: Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М., 1978. С. 261—263, 292—298. Конечно, теоретическое и методологическое значение этой работы значительно снизилось, после того как наши специалисты перестали апеллировать к марксизму как к безупречному средству для разрешения всех общественно-политических, экономических, научных и философских проблем, но систематизированные отсылки к конкретным работам и идеям выдающихся ученых, с которыми автор знакомился по их оригинальным сочинениям, а не по энциклопедическим статьям, и уж тем более не по наслышке, — полагаю, сохранили свою непреходящую ценность.

10. Здесь при дефиците материала смешались воедино две проблемы: появление **уплощенного дна** как одно из направлений эволюции круглодонной афанасьевской керамики и появление в афанасьевских могилах стойко плоскодонных керамических форм, восходящих к другим культурным традициям.

11. Шер Я. А. О соотношении между афанасьевской и окуневской культурами // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул, 1991. С. 53—55. См. также расширенную библиографию по проблемам афанасьевской и окуневской культур, оценки их взаимодействия и истории в работе академика РАН В. И. Молодина (благодарю автора за предоставленную информацию): V. I. Molodin. Bronzezeit im Berg-Altai // Eurasia antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens. Band 7. Mainz, 2001. S. 1—53.

12. Слабость и неубедительность аргументации здесь совершенно очевидна. Ведь даже такое явление, как регулярное появление окуневских комплексов, причем чаще всего детских, в качестве впускных в афанасьевских могильниках в условиях **культурной чересполосицы, сосуществования разных и неродственных культур на одной территории**, может означать, что одна из культур (в данном случае **афанасьевская**) уступает свои территориальные, владельческие права другой культуре — окуневской. Она же, по причине нарастающей хозяйственно-экономической, политической и этнокультурной слабости, допускает переход «своих женщин» в общество другой культуры, где их потомство, теряя связь со своими «афанасьевскими предками», оказывается полностью приобщено к социальному, материальному и правовому полю тех коллективов, в которые «по условиям брака» вступили их матери. Обыденность таких ситуаций в древности подтверждается, в частности, таким сюжетом, как похищение сабинянок, описанное Титом Ливием (Liv. I, 9, 6 — I, 13, 7).

13. Вадецкая Э. Б. Сибирские курьльницы // Краткие сообщения Института археологии. Л., 1986. Вып. 185. С. 50—59.
14. Кожин П. М. Относительная хронология погребений в могильнике Окунев улус // Советская археология. 1971. № 3. С. 36, 37, прим. 25 ; Его же. О древних орнаментальных системах Евразии // Этнознаковые функции культуры. М., 1991. С. 139, 148, прим. 44, 44а.
15. Hampe, R., Winter A. Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenien und Zypern. Mainz, 1962.
16. Кожин П. М. Относительная хронология... С. 32, прим. 8.

Экскурс 2

РАССЕЛЕНИЕ РАННИХ КУЛЬТУР ЭПОХИ БРОНЗЫ

*Сейминско-турбинские и карасукские памятники.
Их общая протокультура*

Расселение на сибирских территориях крупных, хотя и рыхлых в силу недостаточно высоких демографических показателей популяционных сообществ, отраженных в археологических культурах — абашевской, срубной (тяготеющих к европейскому региону), андроновской, карасукской, ирменско-карасукской и других, связано с рядом проявлений, определяющих различия и единство этих популяционных ареалов. Предметы материальной культуры, обнаруживаемые в соответствующих памятниках, это, преимущественно, изделия из камня, меди, кости и керамика. Большинство изделий из других материалов не сохраняются.

Керамический инвентарь и обрядовые ритуально-культурные особенности — это жесткие различители в указанной группе культур, но их металлический инвентарь обнаруживает значительную степень сходства. Он группируется вокруг выразительной, хотя и малонасыщенной памятниками культуры, (общности?), обозначаемой как сейминско-турбинская. Основная специфика культуры связана именно с металлическим инвентарем. Памятники ее распространены от Байкала до средней полосы европейской России. Большая часть инвентаря — оружие ближнего боя: наконечники копий, топоры-кельты, ножи-кинжалы и пр. Сейминско-турбинские же комплексы порою сопровождаются керамическими изделиями типов, выявленных в вышеуказанных культурах. Военный инвентарь, прежде всего копья и кель-

ты, имел специфические функции. Они определялись стратегией военных действий, тактикой ведения боя и особенностями построений воинских подразделений.

Этот строй представлял собой несколько стоящих друг за другом пеших шеренг копейщиков, подобно греческой фаланге [1]. При пешем передвижении это население оказалось очень мобильным (отчасти за счет вероятных перемещений по водным трассам) и вступало в контакты как с населением вышеуказанных культур, так и с группами лесных и лесостепных жителей. Основу каждой сейминско-турбинской группировки составлял отряд воинов, образывавший построение фаланги, сопровождавшийся сравнительно незначительным количеством лиц, не причастных к военной профессии. Поэтому в могилах воинов оказываются помещены сосуды тех культур, на территориях которых эти воинские контингенты оказывались, т. е. это подвижная среда (затруднительно назвать ее кочевой, так как о составе возможного стада можно судить лишь по скульптурным изображениям на наварших отдельных видов оружия, впрочем, существует сомнение, изображались ли в этой скульптуре домашние животные — бараны, козлы, лошади, быки, а наряду с ними также и лоси). Если коллективы, оставившие захоронения сейминско-турбинских могильников, не являлись семейно-родовыми, племенными, то, вероятно, население, соорудившее могильники, должно было иметь стационарные поселения, возможно, вне зоны исследованных находок, в которых располагались и постоянно жили их семьи и родственники. Воины не просто отправлялись в длительные экспедиции из этих поселений, но и отрывались от своей родственной среды, оседавая в очень отдаленных местностях, порождая в них новые самобытные этнические группировки, в результате активных брачных контактов с аборигенными коллективами [2]. На территориях, где обнаружены соответствующие находки, никаких центров, которые могли бы быть прямо соотнесены с культурой сейминско-турбинских групп, пока не выявлено. Наблюдения над металлическими изделиями дают возможность реконструировать процесс движения этого населения из гипотетических культурных центров. Во-первых, военные отряды покидали родные места неоднократно, причем такие периодические исходы происходили в течение нескольких столетий, учитывая значительные типологические изменения военного инвентаря. Во-вторых, группы, стабилизировавшиеся в чужеродной среде, могли под ее влиянием деформировать свою культуру, развитие которой, связанное с опреде-

ленным металлическим инвентарем, шло уже по иным производственным правилам. В-третьих, в своих военных контактах с населением, на территорию которого приходили эти отряды, они осваивали новые виды воинского снаряжения (лук со стрелами, имеющими каменные наконечники, палицы и каменные топоры).

Несмотря на глубокую самобытность сейминско-турбинской культуры, ее параллели с металлическим инвентарем карасукской культуры оказываются значительными. Велико различие лишь в размерах металлических изделий: крупных — у сейминско-турбинских воинов, мелких — у карасукского населения. Последовательный переход от крупных форм к мелким типичен для непрерывного развития производства, когда стандартизация изделий сопровождается их миниатюризацией. Сходство инвентаря карасукских и сейминско-турбинских памятников базируется на формах ножей и кинжалов. Копья и кельты в карасукской культуре отсутствуют. Зато в ней появляются изделия, которые, как это известно по иньским памятникам Аньяна, принадлежат к комплексу инвентаря, характерного для снаряжения колесниц и колесничных бойцов [3]. Разработка этой проблематики с точки зрения выявления последовательности, динамики связей и характеристики перемен в общественной культуре прототипического населения, к которому восходят в указываемой последовательности: сейминско-турбинская, шан-иньская и карасукская культуры, — не представляется окончательно завершенной.

Исконная связь через металлургию между этими культурными комплексами ставит целый ряд новых проблем в исследовании сибирско-центральноазиатского бронзового века. Сейминско-турбинское население — пешие воины, очевидно, незнакомы были с применением сухопутного транспорта, как и те культуры, к которым они восходят. Аньянское население прекрасно освоило боевую колесницу. Оно в меньшей степени, чем сейминско-турбинская, пользуется копьями и топорами-кельтами (размеры вещей идентичного применения и формы сейминско-турбинских и аньянских почти не различаются. Различия идут за счет большей стандартизации и исключительно высокого качества аньянского инвентаря). Очевидно, что группы, достигшие Северного Китая, восходят в своем прямом генетическом родстве к трансформированному уже комплексу, изменившемуся после сейминско-турбинских сегментаций. Обособление карасукского населения указывает на новое трансформационное изменение протокомплекса. Если этот комплекс и его производные

связаны с распространенными в пределах Казахстана и отдельных регионов Сибири находками наскальных изображений колесниц, то для отдельных эпох аныянско-карасукского расселения выявляются отчетливые данные о структуре дорожной сети западно-восточного направления и о подобной же сети, проходящей по линии север—юг [4]. Преобразования, наблюдаемые в протокультуре, реконструируемой гипотетически через рассмотрение артефактов дочерних образований, указывают на высокую мобильность сознания населения протокультуры, на его способность к техническим совершенствованиям, к преобразованию хозяйственной жизни и, очевидно, к резким изменениям духовной культуры. Материалы Аньяна вводят в круг рассмотрения огромную массу металлической культовой посуды, которая попадала в захоронение из утративших свое реальное значение социально-культовых комплексов и имеет строго разработанную систему, указывающую на соответствие храмовых комплексов, причастных к ним социальных групп и воинских контингентов. Среди этой посуды особенно своеобразны (помимо скульптурных форм, воспроизводящих разные виды животных и птиц) сосуды на ножках. Те из них, которые имеют четыре ножки, напоминают крупные металлические ящики с большими вертикальными ручками. Очевидно их происхождение из деревянных ящиков, стенки которых набираются из резных горельефных панелей, а тяжелые массивные деревянные ножки — это отрезки распиленных стволов, обработанные в форме круглой скульптуры, передававшей головы животных (быков, слонов и баранов), упирающихся носами в землю. Я уже сравнивал эти тетраподы с каменными блюдами и плитами значительно более позднего савромато-сарматского времени, которые служили, по всей видимости, переносными алтарями. Такое сходство своеобразных изделий, пусть выполненных в разном материале и достаточно удаленных территориально, не могло быть случайным и, по всей видимости, деревянные, глиняные, а впоследствии, и каменные алтари включались в рассматриваемую протокультуру [5].

Таким образом, без прямых данных о протокультуре, о зоне ее расселения, о ее передвижениях на основе инвентаря и отдельных характеристик производных культур намечаются этапы трансформации протокультуры и некоторые ее сдвиги в пространстве. Крайними точками отсчета пространственных характеристик можно считать находки бородинского клада на юго-западе, а на востоке — аныянский комплекс. Предложенная мною периодизация сейминско-турбинских памятников позволяет от-

секать от проблемы выявления протокультуры ряд комплексов западного ареала (могильники Турбинский, Решное, Сейма). На востоке в область прямого рассмотрения входит пока лишь могильник Ростовка [6]. Реконструкции кельтов, ножей-кинжалов, копий, долот с полулунным лезвием и отдельных украшений до уровня, соответствующего их техническим характеристикам в протокультуре, типологически обоснованы [7]. Следует уточнить лишь вопрос о формировании орнамента ручек ножей-кинжалов и о переходе от кельта-лопатки к кельту шестигранного сечения. Ромбические и треугольные фигуры на плоскости кельтов и на боковых сторонах рукоятей ножей, видимо, восходили к способу обмотки втулок кельтов-лопаток и рукоятей кинжалов сухожильной нитью или каким-то растительным шпагатом, способом, применявшимся для рукоятей японских самурайских мечей (это лишь формальное сходство, возникавшее за счет одинаковых приемов обмотки. В завершённом виде на ней складывался орнамент из ромбов и треугольников).

Предложенная реконструкция отмечает два этапа в истории протокультуры: процесс ее сложения в связи с формированием металлообрабатывающих технологий и момент прямой трансмиссии металлического и, отчасти, ритуально-обрядового комплекса (устройство могил, размещение инвентаря, положение погребенных, набор инвентаря, помещение керамики и ее специфика, структура кладбищенского поля). Расположение Ростовкинского могильника в бассейне Иртыша и близкие реплики в инвентаре, встречающиеся на Алтае, подтверждают, что данный комплекс, отделившись от основной протокультуры, переориентировал свои связи по линии запад—восток в противоположность изначальному движению с юга на север, которое в отношении сейминско-турбинского комплекса пока не полностью ясно.

Формирование принципов втульчатого литья имеет более древние датировки, чем середина II тысячелетия до н.э. Место сложения этого принципиального новшества пока не фиксируется в пределах ближневосточно-иранских территорий, с которыми это явление было связано. Характерно, что в южно-зауральских комплексах типа Синташты, Аркаима встречаются копья с так называемой разомкнутой втулкой, технологически восходящие к иной традиции металлообработки по сравнению с сейминско-турбинскими, но явно подражающие им. Два южных компонента (круглоплановые культовые сооружения, архитектура из необожженного кирпича и глинобитная), указанных южно-зауральских комплексов, позволяют исключать их из возможных

предшественников сейминско-турбинской культуры. В сейминско-турбинском комплексе, а следовательно, и в связанной с ним протокультуре, определенно отсутствовали боевые колесницы. Ничто не указывает на наличие в ней круглоплановых святилищ. К ее элементам могут быть отнесены два вида изделий, не известных в Южном Зауралье. Это, во-первых, ременный или матерчатый пояс с шайбовидной пряжкой (нефритовые кольца Турбинского могильника), служивший для закрепления ножей-кинжалов и кельтов, и защитный доспех, основным элементом которого были полушарная каска и наряд, снабженный защитными костяными бляхами и полосами.

Следующий этап (фаза) протокультуры может быть материально обоснован находками в Аньянских комплексах. Основные компоненты его уже указаны. Их дополняют части конской сбруи и плоские наконечники крупных стрел или дротиков. Для упряжи наиболее характерны так называемые модели ярм, назначение которых несколько десятилетий вызывает интенсивное обсуждение [8]. Моя позиция в отношении этих предметов такова: изначально они закреплялись на кузове колесницы. К ним привязывали задние концы постромок упряжных лошадей. В дальнейшем, уменьшенные копии изделий могли закрепляться на поясе колесничего, который, стоя в кузове движущегося экипажа, мог с помощью этого приспособления прочно привязываться к перилам колесницы, освобождая тем самым руки для боевых действий (стрельба из лука, маневрирование копьем). В случаях, когда в степях лошадь везла за собой лыжника, к этим предметам прикрепляли для страховки концы постромок, которые движущийся человек держал в руках, регулируя натяжение и управляя через них лошадей. Следующая часть сбруи, возводимая к протокультуре, — это пластинчатые псалии, с центральным широким отверстием для ременных или волосяных удил и ограничивающими пластину сверху и снизу трубками для закрепления концов ремней уздечки. Очевидно, металлические псалии подобного аньянским типом стали употребляться в протокультуре, освоившей лошадь и управление ею, до становления аньянского комплекса.

Возможно, значительная масса населения протокультуры переместилась на территорию Северокитайской равнины. Здесь в формах металлической посуды шан-иньско-аньянского времени представлены виды высокошейно-бомбовидных сосудов, впоследствии нашедших свое выражение в основных формах керамики карасукского комплекса. Связующим моментом между ка-

расусскими и аньянскими технологиями оказывается применение инкрустаций аньянских бронз бирюзой и перламутром, а карасукской керамики — каким-то мягким, легкоплавким, легко корродируемым металлом (свинец, олово?). Принцип выполнения инкрустации достаточно однообразен. На поверхность иньских бронз наносились длинные узкие борозды, заполнявшиеся точно пригнанными мелкими пластинками камня. На карасукской керамике эти борозды либо прорезались металлическим инструментом, либо оттискивались сравнительно широким гребенчатым штампом. Оттиски по всей поверхности узора были значительно углублены, и следы штампа прослеживаются только на дне углублений, под инкрустацией. Аналогичная техника инкрустирования керамики со второй половины II тысячелетия до н.э. распространяется вместе с определенными типами чернолощеной посуды по всему широтному поясу от Италии до Центральной Азии. Не исключено, что она могла быть связана с сейминско-турбинской протокультурой и восходила к использованию инкрустаций камнями для украшения разнообразных металлических изделий (чернолощенная с металлическим блеском керамика — обычное подражание металлическим сосудам. Яркий пример — этрусский стиль буккери).

Следующая фаза протокультуры, породившая культуру карасукского типа на Среднем Енисее, уже охарактеризована. Остается добавить, что измельчение инвентаря, переход от металлической посуды к глиняной свидетельствует, с одной стороны, о стандартизации производства, а с другой — о затухании какого-то определенного центра, связанного с протокультурой, из которого непосредственно выделилась карасукская культура.

Последней заметной новацией в затухающем комплексе протокультуры оказалось изобретение способа выполнения полых ручек и наверший металлических ножей и кинжалов. Эти рукояти, изготавливавшиеся первоначально отдельно от клинков, формировались на базе той же втульчатой техники, однако первоначальные образцы рукоятей исполнялись изгибанием плоских пластин, украшавшихся различными узорами, которые на боковых сторонах рукояти могут не совпадать. В одной из боковых стенок пластины оказывались прорезы с перемычками, необходимые для соединения внутреннего сердечника, помещавшегося в литейную форму, с самой литейной формой. В дальнейшем в карасукских памятниках встречаются ножи и кинжалы со сплошной уплощенной рукоятью, у которой орнамент боковых сторон оказывается резко различен, иногда воспроизводя в условной манере прорезы

на изначальном пустотелом изделии. Объединяет аньянские памятники с карасукскими использование раковин каури. В карасукской культуре раковины часто заменяются их костяными или перламутровыми имитациями из-за утраты источника поступлений настоящих раковин. В Аньян раковины поступали через какие-то группы протокультуры, имевшие прямой выход на район обитания моллюсков, оставивших данный вид раковин.

Эта реконструкция протокультуры сейминско-турбинского, шан-иньско-аньянского и карасукского культурных комплексов с учетом последовательности их сложения и вероятных реальных дат этого сложения позволяет определять фазы-этапы протокультуры в абсолютных датах в пределах от конца III тысячелетия до н.э. до четвертой четверти II тысячелетия до н.э. Жесткие хронологические реперы пока не обоснованы, но общие хронологические рамки процессов сравнительно надежны (хотя и эти датировки далеко не окончательно разработаны) [9].

Чем больше информации, характеризующей протокультуру, удается извлечь из материального комплекса ее дочерних проявлений, тем более вероятно допущение, что именно с данной протокультурой был связан исконный индоевропейский культурный комплекс. Характеристика, данная ему в ведической литературе достаточно обобщенно и почти без акцентов на специфических особенностях материальных памятников [10], определяет культуру ведических ариев как общество воинственное, подвижное, властолюбивое и любознательное, чья историческая прародина могла локализоваться близ северных предгорий азиатской горной страны, откуда веер расселений мог беспрепятственно, многоэтапными передвижками, покрывать те пространства, где позднее индоевропейское население четко зафиксировано.

Обширнейшее расселение, осуществленное индоевропейскими группами в течение краткого периода поздней доистории, требовало четкого ориентирования в окружающей природе, в космическом пространстве. Конечно, каждая культура в определенной природной обстановке вырабатывала свои устойчивые ориентационные принципы. Не рассматривая виды и особенности ориентации в пути и на местах стабильных поселений, отмечу один момент ориентации по светилам в связи с возможностью его отнесения именно к индоевропейской среде. Большая Медведица — созвездие наиболее близкое к неподвижной точке небосвода — Полярной звезде. Наименование этого созвездия Колесницей приемлемо лишь в соответствии с изображением колесниц строго в профиль, когда передается дышло и коробчатый кузов.

Профильные изображения колесницы, столь же обобщенной, как и намеченная контурными точками — звездами Большой Медведицы, представлены пока в единственной письменной традиции критского линейного письма В (идеограмма 242), характерного для документов крито-микенской эпохи, написанных на ахейском протогреческом диалекте, смыкающемся в своем происхождении с общеиндоевропейской языковой традицией. Это опосредованное и отдаленное свидетельство может отмечать определенный уровень звездной топографии, которую разрабатывали в процессе своих передвижений племени индоевропейцев. Правда, аналогичным колесничному профилю обладали глиняные модели повозок, предназначенных для бычьей запряжки и употреблявшихся южноевропейским населением энеолитического времени для перевозок сельскохозяйственных продуктов. Однако они не отражены в картинной и письменной графике, а большинство наскальных изображений колесниц передает их в плане (вид кузова сверху, колеса также в плане).

Примечания

1. Кожин П. М. Сибирская фаланга эпохи бронзы // Военное дело населения Юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск 1993. С. 16—41.

2. Ср. Дьяконов И. М. К методике исследований по этнической истории : (кимерийцы) // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тыс. до н.э.). М. 1981. С. 93—95 ; Herod (IV, 110—117). Пока без подробных объяснений заменяю Amazonas на Amaxonas. Такая возможность существует, если учитывать историю букв «x» и «z» (См.: Фридрих И. История письма. М., 1979. С. 132 ; Jeffery L.H. The Local Scripts of Archaic Greece. Oxford, 1961). Последнее название — «обладатели повозок» — становится в ряд переводных греческих наименований племен. Аналогии есть: это — «скифы-землепашцы», «скифы-царские» и др. «племена».

3. Кожин П. М. К вопросу о происхождении иньских колесниц // Культура народов зарубежной Азии и Океании. Л., 1969. С. 29—40.

4. Кожин П. М. Колесничные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987. С. 109—126.

5. Кожин П. М. Об иньских и чжоуских бронзовых ритуальных котлах // 9-я научная конференция «Общество и государство в Китае», М., 1978, Ч. 1. С. 40—49 ; Его же. Разновидности бронзовой ритуальной посуды эпох Шан и Чжоу // 39-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2009. С. 18.

6. Матюшенко В. И., Синицына Г. В. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска. Томск, 1988 ; Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Древняя металлургия северной Евразии. М., 1989.

7. Кожин П. М. О периодизации сейминско-турбинских памятников // Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала. Екатеринбург, 1993. С. 86,87.

8. Кожин П. М. О хронологии иньских памятников Аньяна // Китай в эпоху древности., Новосибирск, 1990. С. 48—49 ; Линь Юнь. Переоценка взаимосвязей бронзовых изделий шанской культуры и северной зоны // Там же. С. 38—39.

9. Ср.: Членова Н. Л. Хронология памятников карасукской эпохи. М., 1972 ; Её же. Карасукские кинжалы. М., 1976 ; Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Древняя металлургия Северной Евразии. М., 1989 ; Новгородова Э. А. Центральная Азия и карасукская проблема. М., 1970 ; Её же. Древняя Монголия : некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории. М., 1989 ; Сунчугашев Я. И. Древнейшие рудники и памятники ранней металлургии в Хакасско-Минусинской котловине. М., 1975 ; Кадырбаев М. К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-ата, 1992 ; Кузнецова Э. Ф., Тепловодская Т. М. Древняя металлургия и гончарство Центрального Казахстана. Алматы, 1994 ; Бобров В. В., Кузьминых С. В., Тенейшвили Т. О. Древняя металлургия Среднего Енисея. Кемерово, 1997.

10. Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. Мир вещей по данным Ригведы // Ригведа. Мандалы V—VII. М., 1995. С. 487—525.

Экскурс 3

О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИИ АНДРОНОВСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ

Вопрос об объеме ареала и относительной хронологии памятников андроновской культуры (андоновской культурной общности) приобрел острую актуальность с момента, когда на значительной части территории распространения андроновских памятников выявились две устойчивые керамические традиции. Условным индикатором для их различения были избраны особенности профиля сосудов: горшки с плавным профилем или с уступчатым плечом [1]. Сочетание этих доминантных индикаторов с целым рядом особенностей формы и орнамента керамики, а также с определенной спецификой могильных сооружений и обряда привело исследователей к убеждению о разделении андроновской культуры на два особых варианта. Совместная их встречаемость в пределах мелких ареалов, в соответствии с мето-

дологическими, теоретическими и культурологическими установками археологии 1930—1950-х годов, неизбежно подразумевала наличие между подобными устойчивыми вариантами какой-то однозначной хронологической последовательности: на одной территории два четко различающихся культурных комплекса существовать будто бы не могут. Каждый из них должен образовывать хронологическую и периодизационную стадию, революционно или эволюционно переходящую одна в другую. В данном случае сходство элементов обряда, видов орнаментов и форм керамики позволяло намечать эволюционный переход.

Другое методико-теоретическое положение указанного этапа археологических исследований постулировало обязательное развитие от простого к сложному в каждой системе археологических материалов, в пределах которой могли выявляться «стадиально различимые» группы, комплексы, периоды. Третий теоретический постулат подразумевал одинаковые датировки культуры-стадии и ее периодов на всем пространстве распространения. Именно так сформировалась общеареальная хронология этапов андроновской культуры: федоровский → промежуточный кожумбердынский → алакульский → замараевский этапы. Последнему был предложен казахстанский аналог (или альтернатива): дандыбай-бегазинский этап или даже культура (Маргулан), позднее добавились и другие наименования для последнего этапа.

Неадекватность подобной схемы периодизации [2] рассматриваемому эпохальному явлению — андроновской общности, охватывающей территорию от Заволжья до Среднего Енисея и от границ тайги до Памиро-Тяньшаньских предгорий, быстро породила обоснованные возражения [3]. Они коснулись вопросов границ общности; ее соотношения с тазабагыбской культурой, со срубной культурной общностью; последовательности и продолжительности периодов, их взаимосвязей; абсолютного датирования памятников и этапов; внутреннего ареального членения региона общности и последовательности его формирования; контактов населения с инокультурными популяциями и последующего (постандроновского) развития.

Основным (и, фактически, единственным стойким индикатором культурной принадлежности, начиная с первых сводок Теплоухова [4]), оказались для андроновских памятников глиняные горшки определенных форм и стандартов с горизонтальной трехзональной геометрической орнаментацией верхней части, часто сопровождающейся рядом треугольников в придонной части и порою геометрическими же фигурами на дне. Эти хоро-

шо лощенные коричнево-серые или черные сосуды с плавным профилем, часто с четко выраженным уступом при переходе от горловины к тулову, орнаментировались гребенчатым или гладким штампом, реже нарезкой и волнистым прочесом гребенки. Разделителями зон орнамента служили чаще всего желобки, располагавшиеся на уровнях структурных изгибов профиля. Однако количественный рост материала дал очень большое число систематических вариаций, позволявших устанавливать определенные типологические изменения орнаментации и приблизиться к пониманию ее происхождения.

Периферийные андроновские варианты — орско-актубинский, южноказахстанский — территориально, по разнообразию форм, опрощению и редукции орнаментов легко вычлениаются в пределах региона как зона более позднего и ослабленного воздействия культурной общности. Вероятно, Южный Казахстан испытал несколько приливов андроновской популяции, отразившихся затем и на круговой керамике Тагискена [5], где контаминируются синкретические карасукско-андоновские формы, вырабатывавшиеся, видимо, в условиях дандыбай-бегазинских групп. Во всяком случае, оба указанных периферийных варианта легко обособляются от основного андроновского «домена». Более однородные по формам и орнаментации керамики варианты: хакасско-минусинский (среднеенисейский) и предгорно-алтайский (Большепичугино, Ур, Преображенка и др.) — отграничиваются от центра по наблюдениям над типологией металлических изделий [6] и по проявлениям быстрой деградации типичных керамических форм горшков (сближение их с банками) и геометрических орнаментов в пределах относительно небольших кладбищ, захоронения на которых происходили в период жизни пяти-восьми поколений. Подобная же ситуация связана с основной частью восточноказахстанского варианта. Несколько сложнее обособляется челябинско-свердловский (южнозауральский ареал), где постепенно выявляется несколько последовательных массивных передвижений из центральных районов андроновского расселения, а кроме того, ощутимы контактные связи с абашевскими и баланбашским группами, становящиеся особенно выразительными в пределах североказахстанского ареала. Не исключено, что именно взаимодействие с абашевцами вызвало в центральных андроновских ареалах активное освоение и распространение конной колесницы, что подтверждается быстрым ростом числа находок конских псалиев и остатков повозок в могильниках новопетровско-синташтинского ареала [7].

Фактически андроновская популяция являет собой редкий культурологический пример, когда ядро культуры, зона ее становления (а, может быть, и происхождения, что пока еще, в силу недостатка данных, весьма проблематично) совпадает с постоянным устойчивым геометрическим центром ареала. Это ядро, популяционно-культурный центр, распределяется на два варианта-ареала (центрально- и североказахстанский), что находит адекватное соответствие в изначально двухкомпонентном составе андроновской популяции. Отмечу в сравнении наиболее рельефные признаки каждого компонента:

I компонент	II компонент
Каменные ящики	Цисты из плашмя положенных рядов плиток, деревянные срубы
Круглые кольца из вертикальных тонких плит	Прямоугольные ограды
Труположение	Трупосожжение
Банки с широким дном (плоским, выпуклым, вогнутым) и широко расходящимися кверху боками	Банки сравнительно узкие
Горшки, образованные банкой с прилепленной к ней горловиной из одного или двух ленточных колец (на переходе от верха банки к горловине — уступ, между кольцами горловины — ребро)	Горшки с узким дном, округленными боками, переход к шейке сглаженный, иногда поддон

Орнаментация:

Гладкий штамп	Мелкозубчатый штамп
Построение по осям координат (вертикаль, горизонталь)	Правый наклон под тупым углом к горизонтали
Основной структурный элемент — ромб. Он может иметь внутреннее членение и образует межзональные композиции	Основа структуры — треугольник, зигзаг. Размещение автономные горизонтальными цепочками в пределах каждой зоны
Зеркальная симметрия по вертикальной оси. Есть и горизонтальная	Встречается зеркальная симметрия по горизонтальной оси и вертикальная в пределах третьей зоны
Узоры полностью обратимы (фон и семантическое поле взаимозаменяемы)	Обратимость не полная. Основные узоры попарно взаимозаменяемы

Окончание табл.

Гладкий штамп	Мелкозубчатый штамп
Зональность подчеркивает структуру формы	Соотношении структуры формы и зональности со временем нарушается
Возможно единство орнаментальной структуры в пределах поля	Поле создается зонами разного ритма и дукта

Эта генерализованная, в некотором роде идеальная, схема позволяет обосновать типологические ряды форм и орнаментов керамики. Второй компонент представляется во многом производным от первого, причем для него характерно тяготение к северу очерченного ареала ядра культуры. При культурологических сопоставлениях наиболее близкие параллели структуре орнамента и его системному решению обнаруживаются в двух типах плетений: на горизонтальной кольцевой спиральной основе (I компонент), на вертикальной основе (II компонент). Сходство первого компонента со структурой узоров керамики «геоксюрского полихромного стиля» [8] возможно обусловлено именно общностью прототипов [9]. Вероятно, второй компонент с его гребенчатой орнаментацией, исполнявшейся с применением гребенчатого штампа, восходящего к гребенке, типичному инструменту корзиноплетельщиков, осуществлявших плетение на вертикальной основе, сложился вследствие давления на степной, первый компонент, лесного и лесостепногоместного населения, контакты с которыми в дальнейшем не прерывались, что способствовало созданию большего числа культур андронидного периферийного типа [10].

Итак, наиболее ранние локальные варианты, выдвинувшиеся из центрального ядра, — это зауральский и среднеенисейский. Последний превращается в изолят и контактирует с местными культурами карасукского облика [11]. Зауральский вариант испытывает на себе постоянное воздействие ядра, откликаясь на все перемены, происходящие в центре культуры. Развитие здесь длительно. Оно увязывается с оседлостью. Включение в длительные культурные контакты ряда таких существенных компонентов, как абашевская культура Зауралья, сейменско-турбинский комплекс, какие-то варианты срубного культурно-исторического единства, создает именно в Зауралье устойчивую консолидированную группировку, связанную с синташтинско-аркаимским комплексом [12]. Вряд ли следует преувеличивать его самобытность. В нем представлены в разных степенях редукции оба ис-

ходных компонента и их сочетания. Далее начинает формироваться орско-актюбинский вариант [13], восходящий к первому компоненту. Очевидно одновременно заселяются территории алтайского ареала группами, где доминирует второй компонент [14]. Наиболее поздно складывается южноказахстанский вариант, оказавший воздействие на культуру аральского ареала, а та, в свою очередь [15], — на срубную культурную общность, хотя основной импульс, способствовавший ее сложению, исходил из орско-актюбинского ареала, где как и в некоторых районах северо-казахстанского варианта сохранялся значительный доандроновский субстрат, воздействовавший на продвигавшиеся к востоку волны андроновских миграций и экспансий [16].

Таким образом, единая схема последовательности и синхронной смены этапов в пределах всей территории андроновской общности неправомерна. Большинство процессов охватывали отдельные варианты и даже их территориальные части. Синхронизация процессов возможна лишь посредством прослеживания периодических импульсов, исходящих из ядра региона общности, где они имели как бы эталонное развитие. Отсюда неизбежное возрастание значения микрохронологии и периодизаций, основанных на планиграфических и типологических колонках отдельных крупных кладбищ [17]. В этом плане представляется крайне важной выполненная Ю.И. Михайловым систематизация данных по попарно взаимозаменяемым узорам [18]. В грубом приближении, чем полнее их набор в памятнике, варианте, ареале, тем более гомогенной была структура, в которой это явление находило выражение; тем ближе оказывался вариант к исходному эталону андроновского единства. (Эпонимный памятник должен быть сохранен в названии общности и по правилам систематики, и в силу яркого отражения в нем многих эталонных особенностей керамики.) Впрочем, нельзя пренебрегать и взаимодействиями периферийных вариантов и обратным влиянием их на центр.

Примечания

1. Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и могильник // Труды Государственного Исторического музея. М., 1947. Т. 17 : Археологический сборник. С. 147—172 ; Киселев С. В. Древняя история... 1951. С. 87—105 ; Сальников К. В. Очерки древней истории Южного Урала. М., 1967. С. 340—352.

2. Комарова М. Н. Относительная хронология памятников андроновской культуры // Археологический сборник / Государственный Эрмитаж. Л., 1962. Вып. 5. С. 50—75.

3. Кожин П. М.. Всесоюзное совещание по вопросам андроновской культуры // Краткие сообщения Института Археологии АН СССР. М. ; Л., 1966. Вып. 106. С. 118—120 ; Зотова С. В. Ковровые орнаменты андроновской керамики // Новое в советской археологии. М., 1965. С. 177—181 ; Её же. О Сибирских кельтах сейминско-турбинского типа // Краткие сообщения Института Археологии АН СССР. М. ; Л., 1964. Вып. 101. С. 59—63 ; Стоколос В. С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья : хронология и периодизация. М., 1972 ; Потемкина Т. М. Бронзовый век лесостепного Приоболжья. М., 1985 ; Федорова-Давыдова Э. А. Андроновское погребение XV—XIII вв. до н.э // Труды Государственного Исторического музея. М., 1960. Вып. 37 : Археологический сборник. С. 56—59 ; Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994.
4. Теплоухов С. А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края : материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4. Вып. 2.
5. Итина М. А., Яблонский Л. Т. Мавзолей Северного Тагискена : поздний бронзовый век Нижней Сырдарьи. М., 2001 ; А.Х. Маргулан. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1979.
6. Кабанов Ю. Ф., Кожин П. М., Черных Е. Н. Андроновские находки на р. Алтынсу // Памятники древнейшей истории Евразии. М., 1975. С. 230—240 ; Маргулан А. Х, Акишев К. А., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1966.
7. Зданович Г. Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988 ; Зданович Г. Б., Батанина И. М. Аркаим — страна городов. Челябинск, 2007 ; Ткачев В. В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе, 2007 ; Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В. Синташта // Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1992. Т. 1. Эта выдумка — «арийские племена» явилась как бы монументом оголтелого невежества: найдены «древнейшие колесницы», а, значит, нашли арийцев. А дальше предсказатели, волшебники, проходимцы и просто нездоровые люди обрели свою Волшебную пристань, свой Святой Грааль! СМИ уделяют этой тематике чрезмерное внимание. Достаточно напомнить обсуждение этой проблематики в просветительских передачах А. В. Гордона (2009 г.).
8. Хлопин И. Н., К происхождению андроновского субстрата сибирских народов // Происхождение народов Сибири и их языков. Томск, 1969 ; Её же. Проблема происхождения культуры степной бронзы // Краткие сообщения Института Археологии АН СССР. М. ; Л., 1970. Вып. 122. С. 56—57.
9. Кожин П. М. Плетенные сосуды индейцев Калифорнии // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1967, Т. 24. С. 125—127, 129, прим.10.
10. Кожин П. М. Сузгун II : место памятника в западно-сибирской этнокультурной традиции // Актуальные проблемы методики. Новосибирск, 1989 ; Матвеев А. В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. Новосибирск, 1998.
11. Киселев С. В. Древняя история... С. 67—105.

12. Если бы не это необоснованное вторжение в сферу лингвистических, палеокультурологических исследований, можно было бы смело говорить об огромном прогрессивном сдвиге в области Южно-Зауральской археологии и широких возможностях профессиональных исследований вновь обретенных фактических данных. К сожалению, здесь я не имею для этой оценки места, т. к. каждое положение необходимо сопроводить резкой критикой исходных теоретико-методологических положений.

13. Сорокин В. С. Андроновская культура. Памятники западных областей // Свод археологических источников (САИ). Л., 1966. Вып. 3.

14. Максименков Г. А. Андроновская культура на Енисее. Л., 1978 ; Мартынов А. И. Андроновская культура // Древняя Сибирь. Улан-Удэ, 1964.

15. Итина М. А. История степных племен Южного Приаралья. М., 1977 ; Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара, 1994 ; Отрощенко В. В. О культурно-хронологических группах погребений Потаповского могильника // Российская археология, 1998. № 1. С. 43—53. Приходится удивляться смелости неоправданных идентификаций языковой принадлежности населения и той свободе, с которой авторы «конструируют» новые культуры и их «историю». Волна новых полевых открытий и вера в силу «модных слов» позволила начать новый этап «обобщений» свежих находок, не считаясь ни с существующими методиками, ни с результатами достигнутыми в предшествующий плодотворный период закономерных исследований. Отсюда и появление «индоиранской» атрибуции археологических находок, к которым не пытались даже применить какие бы то ни было процедуры, позволяющие выявить в этих материалах хоть какие-то указания на правомерность установления языковой и этнической причастности погребенных в Потаповском могильнике людей к индоиранским/индоевропейским генетическим корням. Вот они, прямые последствия безответственных выводов «исследований» Е. Е. Кузьминой, С. А. Григорьева и теперь уже многих других! В. С. Стоколос (Существовал ли новокумакский горизонт? // Советская археология, 1983. № 2. С. 257—264) попытался некогда поставить ряд разумных вопросов, касающихся археологических оснований для новых «лингвоархеологических» и «этноисторических» способов «расправы» с материалом, но практически не был услышан в этой поспешной гонке за «открытиями».

16. Оразбаев А. М. Северный Казахстан в эпоху бронзы // Труды Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР. Алма-Ата, 1958. Т. 5 : Археология. С. 216—294 ; Ткачев А. А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. Тюмень, 2002 . Ч. 1—2.

17. Кожин П. М. Археологические обоснования палеодемографических реконструкций : доклад на 9-ом Международном конгрессе антропологических и этнологических наук. М., 1973. 23 с.

18. Михайлов Ю. И. Мироззрение древних обществ Юга Западной Сибири : (эпоха бронзы). Кемерово, 2001.

Экскурс 4

СКИФО-СИБИРСКИЙ МИР. О НАЧАЛЬНЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ
ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ СКИФО-САКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

При рассмотрении скифских и скифо-сибирских культур [1] обращает на себя внимание то обстоятельство, что при крайне однородном металлическом инвентаре, позволяющем синхронизировать даже наиболее отдаленные друг от друга группы скифских памятников, керамическая посуда обнаруживает обычно сходство с соответствующей продукцией местного населения каждого региона. Казалось бы, это объяснимо при сравнительной оценке уровней централизации (усилении ремесленного характера) производства, степени унификации и стандартизации производимой продукции, когда керамическое дело в организационном отношении оказывалось более примитивным по сравнению с другими техническими отраслями хозяйства, оставаясь на уровне разобщенной поселковой продукции. Но это, в свою очередь, должно было бы усилить в изделиях проявление элементов самостоятельной этнокультурной скифской традиции.

В действительности этого не происходит: скифские гончары воспроизводят местные формы (или же местные гончары изготавливают посуду для скифского населения), используют продукцию греческих мастерских. Причем посуда местного производства часто огрубляется, ограничивается достаточно примитивными горшковидными формами. Аналогичная ситуация, пусть и не столь последовательно, проявляется у европейских сарматов. Все это указывает на вторичность, производность культурных вариантов, в которых подобные явления обнаруживаются.

Эти соображения вынуждают последовательно просматривать материалы локальных и территориальных вариантов культуры, в которых находил четкое выражение скифский набор металлических изделий, искать комплексы памятников, где бы керамическое производство обнаруживало однородность в основных формах посуды, демонстрирующей в свою очередь единую техническую, функциональную и эстетическую традицию, притом в единой системе производства, представленного однородным металлическим, кожаным, деревянным и прочим сохраняющимся инвентарем.

Формальная основа подобного исследования была заложена в монографии А.Д. Грача «Древние кочевники в Центральной

Азии» (1980 г.), где в сравнимой графике были представлены основные комплексы, сопоставимые с памятниками раннего железного века Тувы. Причем автор вышел здесь из рамок типичной «скифской триады» (оружие, конское снаряжение, искусство), а вследствие этого получил и более представительный набор сходных видов и типов изделий. Я уже отмечал поразительную близость набора изделий из «курганов вождей» в Пазырыке (курганы 1—5, раскопки С.И. Руденко) [2] с изображениями в наряде «скифа» на одном из ритонов из Эребуни (VI—V вв. до н.э.), относящихся, вероятно, к западной ахеменидской традиции. Очень четко проявляется общерегиональное сходство в изделиях традиционного искусства, в частности, в золотых бляхах, пластинах и скульптурах с сюжетами скифского звериного стиля. Основа их классификации может быть дана в следующей схеме: 1) сборные ковано-литые изображения с бирюзовой инкрустацией; 2) подобные же изделия с бирюзовыми вставками и инкрустацией; 3) то же с заменой бирюзы орнаментом на золоте; 4) переосмысление и распад единых сюжетов, объединяющих всю поверхность изобразительного поля, выделение автохтонных образов и композиционных фрагментов, преобразование их в самостоятельные сцены борьбы зверей; 5) стилизация изображений, переход их в абстрактно-геометрические формы с неустойчивой изобразительной символикой (помимо этого последнего типологического уровня изменения, встречающегося, в частности, в Средней Европе, существуют варианты трансформации в рамках реалистической традиции, как, например, в Китае, где голова свернувшейся пантеры, изображенной в полный профиль, начинает передаваться анфасно, соответственно местной изобразительной традиции, связанной с трактовкой «масок таотэ» (поселение Хоума)).

При таком подходе локализация раннего расселения сакско-скифских групп не должна выходить за пределы обширного ирано-казахстанского ареала (включающего некоторые промежуточные и сопредельные районы Средней Азии), но тогда резко сужается зона поиска исходного керамического комплекса. Он легко выявляется в керамике, которую исследователи согласно, со времени работ А.Н. Бернштама, диагностируют как сакскую. Здесь уместно напомнить высказывание Геродота (VII, 63, 2): «...саками называют персы всех скифов». И эти «пантас тоус скуюфес», естественно, включали набор разноэтничного населения. Только в указанных казахстано-среднеазиатских областях представлен достаточно однородный керамический материал. Это — сосуды с бомбовидным туловом и различными вариантами

горловин: высокой цилиндрической (усеченно-конической) или низкой, резко расширяющейся, иногда со сливом-носиком. Эти формы имеют на горловине или в верхней части тулова (сосуды с короткой шейкой) противолежащие парные ручки для подвешивания, проткнутые в стенках и окруженные сверху фигурным бортиком, который претерпевает типологические изменения от массивного выступа с нервюрами для жесткости до полулунного слаборельефного налепа, переходящего далее в резной скобчатый орнамент, остающийся единственным следом ранней конструкции с ручками. Скобчатые имитации ручек переформируются затем в ряды арочного узора, оббегающего горловину сосуда, особенно характерного для савромато-сарматской керамики Приуралья, Зауралья, Южной Сибири и Поволжья. Вообще единые истоки скифской и савромато-сарматской (прохоровской, саргатской) культур легко объяснимы корреляциями и типологическими изменениями, представленными в указанном центральном культурном регионе. К нему восходят и некоторые горшковидные формы развитой тагарской культуры, основу керамической традиции которой составляет крупная баночная керамика, выработанная на базе андроновских банок с широкими желобками по верхней части стенок. Кроме того, как обязательный сопровождающий компонент для бомбовидной керамики представлены в комплексах казахстано-среднеазиатских сакских культур полусарные чаши, являющиеся самостоятельно выделенными донными частями бомбовидных сосудов. Развитие горшков идет в двух направлениях: от цилиндрических в своей основе кожаных прототипов к шаровидным кринкам с формованием выбивкой, с четко выделенным с помощью валика-шва трубчатым горлом, а затем к разнообразным по форме и размерам сосудам с раздутыми боками и цилиндрическим кубкам с малоемким шаровидным основанием, иногда снабженным поддоном.

В керамической традиции вне центрального региона в большинстве районов почти не сохранилось четких следов первоначальных форм сосудов. Наиболее разительным исключением в этом плане являются формы чжаньгоской посуды в Китае, где наличие фигурных масковидных налепов на боках, трехрогих блюдцеобразных крышек все же не искажает представления о первоначальном типе посуды. Однако в металлических изделиях собственно скифского и фракийского производства первоначальные формы, превращенные в ритуальную посуду, оказались стойко законсервированы. Эти формы практически не выходят из общих параметров и очертаний сакской керамики. Они лишь дополнены

порою сложной конфигурацией горловины, переходящей обычно в чашеобразное расширение горла, которое остается впоследствии характерным маркирующим показателем металлических сосудов из золота и серебра, а также керамики восточноазиатского региона, изготовлявшейся в культурах, тесно соприкасавшихся с территориями, где пролегали трассы Великого шелкового пути. В свою очередь память о чашах, использовавшихся конными кочевниками, сохраняется в европейской скифской традиции не только благодаря импортным греческим фиалам из богатых захоронений, но также и благодаря золотым обкладкам деревянных чаш, воспроизводящих, видимо, особую подвесную к поясу чашу, образцы которой сохранены в памятниках центрального региона. Точнее на его окраинах (Пазырык, Туран, Уландрык и т. п.). Она имеет массивную полушарную емкость, снабжена ручкой в виде конской ноги, завершающейся копытом, выполненной из рога или дерева [3]. Типологическое развитие ручки сводится к стилизации этой скульптурной ноги, превращающейся в изогнутую ручку черпака с резким перегибом у самого края чаши, над которым выполнено широкое отверстие для подвешивания. Геродот сообщает (IV, 10, 66) о ношении скифами чаши (фиалы) на поясе, связывая этот обычай с этногенетической легендой скифов и подчеркивая ранговую воинскую значимость подобных чаш (киликов). Форма, размеры, массивность чаши делают затруднительным ее ношение пешим воином: это снаряжение конного кочевника. Вероятно, эта чаша заменялась впоследствии ахеменидским или греческим ритонном.

Таким образом, первоначальными видами скифо-сакской посуды являлись кринкообразные глиняные кувшины, воспроизводящие кожаные формы (Завитухина, 1966) и два типа чаш: одни деревянные с ручкой — знак воинского ранга, другие — бытовые глиняные.

Примечания

1. Кожин П. М. Предпосылки формирования скифо-сибирских культур // Проблемы археологии скифо-сибирского мира : социальная структура и общественные отношения. Кемерово, 1989. Ч. 1. С. 16—19 ; Его же. Художественные образы в искусстве ранних кочевников востока Евразии // Рериховские чтения, 1984. Новосибирск, 1985. С. 238—243 ; Древности скифской эпохи : сборник статей. М., 2006 ; Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время // Археология СССР. М., 1989 ; Степная полоса

Азиатской части СССР в скифо-сарматское время // Археология СССР. М., 1992 ; Иванчик А. И. Киммерийцы и скифы. М., 2001 ; Алексеев А. Ю. Скифская хроника. СПб., 1992.

2. Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М. ; Л., 1953.

3. Руденко С. И. Указ. соч.. С. 32, 365—369, табл. XX1, 1. Здесь на ручке представлен даже вполне реалистично вид копыта снизу. Это не случайность — конское копыто как графический символ в течение нескольких веков буквально доминирует в искусстве кочевников (Кожин П. М. К проблеме хронологии азиатских петроглифов // Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск, 1982. С. 102) ; Кожин П. М. Этнокультурные контакты населения в Евразии в неолите — раннем железном веке. Палеокультурология и колесный транспорт. Владивосток, 2007. С. 274—276, 425—426, рис. 42, 43.

Оглавление

Предисловие	4
-------------------	---

Часть I. ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Глава 1. ОБЗОР ПРЕДЫСТОРИИ	32
Глава 2. ПРЕДПОСЫЛКИ ГОСУДАРСТВА	36
Глава 3. О ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ ДРЕВНИХ КИТАЙЦЕВ	49
Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ДУХОВНО-МЕНТАЛЬНОГО И ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА У ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ В БАССЕЙНЕ ХУАНХЭ	54
§ 1. Становление и тенденции развития китайского этноса	54
§ 2. Становление древнекитайской государственности	65
Глава 5. ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ	74

Часть II . ФОРМИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ОСНОВ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ

Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ	82
--	----

Глава 2.	СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ	94
§ 1.	От жречества к философии	94
§ 2.	«Девять дэ» в концепции государственного управления Гао Яо	98
§ 3.	«Сыновья и внуки будут вечно пользоваться...»	109
§ 4.	Шицзин и начала китайской идеологии	113
§ 5.	Значение «Даодэцзин» (первый параграф) для древнекитайской теории познания	117
§ 6.	«Дао грабителей» у Чжуан-цзы	123
Глава 3.	СВОЕОБРАЗИЕ, САМОБЫТНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ	128
§ 1.	Этнокультурные константы китайской философии	128
§ 2.	Древнекитайское общественное сознание как основа религиозного и философского мировоззрения	132

Часть III. ДРЕВНЕКИТАЙСКОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЕГО ОТРАСЛИ

Глава 1.	КЕРАМИКА КИТАЙСКОГО НЕОЛИТА	138
§ 1.	Технический аспект	138
§ 2.	Неолитические прообразы шан-иньской ритуальной посуды	150
Глава 2.	ОБРАБОТКА КАМНЯ	155
Глава 3.	МАТЕРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РИТУАЛОВ	159
§ 1.	Об иньских и чжоуских бронзовых ритуальных котлах. <i>Некоторые проблемы технологии</i>	159
§ 2.	Разновидности бронзовой ритуальной посуды шан-чжоуской эпохи	166

Заключение

Человек как мера вещей. <i>Трактат «Каогунци»</i>	175
---	-----

Часть IV. СУХОПУТНЫЕ АЗИАТСКИЕ И ЕВРАЗИЙСКИЕ ДРЕВНИЕ КОНТАКТЫ КИТАЯ

Введение	180
Глава 1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДРЕВНИХ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ЕВРАЗИЙСКИХ КОНТАКТОВ КИТАЯ. <i>К доистории глобализации</i>	185
Глава 2. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ДРЕВНИХ КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТАХ КИТАЯ С ВНУТРЕННИМИ РАЙОНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО МАТЕРИКА	197
Глава 3. МЕСТО СИНЬЦЗЯНСКИХ НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ КОЛЕСНИЦ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА	209
Глава 4. ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ	230
§ 1. К вопросу об «организации» Шелкового пути	230
§ 2. Шелковый путь и кочевники. <i>Некоторые вопросы средневековой этногеографии Центральной Азии</i>	236
Глава 5. ЭТАПЫ СЛОЖЕНИЯ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ДРЕВНОСТИ	248
§ 1. По поводу трактовки Н.Я. Бичуриным некоторых этнографических наблюдений Сыма Цяня	248
§ 2. Доисторические истоки тохарской проблемы	265
Глава 6. ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ	284
§ 1. Китайские зеркала в Сибири	284
§ 2. О приемах художественного оформления серебряных изделий в эпоху Тан. <i>К вопросу о типологии танского серебра</i>	297
§ 3. Тюркский всадник из Копенского чаатаса	303

Глава 7.	ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОГЕОГРАФИИ В ТРУДАХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ	310
§ 1.	Путь саманидского посольства из Бухары в «столицу» Китая. «Первая записка Абу-Дулафа», <i>середина X в.</i>	310
§ 2.	Этноисторические наблюдения Ибн-Фадлана (922 г.). «Носорог» у Ибн-Фадлана	317
§ 3.	О переправе каравана в тексте записки Ахмеда ибн-Фадлана (922 г.)	325
Глава 8.	ЭПОС И НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ЭТНОЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ	329
Послесловие	334
Приложение	336
Экскурс 1.	Археологический феномен афанасьевской культуры	336
Экскурс 2.	Расселение ранних культур эпохи бронзы	342
Экскурс 3.	О последовательности формирования и периодизации андроновской культурной общности	351
Экскурс 4.	Скифо-сибирский мир. О начальных разновидностях глиняной посуды скифо-сакского населения	359

Научное издание

Кожин Павел Михайлович

**Китай и Центральная Азия
до эпохи Чингисхана
Проблемы палеокультурологии**

Редактор *Е. В. Белилина*

Корректор *Н. Б. Потапова*

Компьютерная верстка *С. Ю. Тарасова*

Художник *Т. В. Иваншина*

Подписано в печать 14.01.2011.

Формат 60×90/16. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л. 23. Уч.-изд. л. 23,7. Бумага офсетная.

Тираж 300 экз. Заказ №

ЛР № 071629 от 20.04.98

Издательский Дом «ФОРУМ»

101990, Москва — Центр, Колпачный пер., д. 9а

Тел./факс: (495) 625-39-27

E-mail: forum-books@mail.ru

По вопросам приобретения книг обращайтесь:

Отдел продаж «ИНФРА-М»

127282, Москва, ул. Полярная, д. 31в

Тел.: (495) 363-42-60

Факс: (495) 363-92-12

E-mail: books@infra-m.ru